

РОССИЙСКАЯ АКАДЕМИЯ НАУК

ОТДЕЛЕНИЕ ЛИТЕРАТУРЫ И ЯЗЫКА

ВОПРОСЫ ЯЗЫКОЗНАНИЯ

ЖУРНАЛ ОСНОВАН В ЯНВАРЕ 1952 ГОДА

ВЫХОДИТ 6 РАЗ В ГОД

5

СЕНТЯБРЬ–ОКТЯБРЬ

"НАУКА"

МОСКВА – 2000

СОДЕРЖАНИЕ

О.Н. Трубачев (Москва). Из истории и лингвистической географии восточнославянского освоения	4
Б. Комри (Лейпциг). Язык и доистория: к многодисциплинарному подходу	28
А.Е. Кибрек (Москва). К проблеме ядерных актантов и их "неканонического кодирования": свидетельства арчинского языка	32
Т.А. Майсак, С.Г. Татевосов (Москва). Пространство говорящего в категориях грамматики, или Чего нельзя сказать о себе самом	68
ИЗ ИСТОРИИ НАУКИ	
Л.И. Скворцов (Москва). Сергей Иванович Ожегов – человек и словарь (к 100-летию со дня рождения)	81
С.И. Ожегов. О просторечии (к вопросу о языке города)	93
КРИТИКА И БИБЛИОГРАФИЯ	
Рецензии	
А.В. Барандеев (Москва). Отечественные лексикографы XVIII–XIX вв. Материалы для хрестоматии. Отечественные лексикографы XX в. Материалы для хрестоматии	111
О.В. Никитин (Москва). Ю.С. Степанов. Константы. Словарь русской культуры. Опыт исследования	115
К.В. Горшкова (Москва). М.Л. Каленчук, Р.Ф. Касаткина. Словарь трудностей русского произношения	120
В.М. Живов, Е.А. Земская, Л.П. Крысин (Москва). Handbuch der sprachwissenschaftlichen Russistik und ihrer Grenzdisziplinen	122
В.А. Плунгян (Москва). R.M.W. Dixon, A.Y. Aikhenvald (Eds.). The Amazonian languages	138
В.З. Демьянков (Москва). В.Г. Гак. Языковые преобразования	141
Ю.Н. Карапулов (Москва). Испанско-русский словарь. Латинская Америка	144
НАУЧНАЯ ЖИЗНЬ	
Хроникальные заметки	147

РЕДКОЛЛЕГИЯ:

Ю.Д. Апресян, А.В. Бондарко, В.Г. Гак, В.З. Демьянков, В.М. Живов, А.Ф. Журавлев,
Е.А. Земская, Ю.Н. Карапулов, А.Е. Кибрек (зам. главного редактора),

М.М. Маковский (отв. секретарь),

А.М. Молдован, Т.М. Николаева (зам. главного редактора),

Ю.В. Откупщиков, О.Н. Трубачев (главный редактор), А.М. Щербак

Зав. отделами: М.М. Маковский, Г.В. Строкова, М.М. Коробова

Зав. редакцией Н.В. Ганнус

Адрес редакции: 121019 Москва, Г-19, ул. Волхонка, 18/2

Институт русского языка имени В.В. Виноградова

редакция журнала "Вопросы языкоznания"

Tel. 201-25-16

23 октября 2000 года руководителю российского Национального комитета славистов, главному редактору "Вопросов языкоznания" академику Олегу Николаевичу Трубачеву исполняется 70 лет.

Его имя стоит в ряду имен крупнейших отечественных филологов, виднейших компартистов мира. Славянская и индоевропейская этимология, история идей, ономастические штудии, глотто- и этногенез славян и других индоевропейцев, исследование ранних этапов индоевропейской и славянской культур с опорой на показания языка, лексикология и семантика, семантическая типология, праславянское словообразование, сравнительная грамматика, пражзыковая лексикография, научная публицистика, организация науки – вот основные области, в которых усилия О.Н. Трубачева принесли весомые плоды. При всем многообразии интересов, с которыми связаны занятия О.Н. Трубачева, его путь в науке отличается редкой цельностью, одухотворен мощным этическим началом, определен глубокой верой в то, что ч е л о в е к может быть познан только через исследование произнесенного им с л о в а .

Каждое из многочисленных ученых сочинений О.Н. Трубачева – это яркое событие, каждая его книга, раздвигая горизонты языковедческой и исторической мысли, знаменует новый этап в постижении научной истины. Его работы поражают смелостью и новизной взглядов на выбранный предмет, будь то этимология отдельного слова (многих сотен слов!) или поиски прародины славян на Среднем Дунае, реформулирование балто-славянских языковых отношений или чисто лингвистическое доказательство генезиса гончарства из технологий плетения, утверждение индоарийского элемента в Северном Причерноморье или выявление не описанного до сей поры праславянского преверба...

Глубокий и независимый мыслитель, ошеломляющий широтою познаний и изощренностью интуиции, одновременно классик и возмутитель спокойствия, плодовитый автор, блестительный писатель с безошибочно узнаваемым творческим почерком, красноречивый собеседник и остроумный оппонент – таким мы представляем Трубачева-ученого.

Вершина его пути, горькая и восхитительная катарга – монументальный "Этимологический словарь славянских языков". Вдохновившись смелой идеей полной реконструкции праславянского лексического фонда, О.Н. Трубачев собрал вокруг себя преданных делу этимологов-славистов, создал крепкую и надежную научную школу, с необыкновенной последовательностью воплощающую эту идею в вереницу строгих зеленых томов (их уже 26, начало буквы "о-"). Оригинальность и глубина концепции, филигранность исполнения, удивительное богатство языкового материала, предельное внимание к семантике слова, широта и добродельность сравнительных данных, типологическая обоснованность каждой этимологии и многие другие качества Словаря обеспечили нашей отечественной этимологической школе лидирующее место в мировой науке.

Свое семидесятилетие Олег Николаевич Трубачев встречает, вооруженный боеготовым и неповторимым исследовательским опытом. Замечательное умение пользоваться им – это залог новых научных открытий, новых озарений, новых вершин.

Дорогой Олег Николаевич!

Примите сердчнейшие поздравления с юбилеем и пожелания доброго здоровья, творческих сил для осуществления всего Вами задуманного, благополучия Вам и Вашим близким.

Ваши друзья – члены редколлегии и сотрудники редакции журнала
"Вопросы языкоznания"

© 2000 г. О.Н. ТРУБАЧЕВ

ИЗ ИСТОРИИ И ЛИНГВИСТИЧЕСКОЙ ГЕОГРАФИИ ВОСТОЧНОСЛАВЯНСКОГО ОСВОЕНИЯ

"Много ли мы знали, например, в начале нашего века о субстратной и ареальной лингвистике?"

В.И. Абаев. Избранные труды. Т. II, с. 115.

I

Тема, вынесенная в заглавие, касается нескольких смежных наук, в их числе истории, археологии, языкоznания. Наверное, справедливо считается, что первые две из них лучше осознают человека в истории, поэтому с них и начнем, не теряя, впрочем, связи и с языкоznанием, к которому целиком обратимся в конечном счете, и памятую об известной ограниченности возможностей каждой из названных дисциплин (истории, связанной письменными источниками, археологии, чьи реалии безгласны, и языкоznания, которого возможности также не беспредельны). Обыкновение черпать по этому дополнительные аргументы из соседних дисциплин достаточно распространено, было бы искусственно стремиться избегать его, совокупная картина бывает интересна и поучительна (крайних случаев, когда превышена мера в использовании дополнительных аргументов, что влечет за собой обвинение в эклектизме, касаться не будем).

Предлагаемый очерк не может претендовать на исчерпанность специальной литературы, а также на сколько-нибудь широкий охват заявленной темы. Пришлось сделать выбор, очевидный для нас в данном случае уже с самого начала. Поэтому мы остановились на комплексе проблем, связанных с племенем вятичей, оставив сейчас в стороне другие проблемы, тоже, вероятно, большие. И хотя, например, в стороне при этом осталось самое крупное древнерусское племя кривичей, наше внимание целиком привлекли вятичи, и мы постараемся в дальнейшем объяснить, что предмет действительно заслуживает того. Таким образом, излагаемые в дальнейшем наши поиски и наблюдения обещают обрести характер некой апологии вятичей (если иметь в виду, что апология является в известном смысле и оправданием интереса к предмету и – прославлением его).

История застала вятичей в положении самого крайнего славянского племени на востоке [Иловайский 1858: 8]. Уже первый наш знаменитый летописец Нестор [Повесть временных лет 1978: 30–31] характеризует их как крайне отсталых и диких людей, живущих наподобие зверей в лесу, едящих все нечистое, сквернословящих, не стыдясь родителей и женщин рода, и, конечно, нехристиан. Что-то из этой негативной картины, наверное, отвечало тогдашней действительности начала XII века, а что-то оказывалось и на тот час откровенным преувеличением, говоря языком нынешним – политической пропагандой (ср. [Никольская 1981: 10]). Преподобный Нестор был киевским полянином, и вятичи, не сразу покорившиеся Киеву, такой оценки в его глазах заслуживали. Мы сейчас, по прошествии веков, смотрим на дело иначе, спокойнее, многое изжило время, хотя – как знать, может быть, не все. Вообще говоря, именно с вятичами связывается ряд противоречий или парадоксов, известных или менее

известных. Уже один из первых историков готов, опираясь на свидетельство Нестора, признать, что они не имели земледелия [Иловайский 1858: 9], но сразу вслед за этим, на основе летописных же данных об уплате вятичами дани Святославу и Владимиру, то есть в достаточно раннее время, "по шелягу с плуга", заключает, что земледелие они знали [Там же: 12].

И эта наклонность судить о вятичах в духе парадоксов, что любопытно, сохраняется у историков вплоть до наших времен, побуждая нас к тому, чтобы смотреть на этих вятичей как на самое русское из племен (суждение, как увидим далее, тоже достаточно парадоксальное). Виднейший наш историк, акад. М.Н. Тихомиров, в своей книге "Древнерусские города" говорит о "глухой земле вятичей", с тем, чтобы чуть дальше признать, что "в середине XII в. страна вятичей была совсем не столь глухой, как обычно представляется, а наполненной городками" [Тихомиров 1956: 12, 32]. Кстати, все в том же парадоксальном духе – о "городках" или городах у вятичей, о которых будто бы можно говорить "не ранее XII века", но в том же XII веке их вдруг оказывается там поразительно много, см. [Иловайский 1858: 9, 50]. Складывается впечатление, что, помимо стойкой предвзятости суждений, в этом разнобое повинен и недостаток информации, и у нас есть основания поверить новейшему историку-археологу, когда он говорит о расцвете городской культуры на Средней Оке (куда область вятичей также простиралась, см. ниже) уже с XI века [Монгайт 1961: 255]. Кроме того, возможно ли продолжать говорить об отсталости вятичей, державших земли по Оке, через которую с раннего времени пролегал важнейший восточный торговый путь, предшественник пресловутого пути "из варяг в греки" (ср. [Там же]).

Ну и наконец, отнюдь не "отсталость" привлекала в вятичах киевских князей, в частности, такого победоносного завоевателя, как Святослав; серьезность его завоевательных планов иллюстрирует миниатюра из Радзивилловской летописи под 964 годом: князь Святослав принимает побежденных вятичей, сидя на троне [Рыбаков 1982: 102].

Полезно иметь в виду и то, что, наверное, обращало на себя внимание в ранние века русской истории – племенная самобытность вятичей [Третьяков 1953: 241], которую они сохранили "дольше других восточнославянских племен" [Монгайт 1961: 254]. Дальше – больше. Известно, что русские племена – пришельцы в основной земле своего обитания, на Восточно-Европейской, иначе Русской, равнине. В вятичах же замечательно то, что они как бы сугубые пришельцы. Их приход совершился если не совсем на глазах письменной истории, то все же на памяти уже осевших вокруг племен, причем обычно сообщается, откуда они (вместе с родимичами) пришли, по формулировке начальной русской летописи – "от ляхов". И в этом действительно есть "зерно истины" [Ляпушкин 1968: 13], поскольку, в отличие от тенденциозных в самой своей сущности древних рассуждений об отсталости и "дикости", информация о месте исхода вятичей никакой корысти или политического резона не сулила. Для нас же это бесценные крохи древнего знания, хотя мы и не собираемся воспользоваться ими с шахматовской прямолинейностью, поскольку великий ученый ассоциировал с ними якобы польские черты в языке восточных славян [Шахматов 1915: XIX]. Но о языке потом, как и условились, хотя в целом "польская" репутация вятичей – тоже одна из давних традиций, или парадоксов науки, ибо, как пишет один из первых наших историков: "Вятичи – сарматы, обладанные славянами по Оке..." [Татищев 1962: 248]. При этом просто надо иметь в виду, что старая польская ученость охотно отождествляла поляков с сарматами (хотя последние, как известно, – древние иранцы!). Понятно, что речь идет об очень давних событиях и их участниках, откуда – эта простительная мифологичность. Очень рано вятичи были упомянуты нашей письменностью, их участие в походе князя Олега в Византию значится под 907 годом [Рязанская энциклопедия 1995: 126 и сл., 674], то есть больше тысячи лет назад, но и это, разумеется, не предел, не *terminus post quem*, потому что археология уверенно судит о гораздо более раннем появлении их в наших пределах. Здесь уместно кратко сказать о племенном имени вятичей, поскольку пограничная лингвистическая дисциплина оно-

мастика привычно фигурирует среди исторических аргументов. В общем очевидно, что вятичи – с Запада, но ни на славянском Западе, ни на Юге такого этнонима нет, и это при том, что повторяемость этнонимов – известный феномен у славян (чтобы далеко не ходить, достаточно назвать полян киевских и польских полян). Перед нами еще плюс один парадокс, связанный с вятичами. Летопись и тут подсказывает правильный путь: вятичи прозваны по имени некоего (вождя? предводителя?), упоминаемого как *Вятко* [Фасмер 1996, I: 376], а это последнее имя представляет собой уменьшительную форму от личного имени *Вячеслав*, праслав. **vętjесlavъ*,ср. чеш. *Václav* [Там же: 378], то есть имени исключительно западнославянского. Так, хотя и не совсем обычно, оказался документирован западный источник этнонима вятичей; остальное – детали (среди них – форма *V(a)ntit*, название народа и области в восточных источниках X века [Рыбаков 1982: 215, 259], позволяющее судить о виде, в котором имя вятичей фигурировало до X века включительно, когда подверглось общему у восточных славян падению носовых). Ни с венедами-венетами, ни, тем паче, с антами (и то, и другое – чужие для славян аллоэтнонимы) этимологически связывать **vętjite*, вятичи не имеет смысла, несмотря на популярность таких опытов. Перед нами – случай, когда древнее племя первоначально вообще племенного названия не имело (довольствовалось самообозначением ‘мы’, ‘наши’, ‘свои’ etc.), вплоть до момента личной унии с возглавившим их смельчаком по имени Вятко...

Вообще в самый канун нашей письменной истории Поочье, ставшее основным регионом вятичей, принимало “разные потоки славянской колонизации” [Монгайт 1961: 66], что одновременно и усложняет нашу проблему, и делает ее притягательной для познания. В.В. Седов прямо говорит о многоактности славянского освоения Восточно-Европейской равнины [Седов 1999: 7], и можно заранее наметить эту многоактность по крайней мере для нашего региона: среднеднепровские славяне, славяне-вятичи со своего более отдаленного юго-запада и донские славяне, оказавшиеся там, на верхнем Дону, в свою очередь, в результате каких-то переселений. Считается, что славянское население появилось в бассейне Оки, особенно в ее верховьях, в VIII–IX вв. [Никольская 1981: 12; Седов 1982: 148], встретив здесь племена балтийской принадлежности, возможно, голянь (др.-русск.), каковое название характеризовало местных балтов тоже как ‘украинных, окраинных’ (лит. *galindai* ‘галинды’: *galas* ‘конец’). Впрочем, места были довольно пустынны, хватало всем, даже притом, что археология обнаруживает тенденцию все время отодвигать, удревнять приход славян, первые группы на верхней Оке – уже в IV–V вв. (!), а в Рязанском (Среднем) Поочье – в VI–VII вв. [Седов 1999: 58, 251]. Очевидно, те контакты с балтами передали пришлым славянам и название самой реки – *Ока*, вместе с его ударением в духе закона Фортунатова – де Соссюра (перенос с краткого, циркумфлексного гласного корня на акцентную долготу окончания). Ср. лтш. *aka* ‘колодец’, лит. *ākas* ‘полынь’, *akis* ‘глаз; незаросшая вода в болоте, небольшая бочажина’ (дополнения О.Н. Трубачева в [Фасмер 1996, III: 127; Vanagas 1981: 37]). Судя по семантике балтийского прототипа, это название могло быть дано верховьям, истоку Оки, а отнюдь не среднему или нижнему течению этой большой реки.

В верховьях Оки, по-видимому, и было положено начало позднейшей области вятичей, ибо ядром вятичей называют верхнеокскую группировку славян, относимую археологически к VIII–X вв. [Седов 1999: 81]. Впрочем, и верхнедонских (боршевских) славян VIII–X вв., мигрировавших в массовом порядке на среднюю Оку в X в., тоже причисляют к вятичам [Монгайт 1961: 81, 85, 124], а уже известную нам многоактность прихода славян усугубляет широкая инфильтрация из Дунайского региона в VIII–IX вв., причем реалии и маршруты весьма напоминают то, что известно о вятичах (см. [Седов 1999: 145, 149, 183, 188, 195], где идет речь о прототипах семилопастных – вятических – подвесок, попавших сюда с Дуная через Мазовище).

Приближаясь к нам постепенно из глубины веков, вятичи обретают черты, сближающие их и с современным районированием и населением Европейской России. Так,

в некоторых летописях вятичи уже отождествляются с рязанцами [Кузьмин 1965: 56]. Совпадают и ареалы. «Вся известная нам рязанская "областная" территория по составу славянского населения была вятической» [Насонов 1951: 213]. С некоторыми поправками и дополнениями: к области вятичей относят и курско-орловские земли [Котков 1951а: 12]. Что касается преемственности заселения, важно иметь в виду популярные воззрения прошлого, суть которых заключалась в том, что степная сторона, вплотную подступавшая к Рязанской стороне с юга, и вообще широкие пространства Юга и Юго-Востока полностью обезлюдили и опустели в ходе известных событий, потрясавших прежде всего эти места, чем более защищенную лесную сторону. Но абсолютность этих воззрений давно вызывала сомнения и постепенно опроверглась со стороны истории языка и ономастики этой периферии, сохранившей на удивление древние образования.

Однако обделенность судьбой все же не обошла землю вятичей, если мы затронем вопрос о продолжении кирилло-мефодиевских традиций славянской письменности. Нас ждет единодушно отрицательный ответ: "Рязанские летописи до нас не дошли" [Монгайт 1961: 9]; "Ничего не сохранилось от письменности обширных Рязанской и Черниговской земель" [Филин 1972: 89]; рязанские хроники существовали (но не дошли) [Даркевич 1993: 136]. Впрочем, этому не стоит удивляться, если вдуматься в ту трагическую роль форпоста, которую было суждено сыграть этой земле. В отношении сохранности письменности все остальные древнерусские земли богаче и благополучнее – Киевская, Галицкая, Псковско-Новгородская, Ростово-Суздальская и др. Гораздо большим парадоксом звучат поэтому доходящие до нас сведения о низовой грамотности, которую – на фоне упомянутого оскудения – вдруг обнаруживает рязанская, вятическая земля с самого давнего времени, но о ней – чуть ниже, когда речь пойдет о культуре.

Характер жилищ вятичей дополнительно отличает их как первоначальных южан – они селились в землянках и полуземлянках, как дунайские славяне, как "склавины" Иордана и, наконец, как, по всей видимости, еще праславяне. Говорят, эту примету не стоит преувеличивать, она обусловлена географической средой обитания; все же важно отметить наличие у вятичей на верхней и средней Оке полуземлянок, а к северу, в том числе у кривичей, – наземных срубных построек (домов), добавив, что граница между более северной избой и более южной хатой пролегала где-то здесь, по реке Пра [Третьяков 1953: 197–198; Монгайт 1961: 127; Ляпушкин 1968: 120].

В этой ситуации нам остается судить о культуре быта и духе вятичей по тем следам и остаткам, которые дает ископаемая, археологическая культура, у землемельцев-вятичей заведомо небогатая. Все же благодаря трудам наших археологов мы узнаем удивительно много. И здесь нас ожидает, может быть, один из наиболее парадоксальных сюрпризов: вятические женщины носили необыкновенно элегантные семилопастные височные кольца, устойчиво характерные именно для вятической области (см., вслед за Арциховским [Седов 1982: 143]). Их аналогов ищут и на Востоке, но нам больше импонируют – в общем ансамбле известных данных – западные прототипы, кратко указанные также у нас, выше, ср. еще отмечаемое наличие у древневятинских женщин пластинчатых загнутоконечных браслетов западноевропейского типа (так! см., со ссылкой на Арциховского [Никольская 1981: 100, 113]). Завидное следование моде, особенно если учесть, что речь-то идет о "глухой земле"! Говоря о вятических, далее – рязанских женщинах, нельзя не вспомнить о живом до сих пор обыкновении ношения поневы, тем более, что, как отмечают, "ареал синей клетчатой поневы совпадает с территорией распространения вятических семилопастных колец..." [Осипова 1999: 72]. Можно, далее, вспомнить о характерности *поневы* 'род юбки' для великорусского Юга, а *сарафана* – для великорусского Севера, однако сразу скажем, несколько забегая вперед, что названное противопоставление (оппозиция) оказывается исторически иррелевантным, поскольку "северновеликорусский" сарафан пришел определенно тоже с юга и вообще это позднее заимствование из персидского и поздней формы (ср. -*ф*!) и первоначально не обозначало женскую одежду... Остается только

понева/понька со своим сниженно диалектным уровнем, но яркой, еще пражзыковой древностью (praslaw. **pon'a*), не меньшей, чем у укр. *плахта* (praslaw. **plax̥ta*), обозначения архаического прямого покроя, собственно – куска ткани, что подтверждается этимологически. Ср. любопытные аналогии [Третьяков 1953: 197]: «Этнографические данные показывают, что в придунайской Болгарии распространен особый тип женского национального костюма, в других частях полуострова почти не встречающийся, находящий себе ближайшие аналогии в украинской национальной одежде, принадлежностью которой является "плахта", или одежда великорусов Курской и Орловской областей, где были в употреблении "понева" и особый вид передника [Там же: рис. 44]».

Естественно, что вся жизнь на Оке полностью преобразилась с приходом туда христианства. Справедливо также и то, что христианство появилось как городская культура [Иловайский 1858: 32], и, хотя это случилось несколько позже, чем у остальной Руси, все же христианизации весьма способствовало наличие значительного числа древних рязанских городов, известных в период с XI по XIII век: летописями упоминаются за это время в качестве рязанских городов (и селений) Коломна, Ростиславль, Осётр, Борисов-Глебов, Солотча, Ольгов, Опаков, Казарь, Переяславль, Рязань, Добрый Сот, Белгород, Новый Ольгов, Исады, Воино, Пронск, Дубок, Воронеж, а по Никоновской летописи к рязанским городам относятся еще Кадом, Тешилов, Колтеск, Мценск, Елец, Тула. И это, конечно, не все, в других источниках упомянуты города Ижеславец, Вердерев, Ожск [Рязанская энциклопедия 1995: 98, 126, 183, 388]. Конечно, это и в древности, очевидно, были сплошь и рядом скорее селения, а не города в полном смысле слова. Кроме того, иные из них захирели и превратились в села, как село со славным именем Вышгород, на Оке, как, в конце концов, та же Рязань (Старая), былая столица княжества. Некоторые такие города-селения были буквально забыты историей, так и не попав в поле зрения летописца. Так судят специалисты о двух городах вятичей, носивших древнее название Перемышль – на Оке, в Калужской области, и на реке Моча, в Московской области [Никольская 1981: 157 и сл.]. Сама номенклатура в данном случае ведет нас вспять, на древнее польско-русское пограничье, где до сих пор известен город Перемышль, он же по-польски Przemyśl (теперь в пределах Польши [Rymut 1987: 195]), возвращая нас тем самым на "трассу вятичей", как мы ее понимаем.

Перенос названий в Рязанской земле с юга – это известный эпизод, в целом уже довольно проясненный – в той части, в которой он касается миграции названий с относительно близкого юга, из Среднего Поднепровья, Киевщины, земли полян. Тут мы имеем дело с повторением целых топонимических ансамблей, взять хотя бы это повторение в черте города Переяславль Рязанский (нынешняя Рязань) – Переяславль – Трубеж – Лыбедь – Дунай/Дунаец, которое неизменно упоминается всеми писавшими об этих местах [Смолицкая 1976, passim; Тихомиров 1956: 434; Даркевич 1993: 65; Чумакова 1992: 8; Рязанская энциклопедия 1995: 507]. Не все, правда, просто и однозначно и с этими названиями, во всяком случае теми из них, на которых лежит печать более дальних связей и прихода/переноса с более дальнего юга и юго-запада: это Дунай/Дунаец, указывающий (через посредство польской территории и тамошних вех вроде *Dunajec*, приток верхней Вислы [Hydronimia Wisły 1965: 26]) на великую реку в Центральной Европе, и Вышгород, также обнаруживающий, помимо киевского, днепровского, дунайский прототип. Относительно Дунаи, Лыбедь см. еще [Етим. словн. 1985: 53–54, 83–84], еще одну западную ассоциацию – Вислица в Среднем Поочье, см. [Чумакова 1992: 124–125, 142].

Огромной проблемой по-прежнему остается южный, юго-восточный фланг вятичей, максимальное расширение которого пришлось на дописьменные, "темные" века, которых главным образом и касается реконструкция в трудах Шахматова и нескольких других ученых, охватываемая понятием "Приазовской" (иначе – Азовско-Черноморской) Руси, которую целые последующие поколения почему-то поспешили сдать в

архив. Здесь мы не будем на ней останавливаться, поскольку уже сделали это в другом месте. Заметим лишь, что это как раз тот случай, когда правдоподобие и вероятность привычно недооцениваются. Ведь дело отнюдь не только в том, что с XI в. был перерезан "торный путь" с Оки по Дону в Тавриду [Иловайский 1858: 123]. Дело в том, что пространство русского языка и племени реально было другим, и Тмутаракань как дальний южный форпост объективно свидетельствует об этом. Только на этом пути мы еще, пожалуй, способны наверстать и понять многое, в том числе и генезис русского имени. Взамен этого позитивистски настроенная история довольствуется только реальностью "Дикого поля" и старательно избегает реконструкции даже самого очевидного.

Из древностей, гораздо более ранних, чем X век, связавших в первую очередь вятыческую, рязанскую Русь и русскую Тмутаракань на Таманском полуострове, назовем здесь боспорские монеты III–IV вв. н.э. в археологических раскопках на городище Старой Рязани [Монгайт 1961: 46–47] да еще, пожалуй, тождество семантического калькирования, установленное между древнерусским названием города Славянск-на-Кубани – *Копыль*, означавшим, видимо, не только 'подпорка', но и 'отросток', и восстановимым индоарийским (синдо-меотским) названием примерно тех же мест – **ut-kanda* 'отросток', очень красноречивым в моих глазах [Грубачев 1999а: 286].

Сказанное (включая этот яркий, по-моему, пример "индоарийских зорь на кубанском хуторе") имело целью показать довольно четкую привязку еще одного из вятыческо-рязанских парадоксов как на стадии блисталтельного прирастания русских земель Юго-Востоком (О Рускаѣ земле, уже за шеломѧнемъ еси! "...за проливом" "Слово о полку Игореве"), так и на стадии последующих горьких утрат, вызывавших "поискати града Тъмутороканя" (Там же). Русь помнила эту связь Рязани и Тмутаракани [Иловайский 1858: 14] и притом – очень четко, ср. [Татищев 1962: 249]: "Тмуторокань..., ныне Рязанская правинцыя". Разумеется, с вариантами: Тмутаракань – черниговский город [Тихомиров 1956: 351]. Конечно, нельзя забывать об участии во всем этом Северской земли, хотя и не с той степенью державности.

Возвращаясь к истории культуры, мы наблюдаем, пусть единственное, но курьезное повторение вятыческо-рязанского парадокса (отсутствие письменности при наличии проявления ранней низовой и бытовой грамотности) опять-таки в Тмутаракани, откуда дошла эта единственная древнейшая канцелярская надпись на камне XI века о том, что князь Глеб мерили море по леду от Тмуторокани до Корчева (Керчи)... Этот эпиграфический памятник взвихнул вокруг себя целую дискуссию насчет своей подлинности, но стоит прислушаться к мнению: "с точки зрения языка она (надпись. – О.Т.) безупречна" [Шахматов 1908, I: 287; Медынцева 1979: passim].

Клад в приокском селе с древним названием Вышгород содержал наряду с железными сельскохозяйственными орудиями также писала для письма [Монгайт 1961: 196]. Эти писала, или стили, применялись для нанесения самых разных, в основном бытовых надписей. Очевидно, перед нами то, что относят к дорукописной продукции, ср. [Рождественская 1994: 9], но только такая письменность Рязанской земли единственно дошла до нас, знаменуя собой и грамотность, и городскую культуру [Тихомиров 1956: 85, 263] и – со всей скромностью – состояние живого местного языка, не будучи произведением переводной литературы. Рязанские граффити датируются в основном XII–XIII веками [Даркевич 1993: 138], но есть, возможно, и более древние, как на пряслице, найденном рязанским археологом В.И. Зубковым в 1958 году: **ПРАСЛНЬ ПАРАСИН** 'пряслень Парасин' [Монгайт 1961: 156–157], XI – начало XII в. Любопытно как свидетельство женской грамотности. Само собой, это предполагает, кроме грамотности владельцев, городского населения (в противном случае надпись просто теряет смысл), также грамотность производителей, ремесленников. В литературе уже набралось некоторое количество свидетельств этой грамотности – надписи "княжее есть", "Молодило", даже фразы: "Новое вино добрило послал князю Богунка" (тоже XI–XII вв.), причем делается любопытная констатация, что эта – домонгольская –

грамотность населения Рязани превосходит грамотность позднейшую [Медынцева 1988: 248, 255]. Надписи фиксируют личные имена людей: "Орина", медальон, найденный в Старой Рязани [Тихомиров 1956: 427], "Максимове", надписи на литейной формочке в Серенске [Никольская 1981: 142, рис. 48], в последнем случае притяжательная форма 'Максимов' (sc. lic. 'льячек'?), с любопытной огласовкой конца слова им. пад. ед. числа муж. рода, обычно наблюдаемой на новгородском северо-западе. Остается добавить, что однотипные пряслица (распространенный предмет для нанесения надписей) "бытуют в Рязанской области и до настоящего времени" [Монгайт 1961: 296].

Город Рязань впервые упомянут (именно упомянут, а не основан) в 1096 г., на добрых полвека раньше Москвы. Это полувековое опережение мы еще сможем вспомнить потом, когда зададимся вопросом, кем или на чьей почве была основана Москва. Когда речь идет об основании города, все охотно начинают припоминать этимологию его названия, – историки, археологи, возможно, охотнее других. Так и на этот раз. Если не считать откровенно любительского сближения *Рязань* с диал. *ряса* 'топкое место', которое элементарно сюда не подходит прежде всего потому, что Рязань (и Старая, и новая, Переяславль Рязанский) закладывалась на правом, горном берегу Оки, популярно и пользуется широкой известностью толкование от мордовского *эрзянь* 'эрзянский, эрзя-мордовский' (см. [Никонов 1966: 362]), но и оно сомнительно как в формальном отношении [Фасмер 1996, III: 537], так и в реальном, в общем придумано *ad hoc*. Начинать надо с уточнения первоначальной формы названия, а таковой – что замечательно! – была форма мужского рода: *къ Резаню* [Иловайский 1858: 23]. Дальше все выстраивается в довольно логичный ряд: *Рѣзань* – притяжательное прилагательное на -*ь* от личного имени собственного *Рѣзанъ*, то есть 'принадлежащий человеку по имени *Рѣзанъ*'. Мужской род древнейшей формы названия города понятен ввиду согласования с *городъ*: двучлен *Рѣзань* (*городъ*) – это 'Резанов город' (реальность личного имени *Рѣзанъ*, известного с 1495 г., см. [Тупиков 1903: 402; Веселовский 1974: 267: *Резановы, Резаный*, XVI в.]. Сюда же, кстати, и фамилия *Рязанов* (*e > я* вне ударения в якающей среде, прямое же соотнесение с Рязанью [Унбегаун 1989: 113] неточно). Впрочем, формы на -*е* держались довольно долго, ср. *резаньскои*, 1496 г. [Котков и др. 1978: 15]. На естественный вопрос, что представляет собой само это исходное личное имя *Рѣзанъ*, ответ в общем ясен: краткая форма страдательного причастия, то есть 'резаный', так называть или прозвать могли младенца, 'вырезанного (из чрева матери)', ср. так уже [Фасмер 1996, III: 537]. Внешне непrestижное, это имя-прозвище могли порой носить люди выдающиеся. Предположим, что таким был какой-то предводитель-вятич *Рѣзанъ*, по которому недаром был назван **Рѣзань* *городъ*. Сделать это нам позволяет ни больше, ни меньше как аналогия с *Царьградъ*, ибо наше царь, полное *цѣсарь* – от лат. *Caesar*, производное от *caedō* 'резать, рубить', откуда *caesare* буквально – 'выпороток, вырезанный из чрева матери' (знаменитый Г.Ю. Цезарь родился как раз таким, оперативным путем "кесарева сечения", прославив впоследствии свое прозвище). Наше этимологическое отвлечение может быть полезно еще и тем, что показывает: никакой 'земли отрезанной' имя города *Рязань* скрывать не может (ср. об этом [Рязанская энциклопедия 1995: 511]).

Имеет смысл завершить сравнение двух городов (*Рязань – Москва*), поскольку, как кажется, мы, говоря и о Москве, законно остаемся в земле вятичей.

В связи с интересующими нас вопросами нельзя не обратить внимание на наличие вскрытого археологами широкого клина вятичей XI–XIII вв., захватывающего с Юга все "ближнее Подмосковье" и Москву (см. В.В. Седов у [Войтенко 1991: 61]). Курганы вятичей находят вокруг Москвы и в ее черте, что констатировали начиная с Арциховского, см. [Насонов 1951: 186]. Больше того, самый густой район находок вятических семилопастных височных колец оказывается не в Поочье, а в Подмосковье [Седов 1982: 144–145]. Далее, когда сам В.В. Седов полагает [Седов 1999: 238–239], что

Москва была основана и заселена со стороны Ростова и Суздаля, он, по-видимому, недооценивает известные, конечно, и ему ляшско-вятические топонимические тождества, ср. *Tula – Tuł, Вицж – Uściąż*, Коломна – *Коломыя*, см., с литературой [Трубачев 1971, *passim*], там же – несколько вятическо-чешских соответствий Подмосковья и Поочья¹. Самым же ярким и полным является ляшско-вятическое тождество *Moskiew* (в польском Мазовше) = *Москва*, оба члена которого, с польской и русской стороны, регулярно восходят к древней праславянской основе на -ū- долгое **mosky*, род. пад. **mosk'ye* и при этом уверенно этимологизируются из слав. **mosk-* ‘влажный, сырой’. Ср. еще [ЭССЯ 20: 20; Трубачев 1994: 10; 1997: 105]. Таким образом, кажется, можно подвести определенные итоги в долгой дискуссии о происхождении имени нашей столицы, точнее, конечно, исторически первоначально – названия реки Москвы, причем сближения с суоми-фин. *Maski* или балтийским материалом (“балтика Подмосковья”) все же уступают по вероятию, глубине реконструкции и всему упомянутому выше культурному фону тождеству *Moskiew* = *Москва*, др.-русск. *Московъ*, вин. пад. ед. числа (см. остальную литературу и прочие сведения в [Фасмер 1996, II: 660]). Как тут не вспомнить старика Татищева и всю его проницательность: “Но я правее разумею быть имя Москвы реки – сарматское – болотная, ибо в вершине оной болот немало...” [Татищев 1962: 314]. Все ведь верно и справедливо и притом – не только “в вершине”, вспомнить хотя бы знаменитую “Москворецкую лужу” и частые московские наводнения в старину, и, в конце концов, одно то, что Москва и все ближнее Подмосковье стоит на глинистых почвах... Вот и все пока о Москве, добавим лишь, помня то, что когда-то писалось о Рязани (см. также выше), что из двух этих вятических столиц (если можно так выразиться), на самом топком месте оказалась Москва.

II

(Центр – периферия – ареал)

Племя вятичей, начавшее селиться во второй половине I тысячелетия в приокских краях, оказалось сравнительно неподалеку от Киева, на северо-восток, облюбовав редконаселенные земли. Скорее всего, этими местами несколько раньше прошли дальше на север будущие новгородские словенцы. Сами же вятичи вскоре приступили к освоению больших пространств к востоку и юго-востоку. Так, включая ранее освоенные Запад и Юго-Запад, постепенно организовалось восточнославянское этническое и языковое пространство, ареал. Его нормальное функционирование неизбежно выражалось в едином этническом самосознании (достаточно раскрыть начальную русскую летопись, чтобы почувствовать его реальное наличие: “а славянское и русское одно есть”). Лингвистической ипостасью единого этнического самосознания обязательно должен был быть относительно единый (дописьменный и долилитературный) наддиалект. Само понятие и название наддиалекта говорит, что он суммирует некую подпитывающую его сложность местных диалектов. Поводом для обсуждения этой сложности (*vice versa* этого единства) послужило состояние этих вопросов в нашей науке последних десятилетий, где накопилось много неясности и даже тупиковых состояний, начать хотя бы с обсуждения вопроса об общеноародном нелитературном языке, отмечая при этом готовность (пусть временами не очень четко выраженную) обсуждать его у некоторых авторов, наряду с явным отсутствием интереса к проблеме – у других.

¹ Не забудем здесь и летописное имя вятического племенного старейшины *Ходота* с его доказанными западнославянскими ассоциациями [ЭССЯ 8: 50]. Относящееся сюда ЛИ *Ходута*, засвидетельствованное в составе отчества *соуждалъцъ Ходоутиничъ* в берестяной грамоте XII в. [Зализняк 1995: 183, 239] лишь усугубляет интерес к этому факту.

Кажется очевидным, что названный выше наддиалект, или общенародный нелитературный язык, он же – "устный литературный язык" – это универсалия, нормальная функция множества низовых диалектов, подтверждаемая ближними и дальними параллелями, лишь усиливающими впечатление серьезности проблемы, ср., с одной стороны ссылку на устный литературный язык якутских народных сказителей (Убрытова в [Бородина 1968: 117]), а с другой стороны – и это самое важное для нас – отголоски дискуссии в нашей науке в сущности о том же: "Нельзя согласиться с положением Р.И. Аванссова, будто бы русского языка вне пределов литературного языка не существует" [Филин 1972: 69]. Действительно, в нашей диалектологии популярно оперирование не вполне ясными категориями "диалектного языка" и "системы систем", при крайне слабом интересе именно к наддиалекту или "наддиалектному койне" [Трубачев 1998: 4]. Хотя было бы несправедливо утверждать, что близкие к проблеме факты вовсе не попадали в поле зрения исследователей конкретного материала. Ср., например, одно из сделанных всколызь замечаний о наличии "в русском диалектном языке" (?) "общих элементов" синтаксиса, употребляющихся "во всех говорах" [Русская диалектология 1964: 173]. И таких замечаний, наблюдений найдется немало, впрочем, возможно, при более или менее ощутимом отсутствии сознания необходимости сделать следующий шаг – я имею в виду обобщение о наддиалекте. Сюда, несомненно, относятся пытливые, хотя порой и всколызь высказанные мысли С.И. Коткова – о широком просторечии (в работе об орловских диалектах), об общенародности языка старого эпистолярного наследия, против популярного заключения Лудольфа 1696 года о том, что у нас говорили по-русски, а писали будто бы только по-церковнославянски [Котков 1980: 36].

Несколько забегая вперед и в интересах, как кажется, правильного понимания существующего положения, многое (если не все) определялось у нас унаследованными еще от Шахматова представлениями, согласно которым идея койне не шла дальше мыслей о городском говоре, например, Киева [Шахматов 1916: 80], общеязыковая материя сводилась к неисчислимому множеству "индивидуальных языков", а общевеликорусский язык, как и общевеликорусская народность признавались "фикцией", во всяком случае – поздней реальностью. Мы будем к этому возвращаться еще ниже, но, повторяя, для правильного понимания это важно отметить уже с самого начала.

Итак, речь должна идти в немалой степени о мире идей и научных построений Шахматова. Академик Алексей Александрович Шахматов, безусловно, – центральная фигура в науке о русском языке и его истории, как, впрочем, и в собственно русской истории. Его авторитет, его научное влияние, объем сделанного им за непродолжительную, примерно полувековую, жизнь не имеют себе равных. И сейчас, перечитывая труды Шахматова, неизбежно испытываешь очарование силы ума и удивление перед огромностью знаний. Непродолжительная жизнь этого замечательного ученого и не менее замечательного человека окончилась в 1920 году, как раз в то время, или в канун времени, когда в европейской лингвистике еще только намечалось начало лингвистической географии – системы научных понятий, в корне повлиявших на широкие области исследования языка. Конечно, со своей стороны, до известной степени тормозящее воздействие имело, как кажется, излишне последовательное соблюдение Шахматовым принципов лингвистической школы своего учителя, Ф.Ф. Фортунатова, и критика не преминула отметить это: явно избыточный перенос в праязыковую реконструкцию многих звуков позднего и местного образования, преувеличение факто-ра "смешения" языков и диалектов, а также переоценка индивидуальноязыкового за счет общеязыкового (см. отчасти [Lehr-Spławiński 1921–1957, passim]). Но самым крупным несоответствием или даже трагизмом видится сейчас то, что рано умерший Шахматов по не зависящему от него стечению обстоятельств буквально всего на несколько лет "разошелся" по времени с подъемом лингвистической географии, который развернулся в романских и германских странах. Результаты, к сожалению, не замедлили сказаться, и сейчас многое по известным причинам видится иначе. Многие, в том числе принципиальные, построения и выводы Шахматова о русском языковом

развитии звучат проблематично, не отвечают возможностям современной науки и нуждаются в иной переформулировке, иной точке отсчета. Повторю: в наметившемся разнотечении меньше всего можно винить самого Шахматова. С ним закончилась славная эпоха, оставившая замечательные исследования и добротные собрания материалов, эпоха до лингвистической географии. Труднее понять последующие поколения ученых, которые, исследуя русский языковой материал, продолжали почти всецело идти за Шахматовым. Сложилась необычная ситуация, о которой надо говорить, тем более, что до сих пор этого не сделали. Парадоксально то, что критика трудов Шахматова вроде имела место неоднократно, в том числе и в наше умудренное и проинформированное время. Удивляет же то, что и у видных критиков Шахматова мы практически не находим систематических попыток нового прочтения шахматовской истории и диалектологии русского языка. Должен оговориться, что дело отнюдь не в недостатке или отсутствии термина "лингвистическая география". Скорее уместно иметь в виду дефицит осмысленного применения самих понятий, в том числе главных из них: центр – периферия – ареал. Этим занимается лингвистическая география, см. например удобный обзорный очерк [Бородина 1968: 106 и сл.]: лингвистическая география не сводится к картографированию, будучи сугубо исторической наукой, а значит, это не составление атласов, а их интерпретация, использующая понятия ареала, изоглоссы, очага распространения и такой критерий, как обращенность в прошлое. Будучи специалистом по романским языкам, Бородина довольно осторожна в оценке русской диалектологии, не решив для себя окончательно вопроса, имеем ли мы здесь перед собой опыт лингвогеографической работы или лишь подготовку к последней.

Чтобы не быть голословным, назовем весьма характерные, классические труды этого направления, как например "Патология и терапевтика слов. Исследования по лингвистической географии" (I–III, 1915–1921) Ж. Жильерона, "География слов верхне-немецкого обиходного языка" П. Кречмера (1918).

Могу также поделиться собственным ранним опытом лингвогеографического изучения славянско-неславянских интерференций в области обозначения понятия 'ни один', довольно характерных славянских периферийных образований вроде ст.-чеш. *nižádný*, ст.-польск. *niżadny* (**ni-že-jedъnъ*) в конечном счете ареальное новообразование, удивительно напоминающее также ареальное структурно близкое новообразование на соседней – германской почве, франк. *ni-g-ein* 'ни один', что позволяет говорить об элементах языкового союза (там же параллели с других славянских периферий, см. [Трубачев 1959: 28 и сл.]; вышло также в немецком переводе [Trubačev 1977: 247 и сл., особ. 271 и сл.]).

Четкого лингвогеографического аспекта, как я уже сказал, мы не нашли и у наших маститых критиков Шахматова (см. [Филин 1972: 37, 43, 54]), где критика идет по другим параметрам, а шахматовское понимание "переходных говоров и говора Москвы" даже вызывает одобрение. Ниже мы коснемся этих важных понятий.

То, что обычно называют лингвистической географией у нас, есть скорее наука о распределении фонетических и морфологических типов в рамках одного языка и одного времени, тогда как классическое понимание лингвистической географии – историческая география слов (нем. *Wortgeographie*) [Трубачев 1959: 21]. К сожалению, столь отличная трактовка (лингвистическая география как описательная диалектология) никем и никогда не оговаривалась, по крайней мере мне об этом ничего не известно. Не вполне ясны и мотивы; можно разве что предполагать, что в этом повинен все тот же одновременный (с 50-х гг.) "бум" описательно-структураллистских направлений, при упадке сравнительно-исторического языкознания у нас? [Трубачев 1987: 20]. Я допускаю, что серьезные исследователи все же испытывали определенное неудобство от означенного несоответствия, о чем могут свидетельствовать попытки как-то "развести" собственно диалектологию и лингвистическую географию, ср. [Горшкова 1968: 9, 48; 1972: 37], где говорится об исторической лингвогеографии как

отделе исторической диалектологии, а карты лингвистических атласов квалифицируются как "источник исторической лингвогеографии".

И хотя эти вялотекущие поиски, может быть, продолжаются, мы наблюдаем объективно наличествующие негативные следствия вышеназванного взаимоотношения или смешения понятий. Именно так приходится воспринимать случаи прямолинейного отождествления также изоглоссы, с одной стороны, и диалектной границы, даже госграницы – с другой, тогда как необходимо (в духе лингвистической географии) исходить – как минимум – из относительности и проницаемости всех границ, в их числе – диалектных [Трубачев 1959: 16]. Здесь остается вспомнить, что подобные прямолинейные трактовки ярко выражены уже у Шахматова, который не довольствуется проникновением самого явления – аканья – на белорусский Запад с Востока, но рисует целую восточнорусскую "иммиграцию" в Белоруссию как источник и носитель аканья [Шахматов 1910: 177; 1915: XLIII]. В другом случае у него речь идет о "наводнении всей Белоруссии и радиичами и вятичами" [Шахматов 1916: 110]. Мы сейчас в языкоизучании довольно реально себе представляем, что то же "аканье" вряд ли импортировали таким буквальным образом, подобно тому как и археологи считают с миграцией моды на те или иные артефакты и обычай, а не с обязательной миграцией самих носителей артефактов или обычая. Преувеличение отождествление пучков изоглосс юго-западной зоны и границы Великого княжества Литовского XIV в. [Образование сев.-русск. наречия 1970: 11 и passim] тоже похоже на признание единственного свойства изоглосс – совпадать с госграницей и не нарушать ее. Отождествление изоглоссы и госграницы см. также и [Касаткин 1999, Введение, passim].

Огромную проблему лингвистической географии представляет определение инновационного центра языкового ареала. То, что мы имеем по этому вопросу в нашей литературе, объективно является отождествлением, или подменой инновационного центра центром политическим, административно-территориальным. Собственно говоря, именно в этом последнем смысле понимает "говор центра" Р.И. Аванесов (см. [Аванесов 1947: 156]), когда помещает центр русского глоттогенеза в Северно-Восточной Руси [Там же: 109]. Это понимание владимирско-поволжской группы как диалектной зоны центра возымело популярность в последующие годы [Горшкова 1968: 180, 182; 1972: 105], ср. и [Русская диалектология 1989: 193]: "В основу русского литературного языка лег диалект Ростово-Сузdalской земли". Вариации на тему наблюдаются в тех случаях, когда делаются попытки совместить говоры "центра" и "территорию говоров, окружающих Москву" [Захарова, Орлова 1970: 59, карта № 7].

Но к чести наших конкретных исследователей-диалектологов нельзя не отметить случаев как бы интуитивного нащупывания также того, что можно назвать действительно инновационным центром. Сюда относится выделение курско-орловской группы южновеликорусского наречия между 35° и 37° восточной долготы с диссимилятивным яканьем суджанского типа [Захарова, Орлова 1970: 130 и сл.], ср. еще о диссимилятивном аканье и его центре – [Аванесов 1949: 66, 301]. Вообще с аканьем связывали идею лингвистического центра уже давно, ср. "сильно аканопий центр", по А.И. Соболевскому охватывающий Орловскую, Калужскую, Тульскую, Рязанскую, Тамбовскую, Курскую, Воронежскую губернии [Котков 1951а: 17]. Здесь необходимо вспомнить тезис Шахматова об исконности южновеликорусского (орл. и др.) аканья, сравнительно с белорусским [Котков 1951а: 58–59]. Собственно говоря, можно было бы говорить об общепринятости или во всяком случае распространенности мнения об аканье как явлении центра древнего восточнославянского ареала, ср. [Георгиев etc. 1968: 92]. Равным образом обращает на себя внимание признание центрального, в сущности, характера "курско-орловской группы южного наречия" [Русская диалектология 1964: 274]. Смутнымиисканиями в том же направлении, кажется, были шахматовские поиски (в его терминах) восточнорусского, иначе – среднерусского – наречия на Верхнем Дону и Северском Донце, с аканьем [Трубачев 1997: 97]. В этой связи можно указать на Окско-Донской водораздел с его скоплением удивительно архаичных славянских гидронимов: *Снова, Калитва, Идолга, Щигор, Иловай,*

Излегоща, Толотый [Трубачев 1994: 9] – случай, когда архаизмы периферийного вида как бы подступают к искомому языковому центру, парадокс в вятичском духе, поскольку нигде больше в восточнославянском ареале феномены центра и периферии, испытавшей и расширение и сжатие, мы как будто в такой близости не наблюдаем. В.В. Седов заинтересовался у Трубачева архаической славянской гидронимией на днепровском левобережье и на Дону и связывает их с волынцевской и роменско-боршевской, то есть вятичскими археологическими культурами [Седов 1999: 61], но в поисках восточнославянского центра (очага) в работах того же автора сомневается, помешая, впрочем, примерно там же ареал этнонима RUZZI Баварского географа и Русский каганат [Там же: 19, 64, 73]. В общем, как говорится, время рассудит.

Многие помнят, возможно, какому суровому критическому разбору подверглись две книги Г.А. Хабургаева – «Этнонимы "Повести временных лет" в связи с задачами реконструкции восточнославянского глоттогенеза» (М., 1979) и «Становление русского языка» (М., 1980), см. [Shevelov 1982: 353 и сл.]. Книги эти, действительно, представляли странную смесь археологии с диалектологией, порой также – с недоброкачественной этимологией и реконструкцией. Но главный приговор был вынесен рецензентом даже не за это: «Если бы X(абургаеву) удалось этот центр (иррадиации многих процессов языкового развития. – О.Т.) определить, это было бы его большой заслугой. Но он не пытается это сделать; как кажется, он даже не видит этой проблемы» [Там же: 361]. Да, этой проблемы не видели, и за этим стоял уровень лингвогеографических изучений.

Может быть, стоит поэтому, а также в связи с некоторыми серьезными наметками и высказываниями, процитированными уже выше, присмотреться, в частности, к курско-орловской группе говоров, удобно выделенной на диалектологической карте 1964 года и на диалектологической карте русского языка в Европе 1914 года, см. [Русская диалектология 1989, форзацы]. Трагизм проблемы, если можно так выражаться (хотя трагизма русской науке вообще не занимать, и даже в нашем сжатом очерке эта тема звучит уже дважды), выразился в данном случае в том, что в известной работе И.В. Сталина 1950 г. содержался тезис о курско-орловском диалекте как основе русского национального языка. Как всегда у нас, словословия вдруг резко потом оборвались, в последующий период воцарилось тяжкое табу над этой темой, проблемой и в целом – над поисками центра [Трубачев 1982–1997]. Как водится в таких случаях, с водой выплеснули и ребенка. Серьезный историк русского языка С.И. Котков, подготовивший диссертацию об орловских говорах, оказался легкой мишенью для всяческой критики. А между прочим, речь шла о работе, пролившей много света не только на орловские говоры, их состояние и разностороннюю историю, более того, исправившей немало застарелых перекосов в оценке отношений северновеликорусский – южновеликорусский – общенародный (национальный, литературный) языка. Мы не раз и не два обратимся еще к этой диссертации и другим работам Коткова. Некоторые пассажи оттуда явно заслуживают воспроизведения. Например: «В массе орловских говоров они (формы им. пад. мн. числа на -а муж. рода. – О.Т.) охватывают в основном тот же словарный круг, какой находим в литературном языке и широком просторечии... берегá, бокá, верхá, ветрá, вечерá, волосá, воротá, глазá, годá, городá, домá, закромá, колоколá, лесá, лугá, номерá, погребá, поездá, рогá, рукавá, снегá, сортá, токá, тракторá, триерá, хлебá, холодá» [Котков 1951а: 626]. Ср. данные [ДАРЯ II, карты №№ 24, 25, 27, а также Комментарии], фиксирующие преимущественно «северное» окончание -ы[и]. Не менее информативно, далее, наблюдение об окончании род. пад. ед. числа на -в- (другово, синево, моево), которое считается характерным для северновеликорусского, а в действительности господствует в орловских говорах, согласно результатам обследования [Котков 1980: 135]. Констатируется несколько большая близость южновеликорусских говоров к общенародному языку в области синтаксиса, чем это имеет место в отношении северновеликорусского [Там же: 107]. При этом речь не ведется о прямолинейной иррадиации центральнодиалект-

ное → общеноародное, а о "перемалывании" курско-орловского в общеноародное [Котков 1951а: 755–756].

Но центральным было и остается явление аканья, центральным как по структурной характеристике и важности ввиду охвата также общеноародного (национально-литературного) языка, так и по своей центральноидаликтной принадлежности, и это признается разными авторами, ср. [Горшкова 1972: 125] – о первоначальной территории акающего диалекта, включающей курско-орловские и соседние говоры, см. также уточнение, что для орловских говоров характерны "примерно те же безударные гласные, что и литературная речь" [Котков 1951а: 428]. Центральноюжновеликорусский характер отмечается и для диссимилятивного аканья, см. [Аванесов 1949: 301 и сл., там же карта И.Г. Голанова], ср. и [Русская диалектология 1989: 44], уточнение границ диссимилятивного аканья в сторону их расширения, сравнительно с [ДАРЯ I, карта № 1], см. [Касаткина 2000], впрочем, ср. уже [Котков 1951а: 430]: "Восточная граница диссимилятивного аканья в Орловской области не выходит за восточные пределы диссимилятивного аканья суджанского типа". Примерно на тот же центр наслаживается диссимилятивное яканье: Курск – Орел – Смоленск [ДАРЯ I, карты №№ 3, 8; Захарова, Орлова 1970: 74]. Эти диссимилятивные преобразования безударного вокализма, часть открытия которых принадлежит Шахматову [Макаров 2000: 183], типа диалектных *s[ъ]vá, tr[ъ]vá* [Русская диалектология 1989: 45], курск., льговск. *жылъзо, жына, жыра* [Шахматов 1910: 700 и сл.], *жылаши, цына* [Котков 1951а: 141, 291], *vъdá, жыrá, шыгáть* [ДАРЯ I, карты №№ 1, 2; Программа: 199], в ограниченном, правда, объеме и не надолго, проникли и в стандартнолитературную орфоэпию, ср. пресловутые "сценические" *жыра, шыгы* [Касаткин 199: 479, 480: как *ша"гý, жа"rá*], ср. уже отсутствие подобных рекомендаций в [Орфоэп. словарь 1997].

Словом, картина, в том числе пространственная, явлений (типов) аканья – яканья непростая, сложная даже для лингвиста-медиаликтолога. На множественность этих типов также обратили внимание давно, ср. [Даль 1852: LXXV] о том, что, например, "в смоленском наречии акают до приторности, и аканье это усиливается на запад и юг, через Белую до Черной и Малой Руси..." Почтенный лексикограф так отзывался о том, что потом стали квалифицировать как белорусский, полный характер аканья [Шахматов 1910: 379–380]. Для срединных же, означенных выше говоров характерна пестрота типов аканья-яканья на довольно ограниченном пространстве. Все эти генетически более новые, разнообразные типы, в основном – диссимилятивного аканья (яканья) – суджанский, обоянский, щигровский – все сосредоточены в зоне курско-орловских говоров, проще говоря – на курской земле, откуда и исходили эти инновации, знаменующие тем самым центральность зоны. Инновации были в известном смысле множественными, ср. сюда еще яканье – орловско-курское, но и среднерусское и национально-литературное [Котков 1951а: 467, 476; Русская диалектология 1964: 61]. Все это, вместе взятое создавало ту самую пестроту и неоднозначность характеристики, которую по канонам дисциплины и должен проявлять центр лингвогеографического ареала. Из этих черт некоторые в разном объеме устремились центробежно в более периферийные области, ср. яканье в московских говорах и отдельные отражения диссимилятивных явлений в самом высоком речевом стандарте, о чем кратко – выше.

Конечно, остается традиционно трудный вопрос о происхождении аканья, и здесь не могут быть, естественно, признаны достаточными и убедительными ссылки на "безболезненность" и "легкость" перехода от оканья к аканью [Аванесов 1947: 146]. Почему тогда, спрашивается, не начала "акать" вся территория языка? Видимо, не стоит оставлять без внимания сопутствующий социолингвистический аспект: это была инновация, шедшая из влиятельного южного центра (самое время напомнить, что великорусский Юг превосходил великорусский Север по людскому, экономическому и другим потенциалам, о чем почему-то обычно забывают, как и об аксиоме, что история начиналась на Юге), инновация обладала авторитетом, и следовать ей, этому

пресловутому выговору "по-московски", о чём [Даль, *passim*], было престижно. Редкость ли заселения Севера, неудовлетворительность тамошних коммуникаций или какие-то более тонкие причины, но что-то все же привело к затуханию инновационной волны аканья на подступах именно к Северу. Мы и в дальнейшем будем пользоваться этой точкой отсчета: сравнительная дальность траектории волн, высыпаемых инновационным центром.

Распространена концепция, датирующая аканье временем после падения редуцированных [Аванесов 1947: 138–139], и к ней, вероятно, надо прислушаться. Но вполне возможно, что дело многое сложнее, и указанное падение – не единственная, а одна из причин, довершившая окончательное приведение в действие механизма аканья. Возможно, более широкое допущение ряда предрасположений к аканью – единственный выход из туникового положения, в котором проблема аканья оказалась в результате ожесточенных споров. Иными словами, если даже перед нами не тот случай, когда "оба правы", то все же возможно расценить ситуацию как некий сигнал о наличии рационального зерна во взаимоисключающих концепциях: "аканье – собственно русская инновация", "аканье – праславянский феномен". Нельзя забывать и о том, что язык древнерусской ветви славянства подвергся значительной перестройке, развертывавшейся опять-таки по законам лингвистической географии (пространственной лингвистики). Не исключено при этом, что первоначальный краткостный вокализм был у древнерусских славян, их большинства переинтерпретирован как вокализм безударный [Трубачев 1991: 69–71]. Состоялась утрата категории различия количества гласных, которой праукраинский как типичная периферия был затронут в гораздо меньшей степени, ср. имевшее в украинском место заместительное растяжение/продление, ареально близкий аналог явлению польской исторической фонетики – *wzdużenie zastępcze*, и там, и тут – во вновь закрытых слогах. Это явление косвенно свидетельствует о древнем наличии в праукраинских диалектах количественных различий гласных. Собственно великорусский этого не знает. Ср. [Скляренко 1988: 66–67], где заместительное продление рассматривается на материале славянских языков, сохранивших количественно-интонационные различия гласных (серб.-хорв.), но не говорится об украинских данных. Какое-то отношение может иметь к проблеме аканья фактическое тождество слав. *о* и *й*, даже первичность последнего [Vaillant 1950: 107, 233; Георгиев etc. 1968: 26]. Тот факт, что ослабление безударных гласных в южновеликорусском и белорусском очень поздно отразилось в письменности, говорит не только и не столько о консервативности письма [Шахматов 1908: 156; 1916: 53], сколько о том отношении взаимной компенсации, в которое вступили означенное ослабление артикуляции и консервирующая тенденция письма.

Об этом, может быть, следует сказать особо. Здесь речь пойдет, в сущности, о типологическом отличии русского языка, выделяющем его из большинства других славянских языков. Ненапряженная артикуляция (главным образом безударного вокализма) – яркая черта русского языка и его инновация, отделившая его даже от ближайшего родственного белорусского языка. Парадокс в том, что оба эти языка объединяет общность аканья, однако в белорусском с его "полным аканьем" обозначилась такая самостоятельная черта, как напряженная артикуляция безударного вокализма. Результат: различия по принципу: напряженная артикуляция языка – фонетическая орфография (вспомним сербохорватский и вуковский завет "пиши као што говориш" – пиши, как говоришь), соответственно ненапряженная артикуляция языка – консервативная (историческая) орфография. См. об этом специально [Трубачев 1997, гл. III: Взгляд на этногенез белорусов, 88–89]. Там же и наблюдение о том, что русская артикуляция, выпадая из славянской в целом, напоминает принцип английской (аналогия распространяется и на консервативность письма в обоих случаях!). В связи с отмеченным кажется несколько непонятным мнение о факультативности напряженности в славянских языках [Новое в лингвистике 1962: 204 и сл.]. Переход к менее напряженной артикуляционной базе как "общая тенденция" русского языка, в том числе в плане замены аканья аканьем, характеризуется также в [Касаткин 1999: 131, 132].

Итак, опираясь в немалой степени на предшественников, мы пришли к заключению о необходимости наличия инновационного центра, даже сосредоточились на некотором вероятии подобного центра инноваций в среднезападной части южновеликорусского пространства. Имеет смысл сохранить в дальнейшем эту точку отсчета для суждений об (остальных) частях и явлениях великорусского ареала. Из них наиболее яркая и легко выделяемая – северовеликорусская часть. Вместе с тем, заинтересовавшись критериями выделения северовеликорусского наречия, мы не можем не выразить сомнений на этот счет. Во-первых, оказывается под вопросом целостность северовеликорусского наречия (в его западной и северо-восточной частях), и это признается основными исследователями, см. [Образование сев.-русск. наречия 1970: 210]. Во-вторых, они же признают, что "выделение" "будущей территории северного наречия" намечается "на основе распространения аканья" [Там же: 225, 235]. Ведь это означает ни больше, ни меньше, как то, что основной критерий выделения – отрицательный: то, куда не дошло аканье, территория, где аканья нет, поскольку никто не станет спорить с тем, что аканье шло с юга. Интересно отметить, что характеристика южного наречия заметно контрастирует с этим, нося более конкретно-позитивный характер: неразличение безударных гласных, фрикативное г (γ), отсутствие контракции (выпадения j) [Русская диалектология 1964: 239]. Но и южновеликорусские отличительные признаки не изначальны. Не только в среднерусских говорах, но и в южновеликорусском просвечивает "северовеликорусская" основа, говоря в терминах действующей диалектологии. Сказанное делает неактуальной оппозицию "северовеликорусский" ~ "южновеликорусский", поскольку ретроспективно северовеликорусский синонимизируется (оказывается тождественным) со всем изначальным великорусским, причем аканье/яканье – вторичные инновации языкового центра. Сейчас нельзя без некоторого удивления воспринимать оценки вроде того, что (по Шахматову) Е.Ф. Будде принадлежит "замечательный вывод" о том, что северная часть Рязанской области первоначально относилась к северовеликорусскому наречию (см. об этом [Сидоров 1966: 98 и сл.]), там же о северовеликорусском характере касимовских говоров в прошлом. Ведь в сущности ясно, что это банальная констатация хода южных инноваций, перекрывающих первобытные черты вроде того же аканья.

Перейдя к среднерусским говорам, мы вынуждены будем признать, что критерии их выделения не менее сомнительны, хотя высказывания в литературе в связи со среднерусскими говорами временами чрезвычайно ответственны, ср. [Горшкова 1972: 148]: только после образования среднерусских говоров можно говорить о языке в целом. Сейчас для нас подобные утверждения кажутся совершенно неприемлемыми, притом, что ясно, что они восходят к концепции "встречи" в бассейне Оки и верхнего Поволжья северорусов и "восточнорусов" (в шахматовской терминологии – южновеликорусов) [Шахматов 1908: 25, 26], где говорится о воспоследовавшем смешении. Так, поныне действует шахматовская схема о "смешанных говорах" между северовеликорусским и южновеликорусским, их "переходном" характере [Шахматов 1908: 160, 172, 180; 1919]. Ср. следование этой концепции в [Аванесов 1947: 153; Сидоров 1966: 103; Горшкова 1972: 148]. А между тем в глаза бросается условность выделения среднерусских говоров с их распадением на акающие и окающие говоры [Русская диалектология 1964: 284, карта № 11]. Не совсем понятна, хотя и выдержана в том же духе трактовка среднерусских говоров как "окраинных" в отношении северовеликорусского и южновеликорусского наречий [Захарова, Орлова 1970: 21]. Наш вывод, к тому же сделанный отнюдь не сегодня и не вчера: концепция выделения среднерусских говоров неясна лингвогеографически [Трубачев 1987: 22]. Сегодня, пожалуй, складывается впечатление, что, постулируя особые среднерусские говоры, не думали не только о центре, но и о целостном русском языковом ареале, ибо есть все основания для того, чтобы задаться вопросом, не является ли то, что привычно называют среднерусскими говорами, в действительности зоной затухания разных инновационных волн южного центра?

Смешение языков и диалектов, как уже ясно из предыдущего, в полной мере принималось последователями Шахматова, служа заменой концепции наддиалекта. На этой основе строилось и понимание смешанных говоров городских центров, в частности Москвы, см. [Шахматов 1915: XLVIII] о смешанном говоре Москвы – из севернорусских и "восточнорусских" элементов. По своему происхождению Шахматов представлял себе говор Москвы как северновеликорусский [Макаров 2000: 207]. Все эти представления практически без изменения были восприняты последователями [Аванесов 1947: 111, 154], где также указывается на севернорусскую основу литературного языка. Впрочем, похоже, что эти идеи учителя повторялись без проверки на материале. По-видимому, духом примата севернорусской основы среднерусских говоров проникнуто положение: «Говоры на территории Московского княжества ... ничем не обнаруживают своего "вятического" ... происхождения» [Аванесов 1947: 137]. Однако сейчас мы можем судить об этих вещах несколько конкретнее, а главное – иначе, в чем нам помогает весьма содержательный "Лексический атлас Московской области" (М., 1991), где на многих картах идут южным фронтом лексические диалектизмы "литературного" облика: *огород* (карта № 3), *подпол* (карта № 11), *погреб* (карта № 12), *угол 'угол избы'* (карта № 17), *заслонка* (карта № 26), *изгородь* (карта № 28), *кочерга* (карта № 34), *корчага* (карта № 39), *миска* (карта № 42), *полдник* (карта № 60), *навес* (карта № 64), *оглобля* (карта № 74), *волокуша* (карта № 78), *чернушка 'гриб грудинка черный'* (карта № 83), *сыроежка* (карта № 84), *свинушка* (карта № 88), *подберёзовик* (карта № 91), *молодняк 'молодой лес'* (карта № 93), *хворост 'мелкий лес'* (карта № 94), *сосняк* (карта № 100), *корзина* (карты №№ 130, 131), *корзинка* (карта № 132), *беседа 'изба ... на посиделки'* (карта № 136). Остается при этом вспомнить широкий археологический клин вятичей XI–XIII вв. с Юга, захватывающий все "ближнее Подмосковье", включая Москву, по В.В. Седову [Войтенко 1991: 61], сведения о чем уже приводились выше.

В плане лингвистической географии русский Север обнаруживает свойственные периферии архаизмы, причем немаловажно, что явления этой северной периферии перекликаются с другой периферией, южной, с аналогичными украинскими явлениями. Очевидно, что это проявление единого большого ареала, охватывавшего все позднейшие восточнославянские языки. Сюда относится сохранение звонкости согласных в конце слова в украинском и в некоторых северновеликорусских диалектах [Филин 1972: 335, 336; Касаткин 1999: 134, 137, 138], при подавляющем оглушении звонких согласных в конце слова после падения редуцированных в центре ареала, а также широко за его пределами. Отвердение согласных перед *e* и *i* в украинском [Шахматов 1908: 156], по Шахматову, – позднейшее [Шахматов 1910: 16; 1915: 127], ср. подавляющее отсутствие отвердения согласных перед *e* и *i* в великорусском [Шахматов 1908: 158], обнаруживает, однако, знаменательные соответствия в виде твердости согласных перед передними гласными на архаизирующей северной периферии, о чем см. уже [Шахматов 1915: 128]: в Судогодском уезде. Об "отвердении согласных" в этой позиции говорят и современные исследователи, указывающие на ряд северновеликорусских, вологодских говоров [Горшкова 1968: 88; Касаткин 1999: 150, 170; ДАРЯ I, карта № 65]. Вот только "отвердение" ли это или древняя твердость, сохранившаяся на архаизирующих перифериях (укр., с.-в.-р.), несмотря на все доводы Шахматова о вторичности украинского отвердения? Ср. и [Касаткин 1999: 170]: "старое состояние".

Более строгий и последовательный учет лингвогеографического аспекта в сочетании со сравнительно-историческим критерием способен, очевидно, внести коррективы в изучение диалектов на всех уровнях, в частности, в области периферийных архаизмов морфологического и лексического характера. Знакомство с тем, что сделано, показывает реальность таких коррективов, ср., например, отнесение форм мн. числа ср. рода *окóшка, телáтка* к числу северновеликорусских "инноваций" [Образование сев.-русск. наречия 1970: 218–219, карта № 63]. Ясно, со всех точек зрения, что это архаизм.

Досадное урезание картографируемого русского диалектного пространства примерно к северу от 62-й параллели составителями наших диалектологических атласов, которое невозможно оправдать никакой "редкостью заселения" и в результате которого из общего поля зрения как бы выпал поморский Север, освоенный тысячью лет назад, лишило нас многих полезных наблюдений и материалов, и это касается архаизмов периферийной лексики. К счастью, положение отчасти помогают поправить дополнительные работы вроде "Лексического атласа Архангельской области" Л.П. Комягиной [Комягина 1994] тем более, что лексическая сторона диалектов в общем традиционно несколько недооценивалась нашими диалектологами и составителями центральных атласов. Так, древнее *диал. клюка* 'кочерга', как будто не учтенное в ДАРЯ III (лексика), фиксируется в [Комягина 1994: 204, карта № 170] и обратило на себя внимание еще Даля, который охарактеризовал курьезным образом наше северное слово как "малорусское" [Даль 1852: LIII], что позволяет определить в современных терминах отношение с.-в.-р. *клюка* и укр. *клюка* как периферийные, латеральные архаизмы еще общевосточнославянского ареала.

Составители ДАРЯ оставили, кажется, без внимания русское продолжение еще праславянского слова **korogul'a*, обозначение заостренной палки, мотыги, лопатки и т.п., см. о нем [Варбот 1974: 56 и сл.; ЭССЯ 11: 21 и сл.]. Его продолжения и на русской почве ведут себя как архаизм, ср. *диал. (арханг.) копоруля* [Комягина 1994: 154, карта № 120], а также *диал. (моск.) копырюля* [Войтенко 1991: 134; 1997: 50]. Эти отношения были бы неполными без архангельских данных.

Чрезвычайно интересен случай, привлекший наше внимание уже давно и призванный восполнить одну из лакун сводного центрального атласа. Имеется в виду еще праславянский лексический диалектизм (локализм) **kъr̥m̥yslъ / *čъr̥m̥yslъ*. Первый вариант известен только в восточнославянском (русск., укр., блр.), зафиксирован также в древнерусских памятниках, второй – **čъr̥m̥yslъ* – обнаруживает продолжения только в кашубских говорах, и там, и тут – в значении 'приспособление для ношения, подвешивания', см. специально [Трубачев 1974: 35 и сл.; 1987: 22–23; ЭССЯ 4: 149; ЭССЯ 13: 228–229]. Карты "коромысло, коромысел" в кратком, сводном ДАРЯ, к сожалению, не оказалось. См. только косвенные данные в других тематических картах №№ 29, 52 [ДАРЯ III (лексика) и Комментарии], однако специальная карта на тему этого слова показалась важной, в частности, для лексики литературного языка и для проблемы среднего рода в том числе, поэтому я позволил себе опубликовать здесь имеющуюся у меня карту, основанную как на "Атласе русских народных говоров центральных областей к востоку от Москвы" (М., 1957, сводная карта № 13), так и на неизданных томах ("З", карта № 358; "С", карты №№ 368, 369; "С–З", карта № 150; "Ю", карта № 257). Смею надеяться, что публикуемая карта (см.) представляет не только "архивный" интерес, ибо уже с первого взгляда видно, что карта "получилась" в соответствии с самыми строгими требованиями лингвистической географии. На ней четко представлены две главных периферийных (латеральных) зоны с продолжениями более древней формы муж. рода **kъr̥m̥yslъ* – западная, сопредельная с однотипными украинскими и белорусскими данными, и восточная, несколько более прерывистая (вообще фиксация здесь восточной периферии в принципе интересна). Основной же сюжет карты – выявление подобия неширокого коридора, вытянутого в направлении ЮЗ-СВ, в южновеликорусских говорах, с расширением в средневеликорусских говорах и с абсолютным господством в северновеликорусском. Всю эту центральную фигуру занимает инновационная форма ср.рода коромы́сло. Кроме историко-лингвистического и, может быть, культурно-исторического значения этих сведений по истории вариантов *коромы́с(e)л ~ коромы́сло*, здесь проступает и аспект общей судьбы среднего рода, об утрате которого в южновеликорусском обычно идет речь, ср. об "всех" орловских говорах [Котков 1951а: 567], о морфологических "рязанизмах" типа *какайа молокó* – к востоку от меридiana Орел – Курск [Захарова, Орлова 1970: 105, карта № 18⁶]. Случай довольно мощной и влиятельной инновации *коромы́сло* ср. рода, попавшей в

География форм
королевства – коромысл
в русских народных говорах
по данным Атласа русских народных
говоров (МРЯ З АН СССР)

- × формы м. р. коромысл,
- коромысл, коромысь,
- коромыся, коромысъ,
- коромысл, коромыслъ,
- коромысъ, коромыслъ,
- коромыслъ
- формы ср. р. коромыслъ,
- коромысло, коромысъ,
- (и исторически им тождес-
твенные типы коромысла)
- ⊗ р. л. коромысли, коромысли
- передвижные ареалы
распространения
коромыслъ и под..
- 24°
- 56°

60°

56°

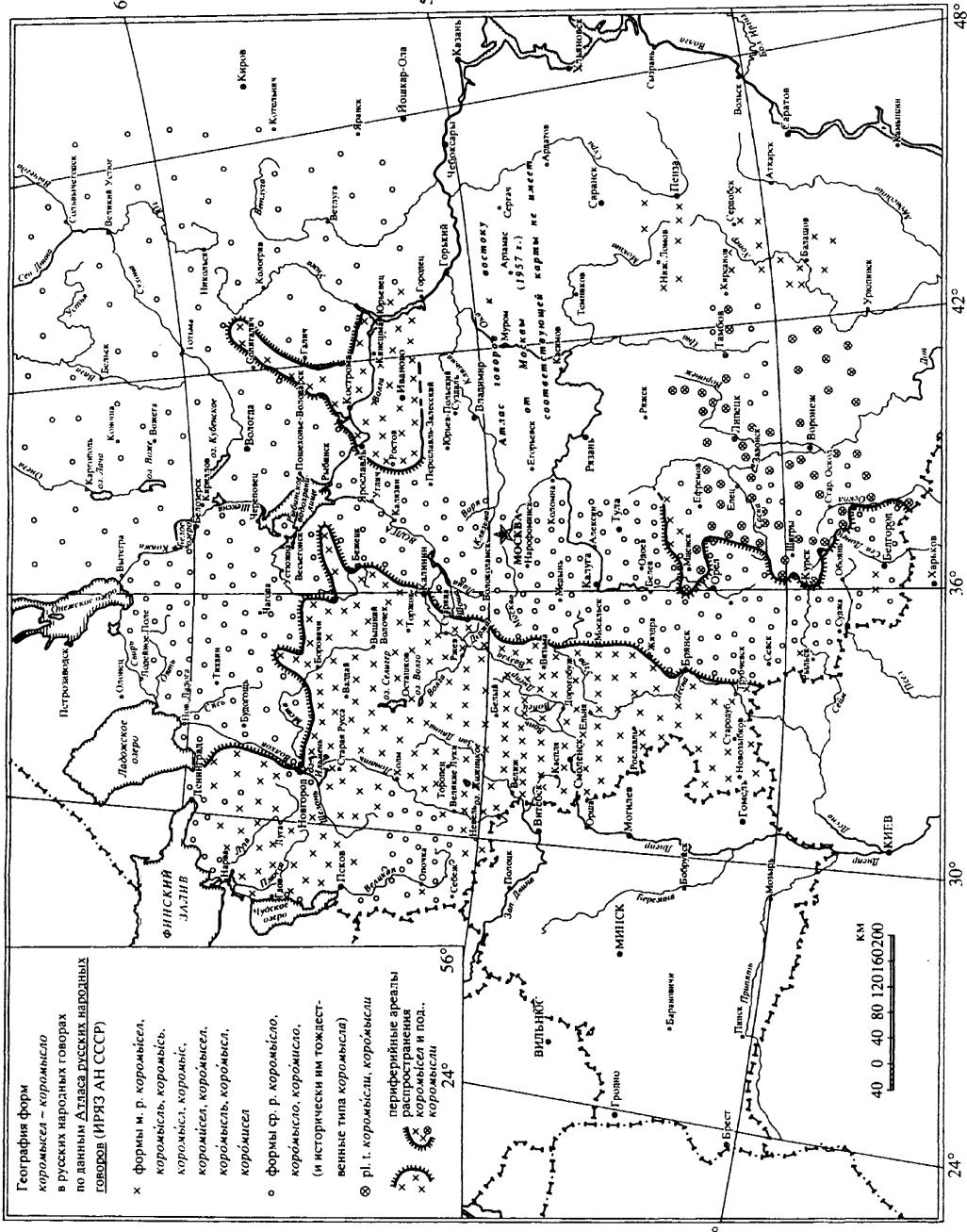
48°

48°

42°

36°

36°



литературный язык и иррадиированной все тем же Югом, как кажется, может свидетельствовать, что упомянутая "утрата среднего рода" – инновация совсем новая, уже не дошедшая до литературного языка.

Давно назрела необходимость пересмотра привычных утверждений о существовании лексических оппозиций типа с.-в.-р. *изба* – ю.-в.-р. *хата*, с.-в.-р. *конь* – ю.-в.-р. *лошадь* и т.п. Эти оппозиции, к тому же, бывают призваны подкреплять далекоидущие выводы о преимущественно северновеликорусской основе русского национального языка, – выводы, также заслуживающие пересмотра. По этой проблеме уместно широко процитировать С.И. Коткова, который в наибольшей степени способствовал пересмотру укоренившихся традиций и показал значительность южновеликорусского вклада в общенародный язык, даже несмотря на относительно поздний возраст южновеликорусской письменности (в основном – с XVI в.). Исследования, в частности, показали, что так называемые "типично северные" слова *выть*, *изба*, *кулига*, *конь*, *петух*, *лонской* – все обнаружены в старой южновеликорусской деловой письменности [Котков 1980: 7, 23, 129]. Сказанное относится почти ко всем якобы северным словам, ср. по данным южновеликорусской письменности XVI–XVII вв. о наличии там слов *изба*, *хлев*, *конь* уже в [Котков 1951а: 749]. Столь же пресловутая оппозиция с.-в.-р. *сарафан* ~ ю.-в.-р. *понёва* тоже элементарно не выдерживает исторической да и ареальной экспертизы. *Сарафан* первоначально обозначало, к тому же, общую или мужскую одежду, см. [СлРЯ XI–XVII вв., 23: 64], в качестве названия женской одежды зафиксировано вторично с XVII в. Важно также иметь в виду, что слово, в конечном счете, пришло с Юга, заимствовано из персидского языка [Фасмер 1996, III: 561; Черных 1994, II: 140].

В шахматовском наследии довольно видное место занимает еще одно положение, которое вряд ли может быть сохранено, хотя оно и продолжает сохраняться в литературе предмета без должной критики: это концепция великорусской народности как суммы двух различных групп, в терминах ученого – севернорусской и "среднерусской", то есть южновеликорусской [Шахматов 1899: 38], концепция всего великорусского как "результата позднейшего сожительства" [Шахматов 1916: 107]. Эта двухнаречная схема великорусской народности и языкового ареала (хотя современное понятие "языкового ареала" вообще вряд ли подходит для подобной концепции) излагалась ученым порой очень императивно, например: "... великорусская народность – это научная фикция..." [Шахматов 1899: 48], общность языка и народа он относит "только к позднейшей эпохе жизни обеих групп" [Шахматов 1910: 501], всячески акцентируя исконное отличие друг от друга северновеликорусской и южновеликорусской групп [Там же: 498, 501], разумеется, с последующим сближением и смешением [Шахматов 1899: 8]. Я не буду больше вдаваться в критический разбор этого положения, которое до сих пор числят среди достижений ученого [Макаров 2000: 199]. Как бы то ни было, это, по-видимому, произвело сильное впечатление в свое время и оставило глубокий след до сих пор.

Влияние Шахматова было огромно; под него подпала и молодая украинская диалектология. Собственно, уже сам великий ученый распространил свою двухнаречную схему, признав деление украинского языка на две ветви – северную и южную – исконным [Шахматов 1899: 7]. Мне и раньше приходилось писать о том, что подобная двухнаречная схема со смешанными или переходными говорами между этими наречиями надолго, если не навсегда, отодвинула поиски жизненно важного центра ареала [Трубачев 1997: 93, 95]. Именно на этой почве взошла гетерогенная версия русского глоттогенеза Хабургаева 1980 г., обретшая незаслуженную популярность в смежных дисциплинах (ср. [Седов 1982: 273]), хотя ведь совершенно очевидна сомнительная теоретическая ценность такого прибавления в нашей науке. Но шахматовский "первотолчок" все еще действует, поскольку попытки софистицировать проблему состава (древне)русского языкового ареала не прекращаются, вспомним искания вокруг древненовгородского диалекта, который в новых исследованиях порой оказы-

вается уже не русским, а (пра)славянским без объективной на то надобности. Искренние помыслы великого ученого, которого отделяет от нас – скоро уже – доброе столетие, все же, думается, не подлежат эпигонскому тиражированию, требуя трезвого рассмотрения, тем паче – запоздалые опыты в том же духе.

Чтобы покончить с украинским экскурсом, вспомним о "Диалектологической классификации украинских говоров" В. Ганцова 1923 года, относимой поныне к классике в этой области: диалектное деление украинской языковой территории на северные и южные говоры с говорами переходного типа между ними, все это – с полными русскими аналогиями [Ганцов 1923: 54, 55, 56, 58 с картой]. В конце концов Ганцов и сам признает "извечное отличие" двух наречий украинского языка и их прозрачную аналогию отношениям северновеликорусского и южновеликорусского пересадкой шахматовского учения на украинскую почву [Там же: 64].

Возвращаясь, в заключение своего очерка к идеи сложного состава древнерусского пространства и языка, вижу, что будет отнюдь не лишним повторить, что эта сложность (как и полидиалектность) отнюдь не противоречит идеи единства и уж, разумеется, не "взламывает" ее. При этом мы как бы вновь возвращаемся именно к идеи единства – на новом этапе. Разумеется, далее, на этом новом этапе не может быть речи о синонимичности этого единства и "монолитности", поскольку наше единство, обогащенное идеей полидиалектности, ну, и само собой – всем комплексом идей лингвистической географии, о котором достаточно – выше, просто запрещает имплицировать эту монолитность или, скажем, приписывать ее нам. Так что ни о какой альтернативе – или "монолитность", или поиски особой ниши для древненовгородского "просто как диалекта позднепраславянского языка" [Зализняк 1995: 5] – речь вестись не должна, тем более – для эпохи XII–XIII вв.! Ср. еще [Грубачев 1999: 11]. Поэтому сейчас сражаться с "концепцией правосточнославянского языка как генетически монолитного..." [Зализняк 1988: 176] не стоит, ведь так сейчас, пожалуй, никто уже активно не думает, что же до различий, скажем, между славянокривическим и югозападнорусским, то современной концепции сложного единства (см. выше) они нисколько не противоречат, укладываясь в понятие периферий древнерусского лингвогеографического ареала. Оживлять для этого идеи новгородско-северокривично-западнославянской (лембитской) близости тоже не требуется. Тем более – оперировать для этого явными общими архаизмами вроде сохранения *dl* на Северо-Западе русского арсала и на Западе славянства ввиду общеизвестной непоказательности общих архаизмов для общих переживаний или "общего" непалатализованного наличия *kě-*, *xě-*, *kvě-*, где филигранная историко-диалектологическая проверка восстанавливает вероятность развития русск. *диал. цвет < t'vět < czvět* (так еще Шахматов!) и *кедить* из *цедить* и псковск. *диал. малакó тéла 'цело'*, то есть псевдоархаизмы [Страхов 1999: 287; Шустер-Шевц 1998: 3 и сл.].

С другой стороны, никогда не лишие помнить нечасто повторяемые идеи о восточнославянском как сугубой периферии всего славянского ареала, взять хотя бы архаичность (sic!) канонически послеметатезной формулы *torot, tolot (tarat, talat)*, а не *tort, tolт*, для чего, конечно, желательна инновативность лингвистического мышления, а не его архаистичность, удобно укладывающаяся в накатанную колею.

III

("To есть середа земли мои...")

С прошествием времен прямоугольник русского языкового и этнического пространства постепенно менял свои очертания. Древний русский меридиональный прямоугольник, сурово зажатый и урезаемый с Востока и Юго-Востока первоначально чужим Поволжьем и Степью, уходил и ширился лишь на север, и вот Севером, с запада на восток пошло его новое прирастание. За это время и Поволжье породнилось, и Степь замирилась. А русский прямоугольник незаметно, из века в век из

меридионального превратился в широтный, несказанно вырос и ушел за уральский горизонт. Иные назовут это (даже в ученом мире) русским ассимиляторством, но у тех, кто знает, находились для этого другие слова. С переселенцами из Европейской России (а в их числе были не одни новгородцы, но и "семейские", жители с берегов Сейма в курских, вятских краях и, разумеется, из других мест) на восток, к туземцам Сибири шло земледелие. Одной этой черты хватит для правильного взгляда на вещи.

А центр – конечно, не геометрический, впрочем, и не политический тоже, как мы это пытались показать – так и остался, как был, на старом месте, на Русской равнине, в вятско-рязанской земле. Асимметричность сложившейся фигуры, как и ряды парадоксов, рассмотренные выше, – без них вятчи-рязанцы, кажется, не были бы самими собой, есть тоже проявление самобытности. И мы возвращаемся всякий раз, ведомые научным или не только научным интересом, в "эту чахленькую местность", вместе со "своим", рязанским поэтом. Все – так же, все на месте, все те же, *mutatis mutandis*, вятчи, и сквернословят, как при Несторе, если не хуже. Но это – с одной стороны. С другой стороны – все остальное, может быть – главное: способность оставаться Центром – языка, народа, не последняя способность да и не всем дана. Мы всегда отыщем эту небольшую землю в сердце гигантской по-прежнему России, и наш взор, остановившись на ней, теплеет. На ум приходят опять есенинские, пронзительные слова: "Затерялась Русь в мордве и чуди, / Нипочем ей страх". А они, действительно, так и не дождавшись хорошего качества жизни, страха не имут. Вот почему так долго с вятчами возились и Святослав, и Владимир Мономах. Вот почему, видно, именно в вятской земле простерлись ратные поля – Куликово и Прохоровское. Будто кто-то продолжает их испытывать. Но и другие, пришедшие из древности, слова ложатся при этом на душу: "То есть середа земли моей..." Сказанные когда-то о другом, о Подунавье, они просятся сюда – о вятчах, возможно, тоже с Дуная приведших.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

- Аванесов Р.И. 1947 – Вопросы образования русского языка в его говорах // Вестник МГУ 1947. № 9.
- Аванесов Р.И. 1949 – Очерки русской диалектологии. Часть первая. М., 1949.
- Бородина М.А. 1968 – Лингвистическая география // Теоретические проблемы советского языкознания. М., 1968.
- Варбот Ж.Ж. 1974 – К реконструкции и этимологии некоторых праславянских глагольных основ и отглагольных имен. II / Этимология. 1972. М., 1974.
- Веселовский С.Б. 1974 – Ономастикон. Древнерусские имена, прозвища, фамилии. М., 1974.
- Войтенко А.Ф. 1991 – Лексический атлас Московской области. М., 1991.
- Войтенко А.Ф. 1997 – Лексические различия на территории Московской области (лексикографическая, лексикологическая и лингвогеографическая характеристики): Дис. ... док. филол. наук. М., 1997.
- Ганцов В. 1923 – Діалектологічна класифікація українських говорів. Київ, 1923 (Nachdruck von R. Olesch. Köln, 1974).
- Георгиев В.И. etc 1968 – Георгиев В.И., Журавлев В.К., Филин Ф.П., Стойков С.И. Общеславянское значение проблемы аканья. София, 1968.
- Горшкова К.В. 1968 – Очерки исторической диалектологии Северной Руси (по данным исторической фонологии). М., 1968.
- Горшкова К.В. 1972 – Историческая диалектология русского языка. М., 1972.
- Даль В.И. 1852 – О наречиях русского языка, по поводу Опыта областного великорусского словаря, изданного Вторым отделением имп. Академии наук. Из V книжки "Вестника Имп. Русского Геогр. Об-ва за 1852 г.", с небольшими поправками против первого изд. // В. Даль. Толковый словарь живого великорусского языка. Т. I. М., 1955 (со второго изд. 1880–1882 гг.).
- Даркевич В.П. 1993 – Путешествие в Древнюю Рязань. Записки археолога. Рязань, 1993.
- ДАРЯ I 1986 – Диалектологический атлас русского языка. Центр Европейской части СССР. Вып. I: Фонетика / Под ред. Р.И. Аванесова и С.В. Бромлей. М., 1986.

- ДАРЯ II 1989 – Диалектологический атлас русского языка. Центр Европейской части СССР. Вып. II: Морфология / Под ред. С.В. Бромлей. М., 1989.
- ДАРЯ III 1996 – Диалектологический атлас русского языка (Центр Европейской части СССР). Вып. III (часть I) / Под ред. О.Н. Мораховской. М., 1996.
- Диал. исследования 1977 – Диалектологические исследования по русскому языку. М., 1977.
- Зализняк А.А. 1988 – Древненовгородский диалект и проблемы диалектного членения позднего праславянского языка // Славянское языкознание. X Международный съезд славистов. Доклады советской делегации. М., 1988.
- Зализняк А.А. 1995 – Древненовгородский диалект. М., 1995.
- Зализняк А.А. 1998 – Проблемы изучения берестяных грамот // Славянское языкознание. XII Международный съезд славистов. Доклады российской делегации. М., 1998.
- Захарова К.Ф., Орлова В.Г. 1970 – Диалектное членение русского языка. М., 1970.
- Иловайский Д. 1858 – История Рязанского княжества. М., 1858.
- Касаткин Л.Л. 1999 – Современная русская диалектная и литературная фонетика как источник для истории русского языка. М., 1999.
- Касаткина Р.Ф. 2000 – Южнорусское наречие. Новые данные // ВЯ. 2000. № 3.
- Комягина Л.П. 1994 – Лексический атлас Архангельской области. Архангельск, 1994.
- Котков С.И. 1951а – Говоры Орловской области (фонетика и морфология): Дис. ... док. филол. наук. Т. I-II. М., 1951.
- Котков С.И. 1951б – Из истории изучения орловских говоров. Говоры Орловской области со стороны их вокализма // Уч. зап. Орловского гос. пед. ин-та. Т. V. Вып. 2. Орел, 1951.
- Котков С.И. и др. 1978 – Памятники русской письменности XV–XVI вв. Рязанский край / Издание подгот. С.И. Котков, И.С. Филиппова. М., 1978.
- Котков С.И. 1980 – Лингвистическое источниковедение и история русского языка. М., 1980.
- Кузьмин А.Г. 1965 – Рязанское летописание. Сведения о Рязани и Муроме до середины XVI в. М., 1965.
- Ляпушкин И.И. 1968 – Славяне Восточной Европы накануне образования Древнерусского государства (VIII – первая половина IX в.). Л., 1968.
- Макаров В.И. 2000 – "Такого не быть на Руси прежде"... Повесть об академике А.А. Шахматове. СПб., 2000.
- Медынцева А.А. 1979 – Тмутараканский камень. М., 1979.
- Медынцева А.А. 1988 – Эпиграфические находки из Старой Рязани // Древности славян и Руси. Сборник в честь 80-летия Б.А. Рыбакова. М., 1988.
- Монгайт А.Л. 1961 – Рязанская земля. М., 1961.
- Насонов А.А. 1951 – "Русская земля" и образование территории древнерусского государства. Историко-географическое исследование. М., 1951.
- Никольская Т.Н. 1981 – Земля вятичей. К истории населения бассейна верхней и средней Оки в IX–XIII вв. М., 1981.
- Никонов В.А. 1966 – Краткий топонимический словарь. М., 1966.
- Новое в лингвистике 1962 – Новое в лингвистике. Вып. 2. М., 1962.
- Образование сев.-русск. наречия 1970 – Образование севернорусского наречия и среднерусских говоров по материалам лингвистической географии / Отв. ред. В.Г. Орлова. М., 1970.
- Орфоэп. словарь 1997 – Орфоэпический словарь русского языка. Произношение, ударение, грамматические формы. Около 65000 слов / Под ред. Р.И. Авансова. 6-е изд., стереотип. М., 1997.
- Осипова Е.П. 1999 – Наименования одежды в рязанских говорах (этнолингвистический и лингвогеографический аспекты): Дис. ... канд. филол. наук. М., 1999.
- Повесть временных лет 1978 – Повесть временных лет // Памятники литературы древней Руси. XI – начало XII века / Сост. и общ. ред. Л.А. Дмитриева, Д.С. Лихачева. М., 1978.
- Рождественская Т.В. 1994 – Эпиграфические памятники Древней Руси X–XV вв.: Дис. ... док. филол. наук. СПб., 1994.
- Русская диалектология 1964 – Русская диалектология / Под ред. Р.И. Авансова, В.Г. Орловой. М., 1964.
- Русская диалектология 1989 – Русская диалектология / Под ред. Л.Л. Касаткина. 2-е изд. М., 1989.
- Рыбаков Б.А. 1982 – Киевская Русь и русские княжества XII–XIII вв. М., 1982.

- Рязанская энциклопедия 1995 – Рязанская энциклопедия. Рязань, 1995.
- Седов В.В. 1982 – Восточные славяне в VI–XIII вв. М., 1982.
- Седов В.В. 1999 – Древнерусская народность. Историко-археологическое исследование. М., 1999.
- Сидоров В.Н. 1966 – Из истории звуков русского языка. М., 1966.
- Скляренко В.Г. 1998 – Праслов'янська акцентологія. Київ, 1998.
- Смолицкая Г.П. 1976 – Гидронимия бассейна Оки (список рек и озер). М., 1976.
- СлРЯ XI–XVII вв. – Словарь русского языка XI–XVII вв. Вып. I –, М., 1975 –.
- Страхов А.Б. 1999 – Новгородские и псковские "переходы" *мл* > *н'*, *tl* > *кл*, *dl* > *гл*: альтернативные решения // PALAEOSLAVICA VII, 1999.
- Татищев В.Н. 1962 – История российская. Т. I. М.; Л., 1962.
- Тихомиров М.Н. 1956 – Древнерусские города. 2-е изд. М., 1956.
- Третьяков П.Н. 1953 – Восточнославянские племена. 2-е изд., перераб. и расшир. М., 1953.
- Трубачев О.Н. 1959 – Лингвистическая география и этимологические исследования // ВЯ. 1959. № 1.
- Трубачев О.Н. 1971 – Етимологічні спостереження над стратиграфією ранньої східнослов'янської топонімії // Мовознавство. 1971. № 6.
- Трубачев О.Н. 1974 – Наблюдения по этимологии лексических локализмов (славянские этимологии 48–52) // Этимология. 1971. М., 1974.
- Трубачев О.Н. 1987 – Регионализмы русской лексики на фоне учения о праславянском лексическом диалектизме // Русская региональная лексика XI–XVII вв. М., 1987.
- Трубачев О.Н. 1991 – Этногенез и культура древнейших славян. Лингвистические исследования. М., 1991.
- Трубачев О.Н. 1994 – Праславянское лексическое наследие и древнерусская лексика дописьменного периода // Этимология 1991–1993. М., 1994.
- Трубачев О.Н. 1997 – В поисках единства. Взгляд филолога на проблему истоков Руси. 2-е изд. доп. М., 1997.
- Трубачев О.Н. 1982–1997 – Отзыв официального оппонента о диссертации Н.И. Панина "Лексикосемантический и формантный анализ русских наименований текущих вод Окско-Донской равнины и прилегающих территорий", представленной на соискание ученой степени кандидата филологических наук. М., 1982, и дополнения 1997 (ркп.).
- Трубачев О.Н. 1998 – Славянская филология и сравнительность. От съезда к съезду // Славянское языкознание. XII Международный съезд славистов. Доклады российской делегации. М., 1998.
- Трубачев О.Н. 1999а – INDOARICA в Северном Причерноморье. Реконструкция реликтов языка. Этимологический словарь. М., 1999.
- Трубачев О.Н. 1999б – Славистика на XII Международном съезде славистов (краткий обзор) // ВЯ. 1999. № 3.
- Тупиков Н.М. 1903 – Словарь древнерусских личных собственных имён // Зап. Отделения русской и славянской археологии имп. Русского Археологического общества. Т. VI. СПб., 1903.
- Унбегаун Б.О. 1989 – Русские фамилии. М., 1989.
- Фасмер М. 1996 – Этимологический словарь русского языка в четырех томах / Перевод с нем. и доп. О.Н. Трубачева. 3-е изд., стереотип. СПб., 1996.
- Филин Ф.П. 1972 – Происхождение русского, украинского и белорусского языков. Историко-диалектологический очерк. Л., 1972.
- Черных П.Я. 1994 – Историко-этимологический словарь современного русского языка. Т. I–II. М., 1994.
- Чумакова Ю.П. 1992 – Расселение славян в Среднем (Рязанском) Поочье по лингвистическим и историческим данным. Уфа, 1992.
- Шахматов А.А. 1899 – К вопросу об образовании русских наречий и русских народностей // ЖМНП. 1899, апрель.
- Шахматов А.А. 1908 – Курс истории русского языка. Ч. I. 2-е изд. СПб., 1908.
- Шахматов А.А. 1910 – Курс истории русского языка. Ч. II. СПб., 1910.
- Шахматов А.А. 1915 – Очерк древнейшего периода истории русского языка // Энциклопедия славянской филологии. Пг., 1915 (Вып. 11.1.).

- Шахматов А.А.* 1916 – Введение в курс истории русского языка. Ч. I: Исторический процесс образования русских племен и наречий. Пг., 1916.
- Шахматов А.А.* 1919 – Древнейшие судьбы русского племени. Пг., 1919.
- Шустер-Шевц Х.* 1998 – К вопросу о так называемых праславянских архаизмах в древне-новгородском диалекте русского языка // ВЯ. 1998. № 6.
- ЭССЯ – Этимологический словарь славянских языков I – М., 1974 –.
- Етим. словарик 1985 – Етимологічний словник літописних географічних назв Південної Русі. Відпов. ред. О.С. Стрижак. Київ, 1985.
- Hydronimia Wisły* 1965 – *Hydronimia Wisły. Cz. I: Wykaz nazw w układzie hydrograficznym* / Pod red. P. Zwolińskiego. Wrocław etc. 1965.
- Lehr-Sławiniński T.* 1921–1957 – Stosunki pokrewieństwa języków russkich // Rocznik slawistyczny IX, I, 1921 // T. Lehr-Sławiniński. Studia i szkice wybrane z językoznawstwa słowiańskiego. Warszawa, 1957.
- Rymut K.* 1987 – Nazwy miast Polski. Wyd. 2. Wrocław etc., 1987.
- Shevelov G.J.* 1982 – Между праславянским и русским // RL. 1982. № 6.
- Trubac̄ev O.N.* 1977 – Sprachgeographie und etymologische Forschungen // Etymologie. Darmstadt, 1977.
- Vaillant A.* 1950 – Grammaire comparée des langues slaves. T. I. Phonétique. Paris, 1950.
- Vanagas A.* 1981 – Lietuvių hidronimų etymologinis žodynas. Vilnius, 1981.

© 2000 г. Б. КОМРИ

ЯЗЫК И ДОИСТОРИЯ: К МНОГОДИСЦИПЛИНАРНОМУ ПОДХОДУ

1. Введение.

Цель настоящей статьи – представить краткий очерк программы междисциплинарного подхода (включающего и лингвистику) к проблемам доистории человечества, среди которых особое внимание уделяется географическому расселению и разбросанности человеческих популяций.

Нельзя не отметить, что одной из основных причин моего решения наметить основные положения данной программы является моя деятельность в новом институте эволюционной антропологии Макса Планка, основанном в 1997 г. в Лейпциге. К основным направлениям работы института относится изучение природы и истории разнообразия человеческих рас. Это изучение должно проводиться с точки зрения различных наук – естественных, социальных и гуманитарных. Возглавляемая мною в институте лингвистическая группа установила сотрудничество с группой, занимающейся решением проблем генетики, в особенности такой проблемой, как биолого-генетические основания расселения человеческих популяций в доисторические периоды. Таким образом, данный очерк – это представление той работы, которую мы бы хотели провести, сотрудничая с другими институтами.

2. Лингвистические основания.

В то время как лингвисты, занимающиеся историческим языкознанием, в общем знакомы со вкладом лингвистики в решение вопросов доистории человечества, сущность лингвистического основания данной проблемы часто не совсем ясна тем, кто далек от лингвистики. Поскольку одной из моих задач в данной статье является набросок программы, разработка которой включала бы как лингвистов, так и нelingвистов, я считаю важным прояснить вклад лингвистики в решение вышеназванных вопросов.

2.1. Сравнительный метод.

Одним из крупнейших достижений языкознания XIX в. стала возможность доказать и показать, что два и более языка произошли от общего языка-предка, т.е. что в какой-то момент единый протоязык распался на некоторое количество языков-потомков. Эта возможность появилась благодаря обнаружению и анализу некоторого рода общностей между языками. Представленная методология выступает как полностью лингвистическая, что является наглядным примером вклада лингвистики в решение проблемы, связанной с доисторией человечества. Я не стану приводить в качестве иллюстраций знакомые примеры из индоевропейской языковой семьи, а возьму более интересный пример. Когда первые путешественники на Мадагаскар сравнили малагасийский, язык этого острова, с языками большинства островов, простирающихся от юго-западной Азии через Тихий океан, то они заметили поразительные сходства, которые не могли быть случайными и едва ли могли относиться к заимствованиям при расстоянии в 8000 км.

Некоторые примеры сходства между малагасийским и индонезийским даны ниже (Примечание: в малагасийском орфографическое "о" произносится как [i:]).

aho aki 'я'

folo puluh 'десять'

volana bulan 'луна'

vato batu 'камень'

lahu laki 'человек'

taona tahun 'год'

Эти сходства были замечены по крайней мере уже в XVI в., и последующие более детальные исследования [Dahl 1951] ясно показали, что малагасийский особенно близко соотносится с языками барито Южного Борнео (Калимантан). При расстоянии между Мадагаскаром и Южным Борнео, или даже между Мадагаскаром и самой западной оконечностью австронезийско-язычной территории на северо-западе Суматры – результат поразительный. До сих пор эти лингвистические данные являются наиболее достоверными. Это как раз тот случай, когда лингвистические данные и только они были достаточными, чтобы установить связь между двумя географически удаленными друг от друга народностями. С тех пор указанные лингвистические данные были подтверждены этнографическими и биологическими сведениями, к некоторым из которых мы вернемся в разделах 3 и 5.

2.2. Топонимика.

Коротко хотелось бы упомянуть две другие области, где лингвистика традиционно способна сделать вклад в предысторию. Одна из них – топонимия, рассматриваемая в этой части, другая – лингвистическая палеонтология, рассматриваемая в разделе 2.3.

Известно, что когда одни народности захватывают территории, прежде заселенные другими народностями, то названия местностей (топонимы), используемые первоначальными поселенцами, чаще всего сохраняются и новыми поселенцами. Поразительным примером этого на протяжении истории является тот факт, что многие топонимы в Северной Америке имеют индейское происхождение, включая названия таких больших городов, как Чикаго и Оттава, оба алgonкинского происхождения. Топонимические свидетельства о раннем славяноязычном населении на территории современной восточной Германии детально документированы школами Лейпцигского университета и Саксонской Академии наук в Лейпциге. Поиск более ранних слоев топонимических данных для доказательства более раннего распределения населения во многом позволяет объяснить менее очевидные факты. В Японии, например, хорошо известно, что на самом северном острове Хоккайдо одна из ранних народностей (айну), до сих пор проживающая на острове, сохранила многие названия местностей, включая самый большой город острова Саппоро. Существует неоспоримый факт существования пласта топонимов айну, простирающегося по всей северной Японии до современного Токио.

2.3. Лингвистическая палеонтология.

Лингвистическая палеонтология является другим традиционным лингвистическим методом реконструкции доистории: речь идет о восстановлении запаса слов протоязыка, которое используется как свидетельство реконструкции особенностей культуры, ассоциирующейся с протоязыком. Например, если слово со значением "лошадь" может быть точно воспроизведено в протоязыке, то можно достоверно заключить, что общество, в котором говорили на протоязыке, было знакомо с лошадью. Классическим примером индоевропейского языкоизнания является то, что слова индоевропейского протоязыка могут быть реконструированы для родства мужа, но не для родства жены, что предполагает местную систему родства: жена, живя среди родственников мужа, нуждалась в словах для их обозначения, в то время как муж, не живущий среди родственников своей жены, не нуждался в словах для их обозначения. Если это может быть подтверждено свидетельствами других наук, таких как археология, этнография (см. раздел 4), то это может быть огромным вкладом лингвистики в реконструкцию доистории.

3. Лингвистика и генетика.

Одним из важных событий в изучении доисторического рассеивания населения в последние годы была попытка применения некоторых методов генетики. Публикации в этой области [Cavalli-Sforza, Luca Menozzi, Piazza 1994] включают подробное

перечисление географического распространения генетических маркеров и обсуждение их возможного соответствия с распространением языковых семей. Конечно, нельзя выявить полное соответствие между лингвистической и биолого-генетической классификациями. Гены передаются по наследству биологически, и никто не может изменить чьи-либо гены. В противоположность им передача языка – это процесс культуры: ребенок растет, говоря на языке окружающего общества, независимо от того, являются ли члены этого общества биологическими родственниками.

Известны случаи, где лингвистические и генетические классификации не совпадают. Один из самых ярких примеров – пример африканских пигмеев, которые в соответствии с их биологической генетикой отличаются от своих соседей непигмеев, но тем не менее говорят на языках настоящих и бывших соседей непигмеев, таких, как языки банту, языки Нигера и Конго, Нила и Сахары. Было бы, однако, безответственным предположить близкое соответствие между лингвистической и генетической классификацией. Действительно, одной из реальных перспектив объединения лингвистики и генетики, как было проиллюстрировано на примере с африканскими пигмеями, является возможность установления случаев, когда тот или иной народ вместо своего родного языка начинает говорить на другом. Удивительно, что самые, возможно, точные приложения взаимодействия между лингвистикой и генетикой – это несоответствия между лингвистической и генетической классификациями.

4. Лингвистика и другие дисциплины.

Конечно, имеется ряд других дисциплин, с которыми традиционно была связана лингвистика в поисках различных сторон предыстории человечества, очевидными свидетельствами чего являются археология и этнография. Этнография может снабдить нас свидетельствами культурного распространения, которые затем можно сравнить с образцами лингвистического распространения. Археология снабжает нас конкретным свидетельством, касающимся наличия в предыстории различных артефактов и технологий. Большой вклад в исследования могут внести и другие дисциплины, в частности биологическая генетика, использование положений которой открывает новые возможности. В последнее время, например, большое развитие получило взаимодействие между лингвистикой и археологией. Продолжая ранние работы Л. Кампбела и Т. Кауфмана, С. Вичман [Wichmann 1955] тщательно сравнивает результат своих лингвистических исследований по реконструкцииproto-максе-зокского с предположениями Л. Кампбела и Т. Кауфмана (1976 г.). Последние считали, что реконструкция вскрывает удивительное совпадение с результатами археологических исследований культуры Олемика. В то время как С. Вичман считает, что определенные пункты в списке Л. Кампбела и Т. Кауфмана могут быть корректными (поскольку их нельзя приписать proto-максе-зокскому, но лишь proto-зокскому), он в то же время считает, что к списку Л. Кампбела и Т. Кауфмана можно добавить некоторые новые пункты, ведущие к следующему выводу: имеется достаточно свидетельств, чтобы отождествить олмеков с говорившими на proto-максе-зокском.

5. Проблемы и перспективы.

Я не считаю правильным утверждать, что интеграция разнообразных дисциплин в вышеописанном проекте возможна без каких-либо осложнений. Хотя изначально некоторые лингвисты были уверены, что последние данные генетики позволят с легкостью решать проблемы, над которыми ломали головы целые поколения языковедов, в настоящее время такой подход уступил место более осторожной оценке. Я полагаю, что то же самое справедливо и в обратном смысле: специалисты по генетике в равной степени уверены в необходимости тщательного осмысливания лингвистических данных, что особенно касается тех языковых групп, относительно которых правильность решения проблемы соотнесенности подвергается критике большинством исследователей в области языкознания.

Следующий простой пример позволяет продемонстрировать возникающие проблемы. В разделе 2.1 отмечена однозначность лингвистических свидетельств, указывающих на то, что малагасийцы по географическому происхождению являются выходцами из Южного Борнео, в частности, у них имеется очень близкое языковое

родство с носителями языков барито. Малагасийское население подвергалось биологическим и генетическим обследованиям, в результате которых, как и ожидалось, было установлено значительное включение африканского генетического материала в их генофонд, что является следствием многовековых контактов. В то же время, однако, у малагасийцев сохранились явные генетические следы, восходящие к материалу, обнаруженному среди носителей языков Австронезии, на островах, считающихся родиной практически всех австронезийских языков. Но самое удивительное кроется в характере этих следов: они предполагают наличие близкого генетического родства между малагасийцами и полинезийцами в большей степени, чем между малагасийцами и жителями Южного Борнео. Здесь, таким образом, наблюдается частичное согласование данных языкоznания и данных генетики относительно общности происхождения народов, говорящих на австронезийских языках. Это согласование является, тем не менее, только частичным, поскольку данные языкоznания и данные генетики указывают на разные части австронезийского сообщества. До настоящего времени решение данного противоречия не найдено. Если такого рода противоречия возникают уже на относительно низших этажах генеалогического языкового древа, то сложность проблемы еще более увеличится при рассмотрении языков, представляющих более отдаленное родство, тем более в случаях сомнительности последнего.

Имеется и другая проблема, видимо, особенно характерная для некоторых Сибирских народов. Демографическая ситуация во многом определяет конкретные проблемы, которые необходимо решать генетикам при работе с малочисленным народом, долгое время проживавшим в относительной изоляции. В небольшой изолированной популяции может происходить довольно быстро распространение доминантных признаков, что делает чрезвычайно затруднительным сопоставление такой популяции с какой-либо другой и восстановление их общей демографической истории. Новые доминантные признаки в каждой группе просто вытесняют те признаки, которые ранее могли бы быть общими для обеих групп. В то время как лингвисты не встречают особых сложностей при языковом соотнесении различных уральских, а в более узком смысле, финно-угорских народов Сибири, генетики испытывают значительные трудности в попытках распутать биологическую историю этих групп.

Но эти проблемы не подразумевают, что мы не можем сделать значительные успехи, применяя различные методы из перечисленных выше областей науки, прежде всего лингвистики и генетики, в исследовании проблем демографической истории народов Сибири. Нам необходимо продвигаться осторожно, аккуратно проводя различия между достаточно хорошо установленными параметрами и непроверенными предположениями, которые могут хорошо послужить в качестве рабочих гипотез, но могут стать опасными, если относиться к ним как к общепринятым научным истинам. Даже если преимущество только этого взаимодействия дисциплин давало бы нам возможность выделить случаи изменения в языке (перемещения, чередования), это был бы явный упрек относительно более ранних методологий, на которые необходимо опираться при субъективных оценках фактов. Возможная перспектива развития нашего знания предыстории народов Сибири означает, что этот междисциплинарный подход может оказаться весьма плодотворным*.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

- Cavalli-Sforza L., Luca P.M., Piazza A. 1994 – The history and geography of human genes. Princeton, 1994.
Dahl O.Chr. 1951 – Malgache et Maanjan. Une comparaison linguistique. Oslo, 1951.
Wichmann S. 1995 – The relationship among the Mixe-Zoquean languages of Mexico. Salt Lake City, 1995.

* Выражаю благодарность Манфреду Кайзеру, Сванту Паабо и Марку Стоункин за обсуждение по биологической генетике уральско- и австронезийскоговорящих народов, и Куоко Мурасаки за сведения об айну и японских названиях местностей. Они не несут ответственности за использование мною этого материала.

© 2000 г. А.Е. КИБРИК

К ПРОБЛЕМЕ ЯДЕРНЫХ АКТАНТОВ И ИХ "НЕКАНОНИЧЕСКОГО КОДИРОВАНИЯ": СВИДЕТЕЛЬСТВА АРЧИНСКОГО ЯЗЫКА¹

1. ВВЕДЕНИЕ

1.1. Типология неканонического кодирования

1.1.1. Центральные и ядерные аргументы

В зависимости от числа обязательных (выводимых из семантики предикатной лексемы) аргументов предикаты могут быть одноместными (типа русск. *бежать*, *веселиться*, *умирать*), двухместными (типа русск. *кидать*, *махать*, *видеть*, *смотреть*), трехместными (типа русск. *давать*, *показывать*). Такие аргументы будем называть **актантами** (= **центральными аргументами**), в отличие от **сирконстант** (= **нецентральных аргументов**)² – необязательных (не выводимых из семантики предикатной лексемы) аргументов (типа русск.: *он бежит по дороге*, *он умер от рака*, *он кидает камни из засады*). Противопоставление актантов / сирконстант (= центральных / нецентральных аргументов) имеет семантическую природу, так что семантически тождественные предикаты разных языков имеют одинаковый состав центральных аргументов.

Кроме различия между актантами и сирконстантами, известно традиционное синтаксическое противопоставление **непереходных** и **переходных** глаголов³, в терминах

¹ Работа выполнена при финансовой поддержке Российского фонда гуманитарных исследований (РФНФ), грант 98-04-06198.

В статье используются следующие обозначения: AG 'агенс', ATTR 'аррибутивизатор', COMIT 'комитатив', COMPAR 'компаратив', CONT 'контакт-локализация', DAT 'датив', EL 'элатив', EMPH 'эмфатическая частица', ERG 'эрратив', ESS 'эссив', EVID 'эвиденциальность', EX 'экспериенцер', GEN 'генитив', GER 'герундий', ITER 'итератив', IN 'в-локализация', INF 'инфinitив', INTER 'среди-локализация', INTERR 'интерропатив', IPF 'имперфектив', LAT 'латив', LOG 'логофорическое местонимение', M ASD 'масдар', NEG 'отрицание', NOM 'номинатив', OBL 'косвенная основа', PA ' пациенс', PAST 'прошедшее время', PF 'перфектив', PL 'множественное число', POT 'потенциалис', PRES 'настоящее время', SENT 'сентенциальный актант', ST 'стимул', SUB 'под-локализация', SUPER 'на-локализация', TRANS 'транслатив'.

В транскрипции арчинских примеров используются следующие соглашения. Прописные буквы обозначают фонемы: X – глухой увулярный фрикативный, R – звонкий увулярный фрикативный, H – глухой эмфатический ларингал, L – абруптивный латерал, знак І – фрикативный латерал. Диакритические знаки: \bar{X} – долгий гласный или сильный согласный X, X' – абруптивность согласного X, X_o – лабиализованность согласного X, X| – фарингализованность согласного или гласного X.

² В русской лингвистической традиции обычно используются термины **актант** и **сирконстант**, однако иногда удобнее аналитические термины **центральный/нецентральный аргумент**.

³ При всей фундаментальности этого противопоставления вопрос о его универсальности остается открытым, то есть не исключается существование языков с единственным ядерным

которого описываются базисные синтаксические конструкции конкретных языков. Понятие переходности определяется на множестве актантов, в котором выделяется ядерная часть, состоящая из одного (при непереходных глаголах) или двух (при переходных глаголах) **ядерных** аргументов (= актантов). Таким образом, ядерные аргументы являются в общем случае подмножеством актантов предиката. Они противопоставлены **неядерным** актантам и сирконстантам, которые обобщенно будем называть **периферийными** аргументами⁴.

Переходные глаголы имеют два ядерных актанта – (типа русск. *он кидает камни, видит луну, черпает воду [кружкой]*⁵, *отдает [мне] книгу, показывает [мне] язык, его тошнит*⁶ *[от этого]*), а непереходные глаголы – один ядерный актант⁷ (типа русск. *он бежит, веселится, умер, машет [рукой/платком], смотрит [на меня]*) или ни одного ядерного актанта (типа русск.⁸ *[ему] больно; [ему] стыдно [за тебя]; [у него] запой*).

Таким образом, в отличие от состава актантов предиката, состав его ядерных актантов не может быть определен на чисто семантических основаниях, это морфосинтаксическая характеристика конкретных предикатов конкретных языков. Семантически тождественные предикаты разных языков могут иметь разный состав ядерных актантов. Так, семантически эквивалентные двухместные предикаты англ. *wag* и русск. *вилять/махать* отличаются составом ядерных актантов (переходный английский глагол имеет два ядерных актanta, а непереходный русский – один ядерный актант). Если это так, то встает вопрос о том, каковы в каждом конкретном языке схемы соответствия между актантами и ядерными актантами, то есть, в первом приближении, схемы выбора между переходной/непереходной конструкцией.

1.1.2. Шкала переходности и неканоническое кодирование

К аксиомам современной типологии относится тезис, что во всяком языке пр ототипическую основу переходных глаголов, то есть глаголов с двумя ядерными актантами, составляют глаголы с агентивно-пациентной актантной рамкой. Это, видимо, объясняется тем, что переходные Агенс и Пациенс в концептуальном плане максимально автономны друг от друга и максимально друг другу противопоставлены, ср. определения этих семантических ролей у Гивона: "Agent: The prototypical transitive clause involves a volitional, controlling, actively-initiating agent who is responsible for the event" ("Агенс: Прототипическое переходное предложение включает в себя наделенный волей, контролирующий событие и активно его инициирующий агенс, который несет ответственность за данное событие"); "Patient: The prototypical transitive clause involves a non-volitional, inactive non-controlling patient who registers the

актантом или вовсе без уровня ядерных актантов. Однако это не существенно для дальнейшего изложения.

⁴ В западных работах широко распространено противопоставление *core – peripheral* без отчетливого соотнесения этих понятий с семантической обязательностью или с (не)переходностью. Однако узус этих терминов скорее таков, что их целесообразнее связать именно с (не)переходностью, что и делается в данной статье.

⁵ Периферийные актанты стоят в квадратных скобках.

⁶ В предложениях с такого рода глаголами следует усматривать нулевое подлежащее со значением 'стихийной силы', вызывающей соответствующее физическое состояние.

⁷ А.Ю. Айхенвальд и Р. Диксон [Dixon, Aikhenvald 2000: 2–3] выделяют также случай расширением ядра (extension of core), допуская наличие трех ядерных актантов для переходного глагола (типа *давать: кто, кому*) и двух ядерных актантов для непереходного глагола (типа *смотреть: кто, на кого*), однако вопрос о разграничении периферийных и (расширенных) ядерных актантов остается при этом открытым.

⁸ Точнее было бы говорить об отсутствии канонических ядерных актантов, поскольку все приведенные предикаты имеют неканонический ядерный актант – подлежащее, исходя из синтаксических свойств дативной и посессивной именных групп, см. об этом ниже.

event's change-of-state" ("Пациенс: Прототипическое переходное предложение включает в себя не имеющий воли, неактивный и не контролирующий событие пациентс, который отражает изменения, возникающие в ходе данного события") [Givón 1994: 7]. Свойства Пациенса в значительной степени являются противоположностью свойств Агенса, то есть Агенс и Пациенс находятся в полярных семантических отношениях друг с другом и поэтому в равной степени могут претендовать на роль ядерного актанта.

До сих пор мы говорили о (не)переходности в традиционной, чисто синтаксической перспективе, исходя из дискретного характера этого противопоставления. Однако существует и более широкий взгляд на эти понятия. Согласно концепции семантического обоснования переходности (см. [Norreg-Thompson 1980]), противопоставление переходных/непереходных глаголов представляет собой не бинарную оппозицию, а шкалу, на одном конце которой находятся двухъядерные Агентивно-Пациентные (прототипически переходные), а на другом – одноядерные Пациентные (прототипически непереходные) глаголы. Глаголы со всеми прочими актантными рамками занимают промежуточное положение на этой шкале.



Схема 1. Шкала переходности

Если крайние точки этой шкалы более или менее определены, то в вопросе о ее промежуточных точках по-прежнему много неясного. Каковы синтаксические свойства более и менее переходных или непереходных глаголов и какова поверхностная кодировка их актантов? Если исходить из гипотезы о влиянии ролевых характеристик актантов предиката на актантное кодирование, то косвенным свидетельством того, как располагаются на этой шкале предикаты с различными актантными рамками (т.е. с различным набором семантических валентностей), могут служить данные различных языков о типах соответствующих синтаксических конструкций и о их типовых корреляциях с прототипически переходной и непереходной конструкциями.

Некоторым шагом в данном направлении является предпринятая недавно попытка рассмотреть существующие в языках способы и пределы унификации кодирования ядерных актантов (я имею в виду готовящийся к печати сборник [Dixon et al. *in press*] под редакцией Р. Диксона, А. Айхенвальд и М. Ониши). За основу со-поставления было принято так называемое **каноническое кодирование** ядерных актантов. Понятие канонического кодирования в принципе может моделироваться по-разному. Однако в качестве наиболее естественной альтернативы можно также принять определение через прототип. За исходную точку (прототип) в сопоставлении способов кодирования ядерных актантов принимаются глаголы, имеющие в своей актантной рамке Агенс и/или Пациенс – они и определили реализуют каноническую схему⁹. При этом в качестве метаязыка представления канонической схемы используются термины S/A/P, где S – ядерный актант (и синтаксическая позиция ядерного актанта) непереходного предложения, а A и P – ядерные актанты (и синтаксические позиции ядерных актантов) переходного предложения¹⁰. Предикаты со

⁹ Это возможно, когда их кодирование всегда одинаково. При наличии в языке альтернативных способов кодирования (например, в русском языке в активной и пассивной конструкции их кодирование различно), необходимо установление наименее маркированного варианта, который считается каноническим.

¹⁰ При агентивных переходных глаголах нормальным является совпадение А- и Р-актантов (Агensa и Пациенса) соответственно с А- и Р-позициями, т.е. каноническое кодирование.

всевозможными актантными рамками, унифицирующие свои актанты стандартным образом в соответствии с прототипическим для данного языка S/A/P-кодированием ядерных актантов, считаются соответствующими **канонической схеме кодирования**. Тенденция к такой унификации признается редакторами данного сборника нормальной языковой стратегией, не требующей обоснования, а **и е каноническое кодирование** ядерных актантов трактуется как некоторое отклонение от этого канонического кодирования¹¹.

Проиллюстрирую противопоставление канонического и неканонического кодирования ядерных актантов и возникающие при этом проблемы данными русского языка.

В русском языке одноместные предикаты с актантом, имеющим роль Агента (типа *бежать*) или Пациента (типа *спать*), помещают этот актант в ядерную S-позицию, оформляемую немаркированным именительным падежом и контролирующую глагольное согласование, например: *Он долго бежал по полю; Он спал до полудня*.

Переходные предикаты с актантными ролями Агента и Пациента (типа *убивать*) имеют два ядерных актанта в A- и P-позициях, оформленных соответственно именительным и винительным падежами, причем A-актант контролирует глагольное согласование, например: *Он убил тетерева*. Русский язык реализует аккузативную стратегию, объединяющую S- и A-позиции в единое синтаксическое отношение (подлежащее), противопоставляя его P-позиции – прямому дополнению. Такое кодирование является каноническим для русского языка морфологическим S/A/P-кодированием.

Прочие аргументы¹² глаголов, имеющих в актантной рамке Агента и/или Пациента, являются периферийными и находятся в других позициях. Таковы, например, непереходные глаголы типа *смотреть* (имеет аргументы с ролями Агента и Цели), *упасть* (имеет аргументы с ролями Пациента и Цели): *Он посмотрел на обидчика, Он оступил и упал в пропасть*; переходные глаголы типа *выманивать* (имеет аргументы с ролями Агента, Пациента, Средства и Источника): *Они хитростью выманили у Буратино монеты*.

Что касается экспериенциальных предикатов, то они синтаксически ведут себя по-разному. Некоторые предикаты морфологически уподобляются непереходному глаголу, например, предикаты типа *уставать*, ср. *Он устал от загранпоездок*, помещающие Экспериенцер в каноническую S-позицию. Стимул при этом оформлен предложной группой, реализующей в русском языке периферийную позицию. Другие пре-

¹¹ Следует подчеркнуть, что понятие канонического кодирования не предполагает никакой универсальной для всех языков схемы кодирования. Каноническое кодирование является конкретно-языковой категорией и в значительной степени варьирует от языка к языку. Это варьирование, в частности, связано с избранной в данном языке стратегией кодирования ядерных S/A/P-актантов. Так, а *к к у з а т и в н а я* стратегия кодирования имеет немаркированный способ кодирования S-актанта, тождественный кодированию A-актанта переходного глагола, противопоставляя эти актанты P-актанту, имеющему маркированное кодирование (аккузатив или его аналог). Э *р г а т и в н а я* стратегия объединяет немаркированным кодированием S- и P-актанты, противопоставляя их маркированному кодированию A-актанта (эргатив или его аналог). А *к т и в н а я* стратегия, наоборот, "уподобляет" актант непереходного глагола Агенту или Пациенту переходного, т.е. не имеет единого кодирования S-актанта. Т *р е х ч л е н н а я* стратегия противопоставляет немаркированный S-актант непереходного глагола (номинатив или его аналог) A- и P-актантам переходного, имеющим различные способы кодирования (эргатив и аккузатив или их аналоги). Любая из этих стратегий может быть в конкретном языке канонической. Кроме того, в языке в различных ситуациях (например, в зависимости от видо-временной формы глагола, от позиции предикатии в структуре предложения) могут использоваться различные стратегии кодирования прототипических ядерных актантов, и в этом случае вопрос о каноническом кодировании должен решаться в соответствии с логикой данного языка.

¹² В данном контексте различие актантов и сирконстантов, часто требующее серьезного семантического анализа, здесь не существенно.

дикаты в отношении морфологического кодирования уподобляются переходному глаголу, например, предикаты типа *видеть*, ср. *Он видел затмение солнца*: Экспериенцер уподобляется Агенту и занимает каноническую А-позицию, а Стимул – Пациенту и занимает каноническую Р-позицию¹³.

Наряду с этим в русском языке есть предикаты типа *весело, жаль* (*Ему всегда весело; Ему жаль тебя*). При предикатах *весело, жаль* нет именной группы в именительном падеже, но имеется ИГ в дательном падеже, оформляющем обычно периферийную синтаксическую позицию. Встает вопрос: являются ли эти предикаты бесподлежащими (в соответствии с синтаксической традицией), т.е. не имеющими S-позиций, или они имеют при себе неканоническое подлежащее, т.е. предикат *весело* имеет одну ядерную S-позицию (оформленную дательным падежом) и реализует неканоническое кодирование непереходного глагола, а *жаль* – две ядерных позиции (неканоническую А-позицию, оформленную дательным падежом, и каноническую Р-позицию, оформленную винительным падежом) и реализует неканоническое кодирование переходного? Для того, чтобы ответить на этот вопрос, данных о морфологическом оформлении актантов этих предикатов недостаточно. Надо убедиться, что ИГ в дательном падеже синтаксически ведет себя при данных предикатах аналогично ИГ в именительном падеже при предикатах типа *бежать, убивать*.

Синтаксическое тождество дативной и номинативной именных групп в ряде контекстов действительно устанавливается. Например, в русском языке рефлексивизация в предложениях с прототипическими непереходными и переходными глаголами однозначно контролируется именной группой в именительном падеже (канонически кодируемым подлежащим): *Он бежал к себе домой; Он убил с оего врага*. Но такой же контроль обеспечивают ИГ в дательном падеже: *Ему весело со своим и друзьями; Ему жаль себя*. Таким образом, дативная именная группа при данных предикатах с точки зрения правила рефлексивизации ведет себя как подлежащее, и имеются основания говорить о наличии в русском языке неканонически кодируемого подлежащего, оформленного дательным падежом. Подлежащее в дательном падеже может быть управляемым в исходной диатезе и соответствовать семантической роли Экспериенцера (как это имеет место при предикатах типа *весело, жаль*), а также быть синтаксически производным (независимо от своей роли) в контексте инфинитива¹⁴, ср.: *Он постоянно рассказывает о себе – Ему было только рассказывать о себе*.

Разумеется, необходимо проверить эти дативные ИГ на все известные синтаксические свойства канонического подлежащего в именительном падеже, чтобы constатировать для русского языка такое неканоническое кодирование подлежащего. Но и обладание таким важным синтаксическим свойством как контроль рефлексивизации является серьезным основанием для утверждений о "синтаксической подлежащеподобности" такого рода дативных ИГ, несмотря на неканоническую падежную кодировку такого подлежащего.

Таким образом, для введения понятия неканонического кодирования в рассматриваемом языке нужны убедительные свидетельства синтаксического подобия нестандартно кодированных актантов актантам прототипически переходных или непереходных глаголов.

Р. Диксон и его коллеги исходили из применимости понятий канонического/неканонического кодирования ко всем языкам и предприняли в этой перспективе обследование типологически далеких друг от друга языков. Мне также было предложено, отталкиваясь от данной схемы, описать неканоническое кодирование в одном из дагестанских языков. Однако в результате проведенного исследования выяснилось, что

¹³ В действительности вопрос о переходности таких глаголов несколько сложнее. Так, экспериенциальные глаголы не допускают пассивизации (**Затмение солнца видится им*), в отличие от прототипических переходных глаголов.

¹⁴ Исходное подлежащее предложения с финитной формой глагола переходит в форму дательного падежа при форме инфинитива.

дагестанский материал оказывает этой схеме серьезное сопротивление¹⁵. Оказалось, что, несмотря на кажущуюся естественность вводящихся терминов, признать наличие неканонического кодирования в рассматриваемых мною случаях затруднительно и, более того, невозможно. Сути возникшей проблемы и посвящена данная статья.

1.1.3. Актантное кодирование агентивно-пациентных глаголов

Прежде чем перейти к конкретному языковому материалу, взглянем на проблему в общем виде. Какова сфера действия неканонического кодирования, т.е. какого типа предикаты "расположены" к неканоническому кодированию? Начать рассмотрение вопроса о неканоническом кодировании актантов следует прежде всего в отношении тех глаголов, которые сами и задают каноническую схему, то есть с прототипически переходных агентивно-пациентных глаголов. Действительно, во многих языках даже эта группа допускает системные или идиосинкритичные отклонения от канонического кодирования. Однако какова таксономия и мотивация этих отклонений?

Логическое исчисление способов кодирования прототипически ядерных актантов а г е н т и в н о - п а ц i е н т н ы х глаголов представлено в Таблице 1. Оно основывается на теоретической возможности кодировать как Агенс, так и Пациенс тройким образом: средствами канонического A- или P-кодирования¹⁶ или средствами периферийного (periPheral) РН-кодирования. Способы кодирования рассматриваются с точки зрения того, для оформления какого актанта используются средства канонического A/P-кодирования. Наряду с канонической ситуацией (когда средства канонического A/P-кодирования используются для кодирования соответственно Агенса и Пациенса), возможны следующие случаи:

- А или Р-кодирование в данной схеме не используется (**нулевое использование**);
- А или Р-кодирование используется для кодирования актанта с противоположным (соответственно пациентным или агентивным) значением (**инвертированное использование**);
- А или Р-кодирование используется одновременно для кодирования как прототипического, так и непрототипического ядерного актанта¹⁷ (**расширенное использование**).

Прокомментируем Таблицу 1 (примеры см. в Таблице).

1-й тип считается каноническим и реализуется обычно в исходных диатезах агентивных глаголов. Этот тип повсеместно наименее маркирован, что подтверждает правомерность использования его как точки отсчета для прочих типов, интерпретируемых как отклонения от данного канонического типа (комментарий примеров из языка кри, финского и алюторского языков см. ниже).

2-й тип встречается в некоторых языках при некоторых конкретных типах предикатов¹⁸. То, что при этом имеет место именно неканоническое кодирование Па-

¹⁵ Кстати, в основном при тех же семантических классах глаголов, которые часто демонстрируют неканоническое кодирование в языках европейского стандарта.

¹⁶ В принципе возможна ситуация, при которой немаркированным является формальное неразличение Агенса и Пациенса. Так, в ряде индийских языков, например в гуджарати (см. [Савельева 1965: 62–63]), немаркированной является ситуация, когда Пациенс неспецифицирован и является неодушевленным или животным. В этом случае как Агенс, так и Пациенс оформлены номинативом (так называемое неоформленное дополнение). При конкретно-референтном или личном Пациенсе он кодируется аккузативом. Каноническое кодирование актантов переходного глагола в этом языке морфосинтаксически не различает ядерные S/A/P-актанты, противопоставляя их периферийным.

¹⁷ То есть, этот тип является объединением канонического и инвертированного кодирования.

¹⁸ В частности, обозначающих физические действия Агенса, направленные на пространственную манипуляцию объектом-Пациенсом, обычно являющимся частью тела Агенса или принадлежащим Агенсу.

Таблица 1

**Кодирование актантов агентивно-пациентных ((Агенс, Пациенс)) глаголов
с точки зрения использования А- и Р-кодирования**

	исполь- зование А-коди- рования	исполь- зование Р-коди- рования	А-коди- рование	Р-коди- рование	РН-ко- дирова- ние	Примеры
1.	канони- ческое	канони- ческое	AG	PA		Русск. <i>Левша под- ковал блоху</i> ; Англ. <i>The dog wags the tail</i> 'Собака виляет хвостом'; Финск. <i>Hän [ном] otti kirja-n [ген]</i> 'Он взял книгу'; Алют. <i>ənppə [эрə] tətγəlav-ni-n [перех] era-ta [ном]</i> 'Он со- грел суп'; Кри <i>wārām-ēw [прям]</i> <i>nārēw [прокс] sisip-a [обв]</i> 'Видит человек утку'
2.	канони- ческое	нулевое	AG	-	PA	Русск. <i>Собака виля- ет хвостом, Граж- дане запасаются крупами</i>
3.	нулевое	канони- ческое	-	PA	AG	Понижающий пассив в аккуз. языках: Русск. <i>диал. Женщи- на схвачено медве- дицей</i>
4.	инверти- рованное	нулевое	PA	-	AG	Повышающий пассив в аккуз. языках: Русск. <i>Женщина схватчена медведицей</i>
5.	нулевое	инверти- рованное	-	AG	PA	Антапассив в эрг. языках: Алют. <i>ənppi [ном] ita-nətγəlav-i [антапасс] era-ta [инстр]</i> 'Он согрел суп'
6.	нулевое	нулевое	-	-	AG, PA	Номинализация Русск. <i>Исполнение романса певицей</i>
7.	инверти- рованное	инверти- рованное	PA	AG		Инверсия Кри <i>wārām- ik[инверс]</i> <i>nārēw-a [обв] sisip [прокс]</i> 'Видит человек утку'
8.	расши- ренное	нулевое	AG, PA	-		Финск. <i>Hän [ном] otti kirjat [ном]</i> 'Он взял книги'
9.	нулевое	расши- ренное	-	AG, PA		?

циенса, видно при межъязыковом сопоставлении. Так, кодирование творительным падежом второго актанта русских предикатов *вилять*, *махать*, *маневрировать*, *шевелить*, *крутить* (последние два глагола допускают и переходное употребление: *шевелит плечами*, но *шевелит угли*, *крутит головой*, но *крутит ручку*) соответствует каноническому Р-кодированию в таких типологически далеких языках, как английский или арчинский¹⁹, что косвенно свидетельствует об исходной пациентной роли этого актанта. Этот же тип может быть результатом диатезного преобразования, понижающего статус Пациенса, при сохранении синтаксической позиции Агенса (этот процесс, по аналогии с понижающим пассивом, можно считать понижающим антипассивом).

Типы 3–6 встречаются, видимо, только в производных конструкциях. Тип 3 характерен для языков с понижающей пассивизацией, при которой исходный А-актант понижается до периферийной позиции РН (иногда получая нулевое выражение), а Р-актант не повышается до позиции А, оставаясь в исходной Р-позиции. Такая пассивизация имеется, например, в польском языке и в северных русских диалектах.

Тип 4 реализуется при повышающей пассивизации, при которой исходный Р-актант повышается до А-позиции, что вызывает понижение исходного А-актанта. Типичным представителем повышающей пассивизации является английский язык.

Тип 5 известен как результат (повышающей) антипассивизации в синтаксически эргативных языках, например, в альторском языке. В этом случае Р-позиция является синтаксически наиболее престижной (эквивалентом подлежащего аккузативных языков), и происходит повышение А-актанта до этой позиции, что автоматически вызывает понижение исходного Р-актанта до РН-позиции (иногда при его нулевом выражении). В аккузативных языках такой тип невозможен²⁰.

Тип 6 состоит в понижении обоих исходно ядерных актантов. В некоторых европейских языках такое кодирование наблюдается в контексте номинализации.

Тип 7 состоит в инвертированном кодировании обоих ядерных актантов. Такое диатезное преобразование называется инверсией. В языке кри различаются прямая и инверсная формы глагола. Именные группы имеют показатели проксиматива и обвиватива. Имеются основания предполагать, что маркер проксиматива соотносится с участником, находящимся в фокусе эмпатии (иногда его связывают с топикальностью). Для нелокуторных актантов²¹ нормальной (соответствующей исходной диатезе) является ситуация, когда "ближайшим" участником является Агенс, а "отда-

¹⁹ В эргативном арчинском языке в предложениях

- | | | | |
|------|-------------------------|------------------------|----------------------------------|
| (i) | dogi-li
осел-OBL+ERG | hoti
трава. IV+NOM | kunne.
IV+есть+PF |
| | Осел траву ел. | | |
| (ii) | dogi-li
осел-OBL+ERG | oj-om
ухо.IV-PL+NOM | XiriX.aw.
III/IVp+шевелить+PF |
| | Осел ушами пошевелил. | | |

в обоих случаях второй актант оформлен номинативом и контролирует глагольное согласование, то есть реализует позицию Р. Аналогично, в аккузативном английском языке в обоих случаях второй актант занимает позицию прямого дополнения, то есть Р.

²⁰ Не случайно, что пассивизация и антипассивизация не реализуются средствами типа 7 с двойной инверсией. Это объясняется тем, что А-инверсия при пассивизации и Р-инверсия при антипассивизации – следствие повышения синтаксического статуса противоположного ядерного актанта, а повышение и понижение – не симметричные процессы, они мотивированы различными факторами. Поэтому понижение никогда не оформляется способом инверсии (в реляционной грамматике это наблюдение формулируется как закон, согласно которому понижаемый актант переходит в особую позицию "шомера").

²¹ Актантов, не имеющих референции к участникам речевого акта (лексически выражаемым личными местоимениями).

ленным" – Пациенс. В этом случае реализуется 1-й (канонический) тип. Если же с точки зрения коммуникативной перспективы "ближайшим" участником является Пациенс, а Агент – "отдаленным", используется обратная кодировка, а глагол получает показатель инверсии, т.е. реализуется тип 7. Следует иметь в виду, что показатели проксиматива и обвиатива непосредственно роли участников не кодируют, они косвенно выражаются (прямой или инверсной) формой глагола, см. [Payne 1999: 248].

Типы 8 и 9 предполагают расширение позиций А или Р, выражающееся в добавлении Пациенса в позицию А (тип 8) или Агента в позицию Р (тип 9) с одновременным блокированием Р- или А-позиции. Тип 8 можно проиллюстрировать данными финского языка, в котором в немаркированных контекстах Агент кодируется номинативом, а Пациенс генитивом (см. тип 1). В некоторых маркированных позициях (например, при Пациенсе во мн. числе, в императивных высказываниях (см. [Елисеев 1993]) Пациенс, как и Агент, кодируется номинативом, т.е. реализуется тип 8. В типе 9 ситуация аналогична, но снейтрализацией Агента и Пациенса в сторону Пациенса. Соответствующего примера я в настоящее время не имею.

Итак, в естественных языках наблюдаются довольно строгие ограничения на способы неканонического морфологического кодирования актантов агентивно-пациентных глаголов. Оно в целом нехарактерно для исходных диатез и возникает, как правило, в производных диатезах под воздействием дискурсивных, семантических или структурных факторов.

Кроме того, рассмотренные типы кодирования далеко не равнозначны по своей употребительности и по их сочетаемости с различными типами предикатов и актантов. Это объясняется, прежде всего, несомненной корреляцией между семантическими ролями актантов глаголов и способами их кодирования. Хотя в языках с синтаксическими отношениями А- и Р-позиции не соотносятся однозначно с семантическими ролями предикатов и имеется много неагентивных предикатов, при которых актанты с различными ролями кодируются как А и Р (т.е. реализуется каноническое кодирование), тем не менее фундаментальная связь между синтаксическими позициями и ролями актантов существует.

Существенно также подчеркнуть, что типы 2–9 в Таблице 1 соотносились с неканоническим кодированием Агента и/или Пациенса как таковых, а не неканонического кодирования А/Р-позиций как синтаксических сущностей. В большинстве случаев (за исключением нулевого и расширенного использования кодирующих средств, типы 6, 8–9) неканоническое кодирование указывало на то, что Агент и/или Пациенс имеют неканоническую синтаксическую функцию и кодируются в соответствии с ней, т.е. обычно при этих предикатах *к о д и р о в а н и е А / Р-п о з и ц и и* продолжает оставаться каноническим.

1.1.4. Актантное кодирование экспериментальных глаголов

Тезис о зависимости актантного кодирования от ролевой семантики актантов подтверждается тем, что засвидетельствованное в языках кодирование актантов двухместных экспериментальных глаголов (типа *видеть*, *слышать*, *любить*) – Экспериментера и Стимула – резко отличается от репертуара кодирования агентивных переходных глаголов²². В Таблице 2 приводится логическое исчисление типов кодирования актантов экспериментальных глаголов. Существенно, что во многих языках, стандартно использующих для экспериментальных глаголов каноническое падежное кодирова-

²² Ср. сходное наблюдение в [Croft 1991: 213]. Между прочим, Крофт специально рассматривает субъектное и объектное кодирование Экспериментера (английские глаголы типа *like vs. please*), хотя, как демонстрирует Таблица 2, варьирование в кодировании актантов экспериментальных глаголов не может быть сведено к различию стативных и каузативных корней, в то время как разбиение экспериментальных глаголов на двухъядерные и одноядерные является фундаментальным.

Таблица 2

Кодирование актантов эксперциенциальных ((Экспериенцер, Стимул)) глаголов с точки зрения способов заполнения А- и Р-позиций

	использование А-кодирования	использование Р-кодирования	А-кодирование	Р-кодирование	РН-кодирование	Примеры
1.	каноническое	каноническое	EX	ST	—	Англ. <i>I love Mary</i> = Русск. Я люблю Марию; Алют. үәт-пәп [әрг] тә-la?и-n [непрех] аара [ном] ‘Я увидел отца’
2.	каноническое	нулевое	EX	—	ST	Англ. <i>I am fond of Mary</i> ‘Я люблю Марию’, <i>I am ashamed of you</i> = Русск. Я стыжусь тебя
3.	нулевое	каноническое	—	ST	EX	Русск. Мне жалко Марию
4.	инвертированное	нулевое	ST	—	EX	Русск. Мне нравится Мария
5.	нулевое	инвертированное	—	EX	ST	Алют. үәттә [ном] тәvalumtilә-k [непрех] paninal? atәl?ә-η [дат] ‘Я слушал рассказчика’
6.	нулевое	нулевое	—	—	EX, ST	Русск. Мне стыдно за тебя
7.	инвертированное	инвертированное	ST	EX	—	Англ. <i>The gift pleases me</i> = Русск. Меня радует подарок
8.	расширенное	нулевое	EX, ST	—	—	Финск. <i>Marja [ном] rakastaa kukat [ном]</i> ‘Мария любит цветы’
9.	нулевое	расширенное	—	EX, ST	—	Вост. помо <i>tiⁱ.ral[она+Р] wi [я+Р] ta.va</i> ‘Ее я люблю’

ние (в качестве такового принято уподобление Экспериенцера Агенсу, а Стимула Пациенсу), встречаются лексемы, реализующие в своих исходных диатезах другие типы. Примеры в Таблице 2 с целью наглядности в основном используют данные английского и русского языков. Как показывают примеры, все логически возможные типы реализуются в исходных диатезах эксперциенциальных глаголов, в то время как агентивные глаголы в этом случае используют, за незначительными исключениями, только 1-й тип. Иными словами, засвидетельствованы все возможные способы кодирования как Экспериенцера, так и Стимула. Это означает, что на концептуальном уровне имеются противоречивые основания унификации их с Агенсом, Пациенсом или ни с одним из них, и это проявляется даже в языках типа русского и английского, при наличии в них сильной тенденции к объединению Экспериенцера с Агенсом, а Стимула

с Пациенсом в едином каноническом типе. Следует подчеркнуть, что в ряде случаев вопрос о соотнесении актантов экспериенциальных глаголов с А/Р-позициями как синтаксическими сущностями не является самоочевидным, см., в частности, выше обсуждение данных русского языка.

1.2. Общие сведения о дагестанских языках

С точки зрения типологии структуры предикации все дагестанские языки являются модификациями одного базового типа – с е м а н т и ч е с к и э р г а т и в н ы х я зыков. Семантически эргативные языки характеризуются, во-первых, эргативной конструкцией предложения, объединяющей S/P-актант в их оппозиции к А-актанту, и, во-вторых, наличием последовательно проводимой семантической (ролевой) мотивации эргативной конструкции.

В статье рассматриваются данные арчинского языка²³ как типичного представителя языков, ориентированных в кодировании глагольных актантов на их семантические роли и не имеющих уровня синтаксических отношений типа подлежащего/дополнения²⁴. Проблема канонического/неканонического кодирования в языках такого типа особенно ярко проявляется в противопоставлении агентивных и экспериенциальных глаголов, поэтому этому вопросу будет уделено особое внимание.

Рассмотрим пример²⁵ из арчинского языка (здесь и ниже указывается источник текстовых примеров из [Кибрик и др. 1977], например, Т1:60 означает "Текст 1, предложение 60"):

(1) <i>jarXullib</i>	jam-ur-čaj	q'ał'-o-w-li,
половина.IV ²⁶ +NOM	волк-PL-OBL ²⁷ +ERG	истреблять-IV ²⁸ +делать-PF-EVID
<i>jarXullib</i>	Ralq'	ēti-li.
половина.IV+NOM	умирать	IV+стать+PF-EVID

Половину (баранов) волки истребили, *половина* вымерла. (Т1:60)

В (1) первая предикация – с переходным агентивным глаголом, вторая – с непереходным. Р-актант первой предикации оформлен номинативом (*jarXullib* ‘половина’) идентично S-актанту второй предикации, а А-актант первой предикации оформлен эргативом (*jam-ur-čaj* ‘волки’). Кроме того, согласование глагола по классу контролируется именем в номинативе, то есть S/P-актантом.

Ролевая мотивация эргативной конструкции базируется на противопоставлении

²³ По традиционной классификации дагестанская языковая группа насчитывает 26 языков и состоит из следующих подгрупп: андийской, цезской, аварской, даргинско-лакской и лезгинской. Арчинский язык относится к подгруппе лезгинских языков.

²⁴ Существование таких языков обосновывается, в частности, в [Кибрик 1992; Kibrik 1997].

²⁵ Здесь и ниже глоссирование дается с некоторыми упрощениями. Класс существительного указывается после лексического значения слова через точку. Согласовательные показатели отделяются знаком '='. В глаголе они могут занимать префиксальную или инфиксальную позицию, но в глоссах классные показатели представлены для простоты как префиксальные. В арчинском материале компоненты сложного слова отделяются точкой.

²⁶ Существительные характеризуются классифицирующей категорией класса (базовыми являются I, II, III и IV классы; к I классу относятся названия мужчин, ко II – женщин, III и IV классы – неличные), проявляющейся при согласовании в атрибутивной и предикативной конструкциях. В глоссах при именах в номинативе (вслед за корневым значением) указывается их классная принадлежность.

²⁷ Большинство существительных в арчинском языке имеют двухосновное склонение: косвенные падежи обычно получают показатель косвенной основы. Эргатив, как и номинатив, имеет нулевой показатель и отличается от номинатива наличием косвенной основы.

²⁸ В данном примере классные показатели IV класса нулевые (ср. формы III класса тех же глаголов: *q'ał'-a=b=uli*, *Ralq'-e=b=dili*).

гиперролей Абсолютива и Агентива (см. [Kibrik 1979; 1997; Кибрек 1992]), в соответствии с которыми происходит падежное оформление центральных актантов большинства предикатов. Гиперроль **Абсолютива** ('непосредственный, ближайший, наиболее затрагиваемый участник ситуации' [Кибрек 1992: 192²⁹; Kibrik 1997: 289]) лежит в основе канонического оформления S/P-актантов. При переходном агентивном глаголе, имеющем при себе A- и P-актант, однозначным кандидатом на роль Абсолютива является P-актант, при одноместном непереходном глаголе, то есть при отсутствии конкуренции, единственным кандидатом на эту роль является S-актант, независимо от той конкретной роли, которую соответствующий партиципант играет в ситуации. Гиперроль **Агентива** ('наиболее агенсоподобный из нескольких участников ситуации' [Kibrik 1997: 289]) лежит в основе канонического оформления A-актанта агентивного переходного глагола.

В примере (1) имя *jarXullib* 'половина' в обоих предложениях имеет гиперроль Абсолютива, а имя *jatigčaj* 'волки' – гиперроль Агентива.

Ввиду того, что каноническое кодирование актантов предиката в семантически эргативных языках непосредственно связано с гиперрольевыми характеристиками актантов, эти языки представляют особый интерес для типологии неканонического кодирования: распространяется ли и на эти языки техника неканонического кодирования и если да, то в какой степени и чем эта техника мотивирована.

2. ПАДЕЖНОЕ КОДИРОВАНИЕ АКТАНТОВ

Сидит чукча у чума и курит трубку.

Прибегает сын: "Отец, наш олень в реку бросился!"

Чукча курит трубку.

Снова прибегает сын: "Отец, десять оленей в реку бросилось!"

Чукча курит трубку.

Снова сын прибегает: "Отец, все наши олени в реку бросились!"

Чукча вынул трубку: "Тенденция, однако".

Из анекдотов о чукче

2.1. Морфологические типы глаголов

В арчинском языке синтаксически существенно различие простых и составных глаголов.

Простые глаголы однокорневые. Корень кодирует лексическое значение глагола. Простые глаголы бывают д и н а м и ч е с к и м и (обозначают процессы и действия, имеют категорию вида и полную видо-временную парадигму, обычно содержат морфологическую позицию для постановки классно-числового показателя) и с т а т и в - н ы м и (обозначают состояние, лишены видовых оппозиций, имеют только временную парадигму, обычно не имеют морфологической позиции для классно-числового показателя³⁰). Количество динамических глаголов ограничено (их около полутора сотен), они составляют основную часть исконной предикатной лексики. Стативные глаголы являются открытым классом³¹.

Составные глаголы содержат более одного корня и являются устойчивыми слово-сочетаниями. Морфологически они состоят из неспрягаемой и спрягаемой частей. В качестве спрягаемой части выступают в основном глаголы *bos* 'говорить', *as* 'делать',

²⁹ В этой работе понятию Абсолютива соответствует термин "Фактив".

³⁰ Динамические глаголы приводятся в форме инфинитива (показатель -s), стативные – в форме констатива, совпадающего с чистой основой.

³¹ Более подробную морфологическую информацию можно найти в [Кибрек 1977; Kibrik 1994; 1998].

kes ‘становиться’, а также некоторые другие. Составной глагол наследует, как правило, валентностные свойства спрягаемой части³².

Неспрягаемая часть может быть глаголом, наречием, существительным (в прямом или косвенном падеже) или словом, самостоятельно не употребляющимся. Существенно, что во многих случаях в качестве неспрягаемой части выступает существительное в номинативе, и это обстоятельство влияет на падежное оформление актантной рамки, приводя к неканоническому кодированию актантов.

2.2. Каноническое кодирование

Каноническое морфологическое кодирование единственного ядерного S-актента – номинатив. В переходной (двухъядерной) конструкции при прототипических агентивных глаголах A-актант кодируется эргативом, а P-актант – номинативом, см. пример (1), а также:

(2)	a.	jaš.šēte-̄tu-t	ha/təra	tēl-e-qla-k
		торопиться+PF-ATTR-IV	река.IV+NOM	море-OBL-INTER-LAT
		erq'i-r-t'u.		
		IV+достигать-IPF ³³ -NEG		
		Торопящаяся река до моря не доходит. (пословица)		
	b.	zari	ans-a-n	bat
		me+ERG	бык-OBL-GEN	rog.III+NOM
		Я	сломал	рог быка.

В (2a) S-актант ‘река’ оформлен номинативом. В (2b) A-актант ‘я’ оформлен эргативом (нерегулярная форма), P-актант ‘рог’ – номинативом. Глагол согласуется в (2a) по IV классу с S-актантом, в (2b) – по III классу с P-актантом, то есть согласование в арчинском языке контролируется Абсолютивом.

Подавляющее большинство одноместных глаголов имеет каноническое непереходное S-кодирование номинативом, независимо от ролевой семантики единственного актента. Например:

Пациентные одноместные глаголы:

bej ‘быть старым’,
tuX ‘быть робким’,
ekas ‘падать’,
k'is ‘умирать’,
Rerdi-bos ‘разбиваться’.

Агентивные одноместные глаголы:

aLis ‘приходить’,
irX_omus ‘работать’,
q'iR-bos ‘кричать’.

Экспериенциальные одноместные глаголы:

q'urid kes ‘горевать’,
saR ‘быть здоровым’
q'as-kes ‘уставать’,

³² Исключением является глагол *bos* ‘говорить’, выступающий в составных глаголах то как переходный, то как непереходный.

³³ Здесь и ниже не глоссируется наличие инфиксального *-r-*, также являющегося носителем значения имперфектива.

tiq'a 'жаждать',
iq/a 'быть голодным',
haL'-bos 'зевать',
bazar 'скучать'.

В арчинском языке имеются также двухместные глаголы с одним ядерным актантом, оформленяемым по непереходной схеме (с S-актантом в номинативе). Этот ядерный актант может быть Пациенсом, Агентом или Экспериенцером.

Пациентные двухместные глаголы:

aX 'быть далеко <кто: NOM; от кого/чего: COMPAR>',
k'olma 'быть отдельно <кто: NOM; от кого: SUREP-EL>',
Xl'oro 'отличаться <кто: NOM; от кого/чего: COMPAR>'.

Агентивные двухместные глаголы:

sakas 'смотреть <кто: NOM; на кого/чего: SUPER-LAT>',
Xes 'побеждать <кто: NOM; кого: COMPAR>',
oq/as 'проигрывать <кто: NOM; у кого: COMPAR>'.

Экспериенциальные двухместные глаголы:

wiX 'верить <кто: NOM; кому: SUPER-ESS>',
šak 'подозревать <кто: NOM; кого: SUPER-ESS>',
mal/rš 'завидовать <кто: NOM; кому: SUPER-ESS>',
L'inč'ar 'бояться <кто: NOM; кого: SUB-EL>',
eq/mus 'пугаться <кто: NOM; кого: SUB-EL>',
libl 'стесняться <кто: NOM; кого: SUB-EL/COMPAR>',
Xara 'радоваться <кто: NOM; кому: SUPER-EL>'.

Значительная часть двухместных глаголов имеет каноническое кодирование в соответствии со стандартной переходной схемой. Обращает на себя внимание достаточно последовательная корреляция A/P³⁴-актантов соответственно с агентивной и пациентивной семантической ролями. Семантика переходных глаголов следующая:

"Трудовая и бытовая деятельность", например: 'пахать', 'сеять', 'сажать', 'мыть', 'жарить', 'точить' и др.
"Физическое воздействие", например: 'резать', 'мять', 'сжимать', 'тащить', 'бросать', 'вынимать', 'собирать', 'закрывать' и т.п.
"Действия, связанные с приемом пищи": 'есть', 'пить', 'кусать', 'лизать', 'глотать'.

Ряд переходных глаголов имеет одушевленный Р-актант: 'доить', 'истреблять', 'защищать', 'проводить', 'гнать', 'нянчить', 'обманывать', 'хвалить', 'будить' и др.

В некоторых случаях Р-актант не имеет отчетливой пациентной семантики, например: 'прясть', 'вязать', 'шить', 'мерить', 'считать', 'писать'.

Регулярную переходную схему имеют каузативы³⁵ от непереходных одноместных глаголов. Деривация исходных пациентных глаголов не вызывает осложнений:

aX/as 'гаснуть <что: NOM> – *aX/as as* 'гасить <кто: ERG, что: NOM>'.

При каузативизации к имеющемуся пациентному актанту добавляется агентивный актант.

Однако та же схема имеет место и при каузативной деривации одноместных экспериенциальных и агентивных глаголов: они получают дополнительный агентивный

³⁴ При каузативной деривации Р-актант наследует характеристики исходного S-актанта, см. ниже.

³⁵ В арчинском языке имеется продуктивный аналитический каузатив, образуемый с помощью глагола *as* 'делать', см. ниже.

актант в эргативе, а исходный Абсолютив (S-актант) сохраняет свое оформление (в Р-позиции), например:

tiq'a ‘жаждать <кто: NOM>’ – *tiq'a as* ‘делать жаждущим <кто: ERG, кого: NOM>’,
irX₀mus ‘работать <кто: NOM>’ – *irX₀mus as* ‘заставлять работать <кто: ERG, кого: NOM>’.

Такое кодирование вполне соответствует гиперроли Абсолютива, семантически объединяющего S/P-позиции.

Многоместные глаголы также могут иметь каноническую эргативную конструкцию при наличии агентивного актанта. Агентивный актант занимает А-позицию, а Абсолютив – Р-позицию. Периферийный актант кодируется периферийной падежной формой. Например:

X/or-oX₀/is ‘менять <кто: ERG; что: NOM; на что: COMPAR>’,
aq'as ‘оставлять <кто: ERG; что: NOM; у кого: COMIT>’,
erq₀/mus ‘скрывать <кто: ERG; что: NOM; от кого: SUB-EL>’.

Аналогичны многие трехместные глаголы с инструментальным периферийным актантом (который оформляется эргативом или комитативом), например:

atas ‘дробить <кто: ERG; что: NOM; чем: ERG/COMIT>’,
erX₀/as ‘черпать <кто: ERG; что: NOM; чем: ERG/COMIT>’,
ac'as ‘наполнять <кто: ERG; что: NOM; чем: ERG/COMIT>’,
lubus ‘красить <кто: ERG; что: NOM; чем: ERG/COMIT>’,
dablas ‘отпирать <кто: ERG; что: NOM; чем: ERG/COMIT>’.

2.3. Отклонения от канонического кодирования

При каноническом кодировании один из актантов (Абсолютив) обязательно оформляется номинативом, а второй ядерный актант (если он есть) стоит в эргативе. Нестандартными являются ситуации, при которых

- нет ни одного актанта в номинативе, и/или
- при двухъядерном глаголе отсутствует эргативный актант.

Отклонение от канонического кодирования может предопределяться формальными или семантическими причинами. Эти два источника мотивации будут последовательно рассмотрены в 2.3.1 и 2.3.2.

2.3.1. Структурно-мотивированное отклонение от канонического кодирования

Формальная мотивация отклонения от канонического кодирования связана с особенностями внутренней структуры и управления конкретных глаголов.

2.3.1.1. Управление составных глаголов. Отсутствие в предикации номинативного актанта (т.е. прототипического Абсолютива) чаще всего обусловлено внутренней морфосинтаксической формой глагола. А именно, составные глаголы могут иметь в своем составе имя в номинативе, которое сохраняет синтаксические свойства Абсолютива (падежное оформление и контроль над глагольным согласованием):

(3)	a.	<i>zari</i> я+ERG	<i>ari-li-t</i> работа-OBL-SUPER+ESS <i>Я на работе трудился.</i>	<i>ʕazab</i> труд.IV+NOM <i>Муж виноват в смерти жены.</i>	a-w.	
	b.	<i>ɬonnol</i> жена.II+NOM <i>boxog-pni-t</i> муж-OBL-SUPER+ESS	<i>d=ik'itm'-mul-li-n</i> II=умирать+PF-MASD-OBL-GEN <i>etii</i> вина.IV+NOM <i>IV+стать+PF</i>		IV+делать-PF	

В (За) одноместный составной глагол *ʕazab as* ‘трудиться’, букв. ‘труд делать’ имеет при себе единственный актант в эргативе и внутреннее согласование со своей именной частью³⁶. В (Зб) двухместный составной глагол *ʕejb kes* ‘прониниться’, букв. ‘вина стать’ имеет внутренний Абсолютив ‘вина’ и два актанта – в генитиве (содержание вины)³⁷ и в суперэссиве³⁸.

Аналогичны одноместные составные глаголы, имеющие в своем составе агентивный спрягаемый глагол³⁹:

hil oLmus ‘дышать, отдыхать [букв. пар выгонять] 〈кто: ERG〉’,

tan as ‘плавать [букв. воду делать] 〈кто: ERG〉’ и другие.

Некоторые составные глаголы содержат неэтиологизируемую именную часть, выступающую в роли внутреннего Абсолютива. Например, таковы одноместные глаголы с единственным актантом в эргативе⁴⁰:

ħiħ-it'-bos ‘свистеть [букв. ħiħ говорить] 〈кто: ERG〉’,

iHu-bos ‘кашлять [букв. iHu говорить] 〈кто: ERG〉’,

č'o/w-bos ‘чавкать [букв. č'o/w говорить] 〈кто: ERG〉’,

и двухместные глаголы с агенсом (в эргативе) и периферийным актантом:

ħuħ-bos ‘шептать [букв. ħuħ говорит] 〈кто: ERG, кому: CONT-LAT〉’,

oj-aċas ‘слушать [букв. ухо осуществлять] 〈кто: ERG; кого: SUPER-LAT〉’,

č'iši atis ‘оплакивать [букв. голос пускать] 〈кто: ERG; кого: DAT + Xir⁴¹〉’,

sog as ‘ругать [букв. ругань делать] 〈кто: ERG; кого: SUPER-LAT〉’,

Lili elas ‘седлать [букв. седло класть] 〈кто: ERG; кого: SUPER-ESS〉’.

Некоторые составные глаголы имеют экспериенциальный актант, формально синтаксически зависящий от именной части:

(4)	<i>tor-mi-n</i>	<i>jałt'i-li-Li-š</i>	<i>ik_.t'ank'.bo.</i>
	она-OBL-GEN	змея-OBL-SUB-EL	испугаться+PF

Она испугалась змеи. [букв. Ее сердце прыгнуло из-под змеи.]

Актант ‘она’ оформлен генитивом, являющимся следом существовавшей ранее синтаксической связи с нынешней именной частью составного глагола (‘ее сердце’). В качестве именной части обычно выступают слова, обозначающие орган восприятия или средоточие чувств (‘глаз’, ‘сердце’, ‘желчь’):

lur beq/es // lur cabXas ‘взглянуть, попадаться на глаза [букв. глаз приходит || падает] 〈кому: GEN; кто/что: SUPER-LAT〉’,

lur eq/is ‘обращать внимание [букв. глаза доходят] 〈кто: GEN; на что: SUPER-LAT〉’,

ik_.q'uras ‘печалиться [букв. сердце высыхает] 〈кто: GEN〉’,

ik_.ukas // ik_.oLmus ‘жалеть [букв. сердце горит || выходит] 〈кто: GEN; кого: DAT + Xir〉’,

ik_.arhas ‘беспокоиться [букв. сердце думает] 〈кто: GEN; о ком: DAT + Xir〉’,

³⁶ Показатель IV класса нулевой.

³⁷ Этот актант является сентенциальным; он оформлен масдарным оборотом. Генитив мотивирован управлением существительного ‘вина (в чем)’. Внутри масдарного оборота сохраняется управление исходного глагола ‘умирать’ 〈кто: NOM〉.

³⁸ Суперэссив мотивирован спрягаемой частью глагола *kes* ‘становиться, начинать иметься (где)’.

³⁹ Эти глаголы управляют эргативом, мотивированным спрягаемой частью – глаголами ‘выгонять (кто)’, ‘делать (кто)’.

⁴⁰ Эргатив мотивирован спрягаемой частью глагола – глаголом ‘говорить (кто)’.

⁴¹ Послелог ‘сзади’.

ik_o’ *ociš* ‘быть уверенным [букв. сердце останавливается]’ <кто: GEN; в чем: SUPER-ESS’>,

ik_o’ *ačas* ‘хотеть [букв. сердце осуществляется]’ <кто: GEN; что делать: SENT’>,

šam bačas ‘гневаться [букв. желчь встает]’ <кто: GEN; на кого: SUPER-LAT’>.

2.3.1.2. Сентенциальный актант. Отсутствие прототипического Абсолютива в номинативе может быть обусловлено не только сложным морфологическим устройством глагола, но также тем, что глагол требует сентенциального Абсолютива, выражаемого инфинитивным оборотом. Например:

- (5) a. nešen zon o=w=Xuk_oe-s ko=w=ša-r.
[сейчас я.I+NOM I=спать-INF] I=нужно-IPF
Сейчас я должен спать [букв. нужно, чтобы я сейчас спал]
b. tow-mu jeb a=b=ča-s k_a=b=š-u-qi.
[он-OBL+ERG они.I-IIpl+NOM I/IIpl=убивать-INF] I-IIpl=нужно-PF-POT
Он будет должен их убить.

Одноместный⁴² глагол *k_{ačas}* ‘нужно’ требует сентенциального Абсолютива. Хотя этот Абсолютив не имеет канонической падежной формы (поскольку вершина вставленного предложения не является именем), он, тем не менее, контролирует согласование главного глагола: глагол ‘нужно’ согласуется по классу с Абсолютивом вставленного предложения (так называемое прозрачное согласование). В (5a) это *zon* ‘я’, а в (5b) – *jeb* ‘они’.

Кроме данного глагола, имеется еще несколько одноместных простых глаголов, требующих сентенциального актанта, оформленного инфинитивным оборотом, например:

beč’as ‘быть можно <что делать: SENT’⁴³,

*kes*⁴⁴ ‘мочь <что делать: SENT’,

hal̥a ‘легче <что делать: SENT’,

Xali ‘лучше <что делать: SENT’.

Данное отклонение от канонического кодирования не ограничивается одноместными глаголами. Так, Абсолютив может быть сентенциальным актантом и при двухместном глаголе (например, в составе аффективной конструкции):

- (6) jamut ari a-s ež bala.
[этот работа.IV+NOM IV+делать-INF] я+DAT трудно.
Мне трудно делать эту работу.

Глагол ‘быть трудно <кому: DAT; что делать: SENT’ один актант оформляет дативом (см. ниже разд. 2.3.2.1), а второй – инфинитивным оборотом.

2.3.2. Ролевая мотивация

Ролевая мотивация связана с ролевыми свойствами актантов, приводящими к нестандартному кодированию.

2.3.2.1. Аффективная конструкция. Наиболее яркой чертой актантного кодирования в арчинском языке является так называемая аффективная конструкция. Ряд двухместных экспериенциальных глаголов интерпретируют Стимул как Абсолютив (кодируется номинативом), а Экспериенцер кодируют дативом.

⁴² То, что данный глагол одноместный, следует из того, что у него нет падежно управляемой именной группы.

⁴³ Этот глагол требует сентенциального актанта с глаголом в форме аориста.

⁴⁴ Данный глагол является многозначным, в разных значениях он имеет различные актантные рамки.

(7)	jamu=r	<i>lo⁴⁵</i>	marči	žihil-til-če-s	L'an
	этот=II	девушка.II+NOM	все	парень-PL-OBL-DAT	любить
	de=ke-r-ši	e=r=di.			
	II=стать-IPF-GER	II+быть+PAST			

Эта девушка всем парням нравилась. (T1:7)

Такое кодирование актантов («кто: DAT; что: NOM⁴⁶») имеют глаголы восприятия, знания, чувства, намерения и долженствования, например:

aķus ‘видеть (кто: DAT; что: NOM)’, *kos* ‘слышать (кто: DAT; что: NOM)’, *di caXas* ‘обонять [букв. запах падает] (кто: DAT; что: GEN⁴⁷)’, *Xos* ‘находить (случайно) (кто: DAT; что: NOM)’, *eq'mis* ‘укалываться (кто: DAT; обо что: NOM)’, *qulej* ‘быть удобно (кому: DAT; что: NOM)’, *aX/* ‘быть достаточным, хватать (кому: DAT; чего: NOM)’, *bala* ‘быть трудно (кому: DAT; что: NOM)’;

sini ‘знать (кто: DAT; что: NOM)’, *jaq'an* ‘понимать (кто: DAT; что: NOM)’, *eXmis* ‘забывать (кто: DAT; что: NOM)’, *ik'maš q'es* ‘забывать [букв. из сердца уходит] (кто: DAT; что: NOM)’, *ik'ma eXas* ‘помнить [букв. в сердце остаться] (кто: DAT; что: NOM)’, *ik'mak aLis, ik'mis ekas* ‘вспоминать [букв. в сердце приходить, к сердцу падать] (кто: DAT; что: NOM)’, *ik'mis ekas boli* ‘казаться [букв. к сердцу падать говоря] (кто: DAT; что: SENT)’;

L'an ‘любить = хотеть (кто: DAT; что: NOM)’, *ik'mi šibus* ‘полюбить(ся) [букв. сердце берет] (кто: DAT, что: NOM)’, *mīši aķus* нравиться [букв. красиво видеть] (кому: DAT; что: NOM)’, *beX/e kes* ‘ненавидеть [букв. черным стать] (кто: DAT; что: NOM)’, *t'ibir* ‘быть жалко (кому: DAT; что: NOM)’, *q'ubul* ‘быть довольным (кто: NOM; кем: NOM)’;

L'an ‘хотеть = любить (кто: DAT; что: SENT)’, *ik'ma i* ‘собираться [букв. в сердце быть] (кто: DAT; что: SENT)’, *k,at* ‘быть нужно (кому: DAT; что: NOM/SENT)’.

В отличие от многих (в том числе эргативных) языков, объединяющих экспериментальный актант этих глаголов с Агентом в А-позиции (с гиперролью Агента), арчинский язык использует специальный падеж – датив. В связи с данными глаголами встает вопрос о месте их на шкале переходности и, в частности, о числе ядерных актантов. Если это обычные непереходные глаголы с единственным ядерным актантом в номинативе, то их актантное кодирование можно считать каноническим. Если же это двухъядерные конструкции и если исходить из того, что всякая двухъядерная конструкция имеет А- и Р-позиции, то их кодирование отличается от канонического (А-актант кодируется дативом). В пределах морфосинтаксиса решить, какая из этих интерпретаций является правильной, невозможно, мы вернемся к этой проблеме позже при рассмотрении синтаксического поведения данных глаголов и покажем, что в ряде случаев они имеют особое синтаксическое поведение, отличное от поведения как переходных, так и непереходных глаголов.

Выше говорилось, что Абсолютив при одноместных глаголах – дефолтная гиперроль, однако зафиксирован по крайней мере один одноместный экспериментальный глагол *torolmus* ‘становиться щекотно’⁴⁸, оформляющий единственный именной актант

⁴⁵ Слово *lo* многозначно. Оно может значить ‘ребенок.IV’, ‘парень/сын.I’, ‘девушка/дочь.II’.

⁴⁶ Большинство глаголов может альтернативно иметь, наряду с номинативом, сентенциальный Абсолютив.

⁴⁷ Формально-синтаксически этот актант является приименным зависимым при именной части *di* ‘запах’.

⁴⁸ Примечательно, что глагол этой семантики особым образом ведет себя и в английском языке. В русском языке иконическое дативное кодирование единственного экспериментального актанта скорее норма, чем исключение.

дативом:

- (8) *ez* йогоñ-ni.
IV+я+DAT щекотно-PF
Мне щекотно.

В этом случае экспериментальная семантика актанта иконически выражается дативом⁴⁹.

2.3.2.2. Посессивная конструкция⁵⁰. В арчинском языке идея обладания не лексикализована в специальном предикате типа *have / haben / avoir / иметь*. Базовым способом выражения посессивности является именная группа, вершина которой означает обладаемое, а зависимое в генитиве – посессора; предикативное выражение обладания оформляется аналогичным образом:

- (9) а. *q|an-na-p* *lo*
коропатка-OBL-GEN ребенок
птенец коропатки
- б. *q/an-na-p* *lo* *i.*
коропатка-OBL-GEN ребенок.IV IV+быть+PRES
У коропатки есть птенец.

Можно считать, что (по крайней мере исторически) в арчинском языке представлен только внутренний посессор, и посессивные отношения выражаются формально-синтаксически как бы в составе именной группы:

- (10) а. *jemim-me-n* *buwa-diјa* *e=b=di-li*
они-OBLPL-GEN мать-отец+NOM I/Ipl=быть+PAST-EVID
b=i-t'u...
I/II=быть+PRES-NEG
У них матери-отца не было... (T3:2)
- б. *łama/tum-tu-mi-n* *q'imat* *b=i-kir...*
богач-OBL-GEN почет.III+NOM III=быть+PRES-ITER
У богатого почет был... (T1:2)
- в. *tow-mu-n* *labXan-ši* *lo-bur* *b=i.*
он-OBL-GEN много-GER ребенок-PL+NOM I/II=быть+PRES
У него детей много.
- г. *is* *lagi* *ač'a-r-ši* *i.*
IV+я+GEN желудок.IV+NOM IV+болеть-IPF-GER IV+быть+PRES
У меня живот болит. (T4:82)
- д. *...marči-me-n* *nibq-i* *lur*
все-OBL-GEN слеза-OBL+ERG глаз.IV+NOM
āc'-u-li *edi.*
IV+наполняться-PF-GER IV+быть+PAST
{Когда эту песню услышали,} у всех глаза наполнились слезами. (T1:36)

В (9б) и (10а-б) имеется глагол *i* / *edi* ‘быть’, приобретающий в контексте имени в генитиве посессивное значение ‘иметься’. В связи с посессивной конструкцией встает вопрос о синхронной синтаксической интерпретации данного генитива. Я полагаю, что имеются основания считать его отдельным актантом глагола⁵¹.

⁴⁹ Некоторые дагестанские языки, например, багвалинский, идут в этом плане дальше и системно допускают последовательное особое падежное кодирование Эксперименера, в том числе и при одноместных глаголах.

⁵⁰ На связаннысть аффективной (дативной) и посессивной конструкций было обращено внимание довольно давно, см. [Masika 1976: 159–169].

⁵¹ В рамках данной статьи невозможно об этом говорить подробно, но диагностическим является, в частности, довольно свободный линейный отрыв генитивной ИГ-посессора от ИГ-обладаемого, см. (10в): *towmu-n labXanši lobur hi* ‘У него [букв. его] много детей’. Такой

2.4. Гиперроль Адресата

Выше было показано, что при многоместных глаголах Экспериенцер в арчинском языке довольно последовательно кодируется дативом⁵². Однако датив имеет более широкое употребление. А именно, он также является стандартным средством оформления Реципиента/Цели при трехместных и двухместных глаголах.

- (11) а. ..Hawan *b=el* bo=Lo-t'u jemim-maj.
 овца.III+NOM III=мы+DAT III=давать+PF -NEG они-OBLPL+ERG
 Они не дали *нам* барана. (T30:45)
- б. pen to=w laha-n ej-mi-s
 мы+ERG tot=I парень.I+OBL-GEN мать-OBL-DAT
 zagar a=b=u.
 соболезнование.III + NOM do=III=PF
 Мы выразили соболезнование *матери* того парня.

В (11а) Реципиент при глаголе 'давать' выражен дативом. Аналогичным образом в (11б) двухместный составной глагол 'соболезновать' также выражает Реципиент дативом.

К трехместным глаголам с реципиентным актантом относятся глаголы:

Los 'давать <кто: ERG; что: NOM; кому: DAT>',
ma-bos 'предлагать <кто: ERG; что: NOM; кому: DAT>',
daXis 'ударять <кто: ERG; чем: NOM; кому: DAT>',
łas 'учить <кто: ERG; чему: NOM; кого: DAT>',
śas 'касаться <кто: ERG; чем: NOM; кого: DAT>',
ba/Lmus 'давить <кто: ERG; чем: NOM; что: DAT>'.

Почти все двухместные глаголы с дативным Реципиентом являются составными (с внутренним Абсолютивом), например:

Xabar atis 'рассказывать [букв. рассказ пускать] <кто: ERG; кому: DAT>',
zaral as 'вредить [букв. вред делать] <кто: ERG; кому: DAT>',
raHmu abas 'щадить [букв. пощаду делать] <кто: ERG; кому: DAT>',
kumak abas 'помогать [букв. помошь делать] <кто: ERG; кому: DAT>',
asar as 'влиять [букв. чувство делать] <кто: ERG; на кого: DAT>',
pal ačas 'гадать [букв. гадание на камешках делать] <кто: ERG; кому: DAT>',
iL' elas 'держать в страхе [букв. страх класть] <кто: ERG; кого: DAT>',
L'inč'at'i Los 'грозить [букв. страх давать] <кто: ERG; кому: DAT>',
Łazab Los 'мучить [букв. муку давать] <кто: ERG; кого: DAT>'.

Имеется, правда, простой глагол *kes*, имеющий, наряду с одноместным употреблением со значением 'становиться (что: NOM)', значение 'случаться (что: NOM; с кем: DAT)' со вторым актантом-Реципиентом:

- (11) в. q!opnu *uš-ti-ś-i* eti-li
 средний+I брат.I-OBL-DAT-i IV+стать+PF-EVID
 dōlzu *uš-ti-s* etitū = t heL'ena.
 большой+I брат.I-OBL-DAT IV+стать+PF-ATTR=IV вещь.IV
 И среднему *брату* стала старшему *брату* случившаяся вещь. (= И со средним братом случилось то же, что со старшим братом.) (T3:34)

отрыв наблюдается не только при глаголах с посессором-актантом (как при стативном глаголе *labXan* 'быть много'), но и в контекстах с исходным приименным посессором, см. (10 д): ..*marči-me-n nibq-i lur* 'у всех [букв. всех] слезами глаза'.

⁵² Исключение составляют простые глаголы с единственным ядерным актантом-эксприенцером, интерпретируемым как Абсолютив (см. 2.2), и составные глаголы, при которых эксприенцер сохраняет исторически приименное генитивное кодирование (см. 2.3.1.1).

Есть основания считать, что в арчинском языке имеется особая гиперроль Адресата, последовательно выражаящаяся дативом.

2.5. Выводы

Таким образом, надежное кодирование в арчинском языке в целом выдерживает ролевой принцип. Абсолютив выражается номинативом, Агентив – эргативом и Адресат – дативом. Отклонения от этого принципа объясняются наличием класса составных глаголов, содержащих исторический Абсолютив, а также класса сентенциальных актантов, оформленных инфинитивным оборотом. Кроме того, посессивное значение выражается генитивом, восходящим к приименному генитиву.

Интересно статистическое распределение глаголов по числу актантов⁵³. Более половины всех глаголов (из 800 зафиксированных в словаре [Кибрик и др. 1977]) одноместные, трехместных глаголов – 4%. Абсолютное большинство глаголов (70%) относятся к прототипическим переходным (с Агенсом и Пациенсом) и непереходным (с Пациенсом), то есть на промежуточную часть шкалы переходности приходится всего 30% глаголов. Семантические роли распределяются следующим образом:

Пациенс встречается при 612 глаголах,
Агенс встречается при 504 глаголах,
Экспериенцер встречается при 78 глаголах,
Реципиент встречается при 27 глаголах,
Периферийные актанты встречаются при 76 глаголах.

Статистически преобладающим является пациентивный актант. В частности, он представлен в 70% одноместных глаголов. Такое статистическое преобладание пациентивных актантов свидетельствует о его наименьшей маркированности, благоприятствующей формированию немаркированной гиперроли Абсолютива, лежащей в основе эргативной стратегии.

3. ВОПРОС О (НЕ)КАНОНИЧЕСКОМ СИНТАКСИЧЕСКОМ S/A/P-КОДИРОВАНИИ

"Очень трудно искать черную кошку в темной комнате, особенно если ее там нет"

Конфуций

Известно, что S/A/P-кодирование проявляется не только на морфологическом уровне, но и на уровне синтаксиса и, более того, синтаксические критерии определения S/A/P-позиций имеют приоритет перед морфологическими. Поэтому нам необходимо рассмотреть вопрос о соотношении морфологических и синтаксических характеристик S/A/P-актантов.

3.1. Проблема залогов

В арчинском языке отсутствуют какие-либо залоговые преобразования (типа пассива или антипассива⁵⁴), поэтому словарная предикатно-актантная структура глагола не подвергается никаким диатезным изменениям. Я неоднократно подчеркивал [Kibrik 1979; 1997], что отсутствие залогов является импликативной универсалией

⁵³ Подробнее см. [Кибрик 1979].

⁵⁴ В некоторых из дагестанских языков наблюдается семантически мотивируемый антипассив (подавление пациентного и выделение агентивного актанта), например, в бежтинском, гунзизском, даргинском, годоберинском (см. [Kibrik Andrej 1996: 137–143]).

Существенно, что в дагестанских языках антипассив нигде не выполняет синтаксических функций и является лексически ограниченным.

ролевых языков: в таких языках основной кодируемой характеристикой приглагольного актанта является его семантическая роль, и эта кодировка не может быть изменена, если при этом не изменяется словарное значение глагола.

3.2. Биноминативная конструкция

В арчинском языке финитный глагол имеет синтетические и аналитические глагольные формы. Аналитические формы образуются сочетанием деепричастия значимого глагола и формой вспомогательного глагола 'быть' в настоящем (*i*) или прошедшем (*edi*) времени.

- | | | | |
|-------------------------|---------------------------|--------------------|---------------|
| (12) a. <i>buwa</i> | <i>d=arXa-r-ši</i> | <i>d=i.</i> | |
| мать.II+NOM | II=лежаться-IPF-GER | II=быть+PRES | |
| <i>Мать лежит.</i> | | | |
| b. <i>buwa-mu</i> | <i>X_o alli</i> | <i>b=a-r-ši</i> | <i>b=i.</i> |
| мать.+ERG | хлеб.III+NOM | III=делать-IPF-GER | III=быть+PRES |
| <i>Мать хлеб пекет.</i> | | | |
| v. <i>buwa</i> | <i>X_o alli</i> | <i>b=a-r-ši</i> | <i>d=i.</i> |
| мать.II+NOM | хлеб.III+NOM | III=делать-IPF-GER | II=быть+PRES |
| <i>Мать хлеб пекет.</i> | | | |

В (12а–б) падежное оформление S/A/P-актантов каноническое, а обе части аналитической формы глагола согласуются по классу-числу с Абсолютивом (S/P-актантами). Однако переходные агентивные глаголы допускают также б и н о м и н а т и в н у ю к о н с т р у к ц и ю, см. (12в), в которой как Абсолютив *X_o alli* 'хлеб', так и Агентив *buwa* 'мать' оформлены номинативом. При этом значимый глагол согласуется с Абсолютивом по III классу, а вспомогательный – с исходным Агентивом по II классу. При таком описании примера (12в) нарушается принцип однозначного соответствия поверхностного номинатива и семантической роли Абсолютива. В действительности, однако, никакого нарушения нет, поскольку биноминативная конструкция является поверхностным феноменом, и ИГ 'мать' в (12в) синтаксически зависит от вспомогательного глагола 'быть' в отличие от ИГ 'хлеб', синтаксически связанной со значимым глаголом 'печь', то есть синтаксически два номинатива находятся в разных предикациях: ИГ 'мать' – в главной, а ИГ 'хлеб' – в зависимой. ИГ 'мать' является Абсолютивом в главной предикации, а кореферентный ей Агентив в зависимой поверхности не выражен. Такой анализ подтверждается, в частности, различием в контролерах согласования у значимого и вспомогательного глаголов.

Эргативная и биноминативная конструкция имеют различия в значении. Эргативная конструкция отвечает на вопрос "Что происходит?", а биноминативная – "Что делает А?", то есть при биноминативной конструкции ИГ в главной предикации является данным⁵⁵.

Итак, при прототипическом переходном глаголе возможна биноминативная конструкция. Существенно, что аффективные глаголы не допускают биноминативной конструкции, то есть ведут себя как неперходные глаголы. Таково же поведение глаголов с генитивной ИГ (как составных, так и простых). Наоборот, составные глаголы с агентивным актантом в эргативе допускают биноминативную конструкцию:

- | | | |
|-----------------------|---------------------|----------------|
| (13) a. <i>tow-mu</i> | <i>šut'.a-r-ši</i> | <i>i.</i> |
| он.I-OBL+ERG | IV+свистеть-IPF-GER | IV+быть + PRES |
| <i>Он свистит.</i> | | |
| b. <i>tow</i> | <i>šut'.a-r-ši</i> | <i>w=i.</i> |
| он.I+NOM | IV+свистеть-IPF-GER | I=быть+PRES |
| <i>Он свистит.</i> | | |

⁵⁵ Подробнее см. [Кибрик 1975].

(14) a.	<i>tow-mi</i>	<i>laha-til-k</i>	<i>sog.a-r-ši</i>	i.
	он-OBL+ERG	сын+OBL-SUPER-LAT	IV+ругать-IPF-GER	IV+быть+PRES
	<i>Он</i> сына ругает.			
b.	<i>tow</i>	<i>laha-til-k</i>	<i>sog.a-r-ši</i>	<i>w=i.</i>
	он.I+NOM	сын+OBL-SUPER-LAT	IV+ругать-IPF-GER	IV=быть+PRES
	<i>Он</i> сына ругает.			

Это свидетельствует о том, что данные составные глаголы ведут себя как слово-сочетания с переходным глаголом, имеющим при себе Абсолютив, а не как непереходные глаголы с единственным актантом в эргативе. Иными словами, эргативная ИГ является А-, а не S-актантом.

3.3. Лабильность

Ла биль ны ми называют глаголы, допускающие непереходное и переходное употребление без каких-либо изменений в своем морфологическом оформлении. В принципе возможны А-лабильные (*S = A*) и Р-лабильные (*S = P*) пары. В арчинском языке имеется более двух десятков Р-лабильных глаголов:

aq/as ‘разбиваться, разбивать’, *Xašas* ‘рваться, рвать’, *q/as* ‘делиться, делить’, *čarR/-bos* ‘выливаться, выливать’, *caXas* ‘падать, кидать’, *žibus* ‘вариться, варить’, *ha/rš-bos* ‘кипеть, кипятить’, *čaras* ‘печься/жариться, печь/жарить’, *ikas* ‘гореть, жечь’, *Lur-bos* ‘быть натертым, натирать’, *šas* ‘касаться {кто/что: NOM; чого: DAT}, трогать (кто: ERG; чем: NOM; что: DAT)’, *as* ‘создаваться, создавать’, *ełas* ‘лежать, класть’, *gakas* ‘собираться, собирать’, *oLas* ‘продаваться, продавать’.

Р-лабильные глаголы в обоих значениях содержат общий пациентный актант с гиперролью Абсолютива. Переходные варианты отличаются от непереходных лишь наличием дополнительного агентивного актанта.

(15) a.	<i>wa/rt'i</i>	<i>a=b=q-u.</i>
	тарелка.III+NOM	III=разбиваться-PF
	<i>Тарелка</i> разбилась ⁵⁶ .	
b.	<i>zari</i>	<i>wa/rt'i</i>
	я+ERG	тарелка.III+NOM
	<i>Я</i> разбил <i>тарелку</i> .	III=разбивать-PF

Имеется также несколько лабильных глаголов с индивидуальными сдвигами в лексическом значении:

aXas ‘пачкаться, штукатурить’, *ak'as* ‘откалываться, гнать’, *ecas* ‘горько плакать, наливать’, *c'ur-bos* ‘ныть от боли, сосать’, *gerkə-bos* ‘свисать, качать’, *oq/as* ‘тонуть, глотать’.

В отличие от английских Р-лабильных глаголов типа *break* ‘разбивать(ся), ломать(ся), рвать(ся)’, *open* ‘открывать(ся)’, в арчинском языке пациентный актант сохраняет в обеих конструкциях не только свою семантическую роль, но и падежное

⁵⁶ Следует отметить, что в арчинском языке такое предложение может иметь и переходную интерпретацию: ‘Кто-то разбил тарелку’ с поверхностно невыраженным неспецифицированным Агенсом. Неопределенno-личную интерпретацию может иметь любой переходный глагол (не только лабильный в переходном употреблении), например: *jasqi q/etmitl čařpus arši i* ‘Сегодня скалы взрываются’, где сказуемое – каузативный глагол от *čařpu* ‘лопнуть’. Вообще в арчинском языке может быть неспецифицированным любой актант, как ядерный, так и периферийный, поэтому этот контекст не может служить средством различия ядерных актантов.

кодирование. В то же время в арчинском языке невозможны А-лабильные глаголы типа ‘есть *перех/неперех*’ (типа *Он ест кашу*, но *Он мало ест*), поскольку это требовало бы разной интерпретации и разного кодирования агентивного актанта – как Агентива (в переходном употреблении) или как Абсолютива (в непереходном употреблении). При неспецифицированном Пациенсе глагол сохраняет переходность и позиция Абсолютива заполняется родовым именем⁵⁷, например:

- (16) a. *zari* $\bar{X}_i alli$ *kun-ne.*
 я+ERG хлеб+NOM есть-PF
 Я хлеб поел.
 b. *zari* $kummul$ *kun-ne.*
 I+ERG пища+NOM есть-PF
 Я поел [букв. Я пищу поел].

Таким образом, избирательная лабильность (запрет на А-лабильность) в арчинском языке является не случайной, а вытекающей из принципа эргативной ролевой ориентации при кодировании глагольных актантов.

Существенно, что лабильность возможна только для прототипических агентивно-пациентных глаголов, хотя обратное неверно⁵⁸. Однако аффективные глаголы (равно как и глаголы с прочим ролевым составом актантов) не могут быть лабильными, то есть они с точки зрения параметра лабильности являются непереходными.

3.4. Каузативизация

Как указывалось выше, в арчинском языке имеется продуктивное средство повышения переходности – каузативная деривация. Каузативы образуются аналитически с помощью глагола *as* ‘делать’. Каузатив отличается от мотивирующего глагола⁵⁹ наличием дополнительного актанта с ролью Агентива. Например:

- marc* ‘быть чистым ⟨кто: NOM⟩’ – *marc'as* ‘чистить ⟨кто: ERG; кого: NOM⟩’,
iq'a ‘быть голодным ⟨кто: NOM⟩’ – *iq'a as* ‘делать голодным ⟨кто: ERG; кого: NOM⟩’,
haq'as ‘возвращаться ⟨кто: NOM⟩’ – *haq'as as* ‘возвращать ⟨кто: ERG; кого: NOM⟩’,
k'olma ‘быть отдельно’ ⟨кто: NOM; от кого: SUPER-EL⟩’ – *k'olma as* ‘отделять ⟨кто: ERG; кого: NOM⟩’,
 \bar{X}/oro ‘отличаться ⟨кто: NOM; от кого/чего: COMPAR⟩’ – $\bar{X}/oro as$ ‘менять ⟨кто: ERG; что: NOM⟩’,
libX/ ‘стесняться ⟨кто: NOM; кого: SUB-EL⟩’ – *libX/as* ‘смущать ⟨кто: ERG; кого: NOM⟩’.

Как видим, периферийный актант при каузативизации не сохраняется, а Абсолютив остается. Несколько иначе ведут себя аффективные глаголы:

- jaq'an* ‘понимать ⟨кто: DAT; что: NOM⟩’ – *jaq'an as* ‘объяснять ⟨кто: ERG; кому: DAT; что: NOM⟩’.

⁵⁷ Изредка родовое имя может материально отсутствовать, но наличие позиции Абсолютива видно по классно-числовому согласованию, например:

up o-w-enčiš, waš-u a-r.
 ты+ERG IV+делать-PF-если ты+DAT-и IV+делать – IPF

Если ты сделаешь (нечто), и тебе сделают.

⁵⁸ Не всякий агентивно-пациентный глагол допускает непереходную интерпретацию по Р-лабильной модели. Лабильность не является продуктивной в арчинском языке, она лексически ограничена определенным кругом предикатов.

⁵⁹ Стативные глаголы используют при образовании каузатива форму констатива, совпадающую с чистым корнем, а динамические – форму инфинитива.

Например:

(17)	<i>nol'</i>	<i>āku-s</i>	<i>ow-li</i>	Xalatum-mu
	дом.IV+NOM	IV+видеть+INF	IV+делать+F-EVID	старик-OBL+ERG
	<i>jo=w</i>	<i>laha-s.</i>		
	тот=1	парень.I+OBL-DAT		

Старик показал этому *мальчику* *дом*. (Т3: 39)

Глагол ‘видеть (кто: DAT; что: NOM)’ при каузативизации сохраняет обе свои исходные валентности.

Итак, с одной стороны, аффективные глаголы, как обычные двухместные непереходные глаголы, образуют каузатив. С другой стороны, каузативные корреляты аффективных глаголов сохраняют актанты мотивирующего глагола. Это обстоятельство можно интерпретировать таким образом, что аффективные глаголы имеют два ядерных актанта, в отличие от обычных непереходных глаголов.

Что касается прототипических переходных (агентивно-пациентных) глаголов, то от них каузативы не образуются⁶⁰. И это естественно: иначе возникло бы два неразличимых актанта с агентивной ролью и было бы необходимо переинтерпретировать роль исходного Агентива, что блокируется принципом ролевой ориентации. Данное ограничение сохраняется и для составных глаголов с эргативным актантом, что свидетельствует о том, что этот актант является A-, а не S-актантом.

3.5. Сентенциальные актанты

Ряд глаголов, требующих сентенциального актанта, нейтральны к актантной структуре зависимой предикации. Например, возьмем глагол ‘хотеть (кто: DAT; что делать: SENT)’:

(18) а.	<i>w=ez</i>	[∇ <i>I=j_i</i> +DAT	<i>w=irX_i mu-s]</i>	<i>L'an-ši</i>	<i>w=i.</i>
		∇_i .I+NOM	<i>I=работать-INF</i>	<i>хотеть-GER</i>	<i>I=быть+PRES</i>
		Я хочу работать.			
б.	<i>ez</i>	[∇ <i>IV+j_i</i> +DAT	<i>pult'u</i>	$\check{š}ubu-s]$	
		∇_i .ERG	<i>пальто.IV+NOM</i>	<i>покупать-INF</i>	
		<i>L'an-ši</i>	<i>i.</i>		
		<i>хотеть-GER</i>	<i>IV+быть+PRES</i>		
		Я хочу купить пальто.			

⁶⁰ Зафиксирован только один каузатив от прототипического переходного глагола: *c'abus* ‘пить (кто: ERG; что: NOM)’ – *c'abus as* ‘поить спиртным (кто: ERG; кого: NOM; чем: ERG)’. Однако в данном случае происходит семантическое сужение значения мотивирующего глагола.

В отличие от каузативной деривации, возможно выражение значения ‘заставить’ с помощью полипредикативной конструкции с главным глаголом *ak'as* ‘заставлять (кто: ERG; кого: NOM; что сделать: SENT)’. Вставленное предложение оформляется инфинитивным оборотом, в котором кореферентный актант не выражается:

(i) а.	<i>zari</i>	<i>tor</i>	[∇ <i>j+ERG</i>	<i>d=irX_i mu-s]</i>	<i>a=r=k'-u.</i>
			∇_i .II+NOM	<i>II=работать-INF</i>	<i>II=заставлять-PF</i>
		Я заставил ее работать.			
б.	<i>zari</i>	<i>tor</i>	[∇ <i>j+ERG</i>	<i>ja = t ari a-s]</i>	
			∇_i .II+ERG	<i>этот=IV</i>	<i>работа.IV+NOM</i>
		<i>a=r=k'-u.</i>			<i>IV.делать-INF</i>
		II=заставлять-PF			
		Я заставил ее сделать эту работу.			

Как видно, в обоих примерах главный глагол (*a=r=k'-u*) согласуется со своим Абсолютивом (*tor* ‘она’), а зависимый глагол – со своим (в (ia) это опущенный кореферентный актант, а в (ib) – полная ИГ *ari* ‘работа’).

b.	w=is	bošor=mus-s	[∇	laha-n
	I=я+GEN	муж _i =OBL-DAT	∇_i +DAT	ребенок+OBL-GEN
	q'IR-t'i	ko-s]		L'an-t'u.
	крик-MASD.IV+NOM	IV+слышать-INF		хотеть-NEG
	Мой муж	не хочет слышать крик ребенка.		

Как видно, инфинитивный оборот может содержать в качестве кореферентного актанта Абсолютив (18a) одноместного глагола, а также Агентив (18б) или Адресат (18в) двухместного глагола. Этим, однако, кореферентность не ограничена.

- (19) a. w=ez [buwa-mu ∇ w=iřku-s]
 I=я_i+DAT мать-ERG ∇_i , I+NOM I=искать-INF
 L'an-ši w=i.
 хотеть-GER I+быть+PRES
 Я хочу, чтобы мать меня искала.
- b. w=ez [buwa-s ∇ ku-s]
 I = я_i + DAT мать+DAT ∇_i , I+NOM I+слышать-INF
 L'an-ši w=i.
 хотеть-GER I=быть+PRES
 Я хочу, чтобы мать меня слышала.

В (19a) в отношение кореферентности с актантом главного глагола вступает Абсолютив агентивного глагола, а в (19б) – Абсолютив аффективного глагола.

Нейтральная стратегия кореферентного опущения при глаголе ‘хотеть’ распространяется не на любые актанты вставленного глагола, а только на ядерные. Например, двухместные непереходные глаголы допускают кореферентное сокращение только абсолютивного актанта:

- (20) a. w=ez [∇ tow-mu-Xur uř'a-s]
 I=я_i+DAT ∇_i , I+NOM он-OBL-COMPAR I+проигрывать-INF
 L'an-ši w=i-t'u.
 хотеть-GER I=быть+PRES+NEG
 Я не хочу ему проиграть.
- b. w=ez [tow za-Xur uř'a-s]
 I=я_i+DAT он,I+NOM я+OBL-COMPAR I+проигрывать-INF
 L'an-ši w = i-t'u.
 хотеть-GER I=быть+PRES+NEG
 Я не хочу, чтобы он мне проиграл.

В (20a) кореферентный Абсолютив однозначно восстанавливается, в то время как периферийный актант в (20б) не может быть так же безболезненно опущен – в таком случае предложение будет значить ‘Я не хочу, чтобы он проиграл’ без конкретного указания на второго участника ситуации.

Данный тест показывает, что второй актант агентивного составного глагола также не является ядерным:

- (21) a. ez [∇ tow-mu-ři-k sog.a-s]
 IV+я_i+DAT ∇_i , I+ERG он-OBL-SUPER-LAT IV+ругать-INF
 L'an-ši i-t'u.
 хотеть-GER IV+быть+PRES+NEG
 Я не хочу его ругать.
- b. ez [tow-mu ?? ∇ / __ sog.a-s]
 IV+я+DAT он-OBL+ERG $\nabla_{j|i}$ +SUPER-LAT/__ IV+ругать-INF
 L'an-ši i-t'u.
 хотеть-GER IV+быть+PRES -NEG
 Я не хочу, чтобы он ругал ?кого-то / ??меня. // Я не хочу, чтобы он ругался.

Если (21a) имеет регулярную интерпретацию с кореферентностью Агента вставленной

предикации актанту главного глагола, то (21б) естественно понимается как предложение с неспецифицированным периферийным актантом.

Интересно, как в этом контексте проявляет себя Адресат трехместного глагола.

- (22) *ez* [tow-mu * ∇ / __ q'onq' Lo-s]
IV+я_i+DAT он-OBL+ERG ∇_i + DAT/__ книга.IV+NOM IV+давать+PF-INF
L'an-ši i.
хотеть-GER IV+быть+PRES
*Я хочу, чтобы он дал *меня* книгу. / ^{ок}Я хочу, чтобы он отдал книгу.

Предложение (22) имеет только некореферентную интерпретацию, то есть его значение не указывает на наличие в инфинитивном обороте анафорически опущенного Адресата. Это значит, что Адресат при трехместных глаголах является периферийным актантом. В то же время данный контекст помогает признать ядерным посессорный актант в посессивной конструкции⁶¹:

- (23) *b=ez* [∇ labXanši lo-bur be = ke-s]
Ipl=я_i+DAT ∇_i .I+GEN много ребенок-PL+NOM Ipl=быть+INF
L'an-ši b=i.
хотеть-GER Ipl=быть+PRES
Я хочу, чтобы у *меня* было много детей.

Что касается аффективных глаголов, то при некоторых главных глаголах их поведение отличается от прочих типов вставленных предикатов. Так, например, фазовый глагол 'начинать' имеет при себе именной актант в номинативе, который должен быть кореферентен одному из актантов вставленного инфинитивного оборота:

- (24) a. moHammad [∇ noL' a-s]
Магомед_i.I+NOM ∇_i +ERG дом+IV+NOM IV+строить-INF
beje=w=̄l-u.
I=начинать-PF
Магомед начал строить дом.
b. тог [dija-mu ∇ d=irku-s] beje=r=̄l-u.
она_i.II + NOM отец-ERG ∇_i .II + NOM II=искать-INF II=начинать-PF
Она начала разыскиваться отцом.
v. adam-til [∇ qebu-s] beje=b=̄l-u.
человек_i.PL+NOM ∇_i +PL+NOM танцевать-INF Ipl=начинать-PF
Люди начали танцевать.

В (24а) это Агентив, а в (24б) – Абсолютив переходного глагола во вставленном инфинитивном обороте. В (24в) кореферентен единственный актант непереходного глагола. Однако аффективный глагол невозможен в этой позиции независимо от типа кореферентности:

- (25) a. *ušdu [∇ tor d=aču-s] beje=w=̄l-u.
брать_i.I+NOM ∇_i +DAT она.II+NOM II=видеть-INF I=начинать-PF
Брат начал ее видеть.
b. *tor [uš-mu-s ∇ d=aču-s] beje=r=̄l-u.
она_i.II+NOM брат-DAT ∇_i .II+NOM II=видеть-INF II=начинать-PF
Она начала видеться брату.

Таким образом, в контексте главного глагола 'начинать' переходный и непереходный глаголы противопоставлены аффективному глаголу⁶².

⁶¹ Это обстоятельство ставит вопрос о двухъядерности посессивной конструкции, наряду с агентивной и аффективной. Однако семантическая специфика этой конструкции делает затруднительной проверку ее на двухъядерность в других синтаксических контекстах (например, в контексте рефлексивизации).

⁶² Не исключено, что при глаголе 'начинать' имеет место запрет на вставление статив-

3.6. Контекст релятивизации

Вершина относительного предложения получает причастнуюreprезентацию, а ИГ, являющаяся мишенью релятивизации, опускается. В арчинском языке относительное предложение не имеет ограничений на мишень релятивизации. Ею могут быть любые актанты глагола (ядерные и периферийные), обстоятельства, посессоры в составе ИГ и даже именные группы в составе предикаций, вставленной в относительное предложение.

- (26) a. wa-s sin-t'u-ra išik [[∇_i] +NOM ∇_j +IN+ESS
 ты+OBL-DAT знать-NEG-INTERR здесь ∇_i , I+NOM ∇_j +IN+ESS
 w=irX, mu-s] bošor k, at'-du-t] biq'?
 I=работать-INF мужчина_i, I+NOM нужно-ATTR-IV место_j, IV+NOM
 Ты не знаешь ли здесь место, где чтобы работать нужен мужчина? (T3: 38)
- b. os lo e=r=di Ranak lap mu-tu=r,
 один девушка_i, II+NOM II=быть+PAST наверху очень красивый-ATTR=II
 [∇_i ∇ c'ab-u-tu=t] īan
 ∇_i +ERG ∇_j +NOM пить-PF-ATTR=IV вода_j, IV+NOM
 ∇ hanq'-a-Xut aku-r-tu=r].
 ∇_i -GEN горло-OBL.IN-TRANS IV+видеть-IPF-ATTR=II
 Жила там наверху одна девушка очень красивая, (такая, что) через (ее) горло
 была видна выпитая (сю) вода. (T1: 6).

В (26a) вершина относительного предложения – *biq'* ‘место’, а мишенью релятивизации является обстоятельство в составе инфинитивного оборота, вставленного в относительное предложение. В (26b) относительное предложение *c'abitut īan hanq'aXut akurīur* находится в позиции именного сказуемого, согласуемого с именным актантом ‘девушка’ (вершина относительного предложения – причастие *akurtur* – согласуется по II классу своим суффиксальным показателем). Мишенью релятивизации в относительном предложении является посессор при существительном ‘горло’ (‘горло девушки’). В данном относительном предложении имеется еще одно вставленное предложение *c'abitut īan*, в котором также имеется кореферентная ИГ ‘девушка’.

Таким образом, релятивизация не позволяет различить синтаксические классы именных групп⁶³.

3.7. Контекст деепричастного оборота и сочинения предикаций

В арчинском языке сочинение предикаций оформляется деепричастным оборотом или соположением двух финитных предложений. Сокращение кореферентных ИГ в обоих случаях не ограничено синтаксическим типом как сокращаемой, так и контролирующей сокращение ИГ.

- (27) a. nep, [∇ oq|a-li,] haž a=b=u.
 мы,+ERG ∇_i +NOM i/IIpl.идти+PF-GER хадж.III+NOM III=делать-PF
 Мы, пойдя, сделали хадж.

ногого глагола, не допускающего начинательной интерпретации. Вообще в дагестанских языках глаголы, требующие сентенциальных актантов, характеризуются различными схемами оформления кореферентности в зависимости от семантики главного глагола, см., в частности, подробное описание цахурских конструкций с сентенциальными актантами [Лютикова, Бонч-Осмоловская 1999].

⁶³ Примечательно, что возможна релятивизация и без кореферентной ИГ:

- (i) Hawan b=uL'-u-tu=aL' Lo-t'u.
 баран.III+NOM III=резать-PF-ATTR=IV мясо.IV+NOM IV+давать+PF-NEG
 Мяса зарезанного барана не дали. (T30: 48)
- Здесь причастный оборот занимает актантную позицию посессора при имени *aL'* ‘мясо’.

6. 0 b=ert'in c'aj,
ты+ERG III=привязывать+IMP коза_i,III+NOM
[∇ b = ułmu-s-t'u-ši].
 ∇_i +NOM III=убегать-INF-NEG-GER
Привяжи козу, чтобы не убежала [букв. не убежавши].
- b. [adam-čaj ∇ c,a-s-ši,]
человек-OBLpl+ERG ∇_i +NOM I+хвалить-INF-GER
0 w=irX in.
ты_i,I+NOM I=работать+IMP
Работай, чтобы люди (тебя) хвалили.

В (27) одна из предикаций оформлена как деепричастный оборот. В (27а) А-актант, а в (27б) Р-актант главного предложения кореферентен S-актанту деепричастного оборота⁶⁴. В (26в) S-актант главного предложения кореферентен Р-актанту деепричастного оборота.

Рассмотрим несколько текстовых примеров.

- (28) jamu=r laha-n, [∇ ∇ d=os-o-li,]
этот-II девочка.II_j+OBL-GEN ∇_j +ERG ∇_i ,II+NOM II=хватать-PF-GER
mutaʃalim-til-čaj sot-or
ученик_j,муллы-PL-OBLpl+ERG бусы-PL+NOM
at'-u-li, [∇ ∇ inžit.a=r=u-li,]
III/IVpl+срывать-PL-EVID ∇_j +ERG ∇_i +NOM II=издеваться-PF-EVID
[∇ ∇ ʃazab.L-o-li].
 ∇_j +ERG ∇_i +DAT мучить-PF-EVID
У этой девочки, схватив (ее), бусы с груди сорвали ученики муллы, издевались (над ней), мучили (ее). (T4: 7)

В (28) в главном предложении имеются две ИГ, контролирующие сочинительное сокращение: 'девочка' (периферийный актант, являющийся посессором в генитиве, зависящим от ИГ 'бусы') и 'ученики муллы' (А-актант). В деепричастном обороте *d = os-o-li* 'схватив' и в последующей сочиненной предикации *inžit a = r = u-li* 'издевались' сокращены А- и Р-актанты, в последней предикации – ИГ в эргативе и в дативе.

- (29) a. buwa-dija-me-n ... lur-če-s ākon
мать-отец_i-OBLpl-GEN глаз-OBLpl-DAT свет.IV+NOM
oXa-li, [∇ бес
IV+уносить+PF-EVID ∇_i ,I/IIpl+NOM слепой
e=b=i=li,] [[∇ lo
I/IIpl=становиться+PF-EVID ∇_i +DAT дочь.II+NOM
dāz.e=r=X-ō-t'u-ši,] ∇ bazar e=b=ti-li]...
II=находить-PF-NEG-GER ∇_i +NOM скучать I/IIpl=стать+PF-EVID
У матери-отца... из глаз свет унесло, ослепли, не находя дочери, начали скучать... (T4: 39)
- b. [∇ q at'i-li-ti-k lut.o=b=q|a-li,]
 ∇_i +GEN дерево-OBL-SUPER-LAT III=глядеть+PF-GER
q at'i-li-t lo d=āk-u-li
дерево-OBL-SUPER-ESS девушка.II+NOM II=видеть-PF-EVID
jamum-mu-s.
он_i-OBL-DAT
На дерево взглянув, он увидел на дереве девушку. (T4: 26)

⁶⁴ Причинное значение обусловлено формой инфинитива, от которой образовано деепричастие.

В (29а) антецедентом сокращенных ИГ является генитивная ИГ с периферийным синтаксическим статусом, сокращаются ИГ в позиции S-актанта ('ослепли', 'начали скучать') и в роли Экспериенцера (*lo dāz-er Xōt' uši* 'не находя дочери'). В (29б) экспериенциальная ИГ в дативе (*jatitmus* 'он') является контроллером кореферентного сокращения в предшествующем деепричастном обороте генитивной экспериенциальной ИГ.

В дискурсе часто антецедент сокращенных ИГ восстанавливается по широкому pragматическому контексту. Например:

- (30) "w=aXa", bo-li. o=w=X-u-li.
 I=ложиться+IMP говорить+PF-EVID I=ложиться-PF-EVID
 ſon-ni-či-š ſat-u o=b=L-ni-li,
 спина-OBL-SUPER-EL полоска.кожи.III+NOM-и III=вынимать-PF-GER
 jamu k',a-li.
 этот I+умирать+PF-EVID
 один

"Ложись", – сказал (тот мужик). (Тот парень) лег. (Этот мужик у того парня) вынул из спины полоску кожи, и он (парень) умер. (T2: 26–28).

Итак, сокращение кореферентных ИГ в последовательности предикаций не чувствительно к их синтаксическому статусу и поэтому не диагностично для их разграничения.

3.8. Контекст рефлексивизации

В арчинском языке различается актантная и посессивная рефлексивизация.

3.8.1. Актантная рефлексивизация

В ситуации кореферентности S/A-актанты имеют приоритет над периферийным и P-актантом и контролируют рефлексивизацию⁶⁵.

- (31) a. *tow-mu* inž-a=w c,a-r-ši w=i.
 он_i+OBL+ERG LOG_i+NOM-EMPH=I I+хвалить-IPR-GER I=быть+PRES
 Он хвалит себя.
 b. **tow* žu=w=u c,a-r-ši w=i.
 он_i+NOM LOG_i+ERG-EMPH=I I+хвалить-IPR-GER I=быть+PRES
 Он хвалит себя.
 (32) a. *tow* žu-či-k-ej=wu so=w=k-u.
 он_i,I+NOM LOG_i+OBL-SUPER-LAT-EMPH=I I=смотреть-PF
 Он посмотрел на себя.
 b. **tow-mu-či-k* inž-a=w so=w=k-u.
 он_i+OBL-SUPER-LAT LOG_i+NOM-EMPH=I I=смотреть-PF
 Он посмотрел на себя.

В (31а) контролирует рефлексивизацию А-актант, в (32а) – S-актант, в то время как P-актант в (31б) и периферийный актант в (32б) в позиции контролера приводят к неграмматичности предложения.

Аналогичная ситуация имеет место при экспериенциальных глаголах с номинативным и генитивным экспериенцером:

- (33) a. *tow* žu-či-k-ej=wu wiX.
 он_i,I+NOM LOG_i+OBL-SUPER+ESS-EMPH=I верить
 Он в себя верит.
 b. **tow-mu-či-k* inž-a=w wiX.
 он_i-OBL-SUPER+ESS LOG_i+NOM-EMPH=I верить
 Он в себя верит.

⁶⁵ Возвратность выражается при помощи логофорического местоимения *inž* 'он' в сочетании с усилительной частицей *-a=u* // *-ej=u* со значением 'именно', изменяющейся по классу-числу.

- (34) a. *tow-mu-n* ŷu-t-e=j=t'u
 он_i-OBL-GEN LOG_i+OBL-SUPER+ESS-EMPH=IV
 ik'.os-di-li i.
 IV+уверен-PF-GER IV+быть+PRES
 Он в себе уверен.
- b. **tow-mu-t* ŷu-n=t'u
 он_i+OBL-SUPER+ESS LOG_i+OBL-GEN-EMPH=IV
 ik'.os-di-li i.
 IV+уверен-PF-GER IV+быть+PRES
 Он в себе уверен.

Контекст рефлексивизации интерпретирует Экспериенцер (в номинативе и генитиве) как S-актант (отмечу, что в этом контексте S/P-позиции формально не различаются). Аналогичным образом Адресат трехместного глагола не может быть контролером рефлексивизации.

На этом фоне особого внимания заслуживает тот факт, что при аффективном глаголе ни один из актантов не имеет приоритета.

- (35) a. *tow-mu-s* inž-a=w w=ak-u.
 он_i-OBL-DAT LOG_i+NOM-EMPH=I I=видеть+PF
 Он увидел себя.
- b. *to=w* ŷu-s-a=w w=ak-u.
 он_i+NOM LOG_{i/j}+OBL-DAT-EMPH=I I=видеть+PF
 Он увидел себя. // Он сам увидел *его*.

При аффективном глаголе контролировать рефлексивизацию может как Экспериенцер, так и Стимул. Как показывает (35б), во втором случае возможна также и некореферентная (в пределах данной предикации) интерпретация⁶⁶.

3.8.2. Посессивная рефлексивизация

Посессивная рефлексивизация имеет более широкий набор контролеров, в число которых входят любые ядерные актанты:

- (36) a. *tow-mu* ŷu-na=r=u īonnol a=r=č-u.
 он_i-OBL+ERG REFL_i+OBL-GEN=II жена.II+NOM II=убивать-PF
 Он убил свою жену.
- b. *tor* ŷe-na=w bošor-mu a=r=č-u.
 she_i+NOM REFL_i+OBL-GEN=I муж.I-OBL+ERG II=убивать-PF
 Ее убил ее муж.
- (37) a. *tow-mu-s* ŷu-na=r=u īonnol d=ak-u.
 он_i-OBL+DAT REFL_i+OBL-GEN=II жена.II+NOM II=видеть-PF
 Он увидел свою жену.
- b. *tor* ŷe-na=w bošor-mu-s d=ak-u.
 она_i+NOM REFL_i+OBL-GEN=I муж.I-OBL-DAT II=видеть-PF
 Ее увидел ее муж.

Оба актанта агентивного (см. (36)) и аффективного (см. (37)) глагола могут быть контролерами посессивной рефлексивизации.

Однако периферийные актанты не могут контролировать посессивную рефлексивизацию:

⁶⁶ Это связано с тем, что местоимение *inžaw* выполняет функции как возвратного, так и дистантивного анафорического местоимения. Это зафиксировано в ряде дагестанских языков (например, цахурском, багвалинском, см. [Лютикова 1997]).

- (38) a. *tow* žu-n-a=bu
он_i+NOM LOG_i+OBL-GEN-EMPH=Ipl
k'olma-ši w=i.
отдельно-GER I=быть+PRES
Он живет отдельно от своих родителей.
- b. **tow-mu-ti-š* žu-n-a=bu abaj
he_i-OBL-SUPER-EL LOG_i+OBL-GEN-EMPH=Ipl родители.Ipl+NOM
k'olma-ši b=i.
отдельно-GER I=быть+PRES
Его родители живут отдельно от него.
- (39) ?*tow-mu-s* žu-n-a=w dija-mu
он_i-OBL-DAT LOG_i+OBL-GEN-EMPH=I отец-OBL+ERG
q'onq' Lo.
книга.IV+NOM IV+давать+PF
Ему его отец дал книгу.

Ядерный актант непереходного глагола в (38a) контролирует рефлексивизацию, а периферийный к этому не способен, см. (38b). Аналогичным образом Адресат трехместного глагола не может контролировать посессивную рефлексивизацию.

Итак, актантная рефлексивизация свидетельствует, что при аффективных глаголах оба актанта являются ядерными и идентифицируются с А-актантом. Посессивная рефлексивизация подтверждает ядерность обоих актантов аффективного глагола и одноядерность всех прочих неагентивных глаголов.

3.9. Контекст номинализации

При номинализации (так называемый масдарный оборот) актантная структура предикации сохраняется.

- (40) a. *w=ez* sini up w=rX_e-mul.
I=я+DAT знать ты.I+NOM I=работать-MASD
Я знаю, что *ты* работаешь.
- b. *ez* sini up za-t wiX-kul.
IV+я + DAT знать ты+NOM я+OBL-SUPER+ESS верить-MASD
Я знаю, что *ты* в меня веришь.

Единственное исключение касается масдаров, образованных от стативных и так называемых *bos'*овых⁶⁷ глаголов, если при этом глаголе имеется только один актант. В таком случае этот актант оформляется генитивом:

- (40) a. *jo=w* laha-n tuX-kul
этот=I парень.I+OBL-GEN стесняться-MASD.IV+NOM
ak'-u-ra?
IV+видеть-PF-INTERR
Видишь ли робость этого *парня*?
- b. *dušman-ni-n* t'ibir-kul el k_aat'-t'u.
враг-OBL-GEN жалость-MASD.IV+NOM IV+мы+DAT нужно-NEG
Жалость *врага* нам не нужна.
- b. *ez* ko-r-ši i dogi-li-n
IV+я+DAT IV+слышать-IPF-GER IV+быть+PRES осел-OBL-GEN
hol'-t'i.
кричать-MASD
Я слышу *ослины* крик [букв. ослиное кричание].

⁶⁷ Составные глаголы со спрягаемой частью – глаголом *bos* ‘говорить’. Существенно, что *bos'*овые глаголы не имеют позиций для согласования по классам. *bos'*овые глаголы образуют масдар с помощью специального суффикса *-ti*.

В (41а) единственный актант стативного глагола ‘быть робким’ стоит в генитиве, в отличие от (40а) с единственным актантом динамического глагола ‘работать’ В (41б) стативный глагол *t'ibir* является двухместным ‘жалеть (кто: DAT; кого: NOM)’, но в масдарном обороте присутствует только один (экспериенциальный) актант, оформленный генитивом. В (41в) представлен масдар от глагола *ho['-bos* ‘кричать (об осле)’.

Возможно, допустимость генитива при стативных и *bos*’овых глаголах связана с отсутствием у них классно-числового согласования. Поэтому утрата существительным номинатива не создает согласовательной проблемы: считать ли генитивную ИГ контролером согласования или не считать. В первом случае это была бы уникальная ситуация, когда косвенный падеж контролирует согласование⁶⁸, во втором – не было бы контролера согласования. Ограниченностю одним актантом связана с тем, что при прототипическом существительном в арчинском языке имеется только один генитив.

Учитывая ограниченность генитива при масдаре, следует считать, что только такие масдари, которые допускают генитивное оформление своего актанта, получают синтаксический статус полноценного существительного.

Что касается ролевых свойств примасдарного генитива, то им обычно являются пациентивные S-актанты, а канонические А/Р-актанты такого оформления не допускают (они несовместимы со стативными глаголами). Вместе с тем, как показывает пример (41б), Экспериенцер двухместного (стативного) глагола может получать показатель генитива при масдаре.

3.10. Выводы

Какие обобщения можно сделать из рассмотренного материала? В о - п е р в ы х, следует признать, что в отличие от языков, в которых S/A/P-позиции коррелируют с синтаксическими функциями (подлежащее vs. дополнение), в арчинском языке многие традиционно диагностичные синтаксические контексты являются н е р е л е - в а н т н ы м и для различия S / A / P - актантов⁶⁹. Это контекст релятивизации, сочинения предикаций и посессивной рефлексивизации. В этих контекстах все глагольные аргументы ведут себя одинаковым образом. К этому же классу синтаксических явлений относятся залоговые преобразования, ввиду их знакового отсутствия⁷⁰.

В о - в т о р ы х, имеются контексты (к ним относятся, в частности, посессивная рефлексивизация и, за некоторыми исключениями, конструкция с сентенциальным актантом), которые о г р а н и ч е ны я д е р н ы ми актантами⁷¹ и обладают в этом отношении хорошей диагностирующей силой, позволяя отличать ядерные актанты от неядерных. На их основании можно сделать вывод, что двухъядерными являются каноническая переходная конструкция, конструкция с составным агентивным глаголом (синтаксически приравненная к первой), а также аффективная и посессивная конструкции. Некоторый промежуточный статус имеют экспериенциальные составные глаголы с генитивным Экспериенцером. Все остальные предикатно-актантные структуры являются непереходными с единственным ядерным S-актантом.

В - т р е т ь и х, имеется ряд синтаксических контекстов, в которых отмечается противопоставление S / A / P - актантов. Это следующие контексты: биноминативная конструкция, каузативная деривация, Р-лабильность, номинализация,

⁶⁸ Такая возможность реализована в цахурском языке [Кибрик 1999: 365], т.е. согласование зависит от гиперроли Абсолютива, а не от падежной формы имени-контролера.

⁶⁹ Т.е. в этом случае синтаксически реализуется нейтральная схема.

⁷⁰ Как указывалось выше, отсутствие залогов не есть случайная лакуна в системе арчинского языка. Диатезные преобразования предполагают ролевую десемантизацию синтаксических маркеров именных групп, что находится в противоречии с базисными принципами арчинского ролевого кодирования в соответствии с эргативной схемой.

⁷¹ Ядерные актанты на синтаксическом уровне опять же реализуют нейтральную схему.

Таблица 3

S/A/P-актанты и актанты аффективных глаголов

Синтаксический контекст	Переходные и непереходные глаголы	Аффективные глаголы
Биноминативная конструкция	$(A + P) \neq S$	$(EX + ST) = S$
Каузативизация	$(A + P) \neq S$	$(EX + ST) = S$
Лабильность	$A \neq (P = S)$	$EX, ST \neq A, P, S$
Номинализация	$A, P \neq S$	$EX = S$
Актантная рефлексивизация	$(A = S) \neq P$	$EX, ST = S, A$
Сентенциальный актант при глаголе 'начинать'	$A = S = P$	$EX, ST \neq A, P, S$

актантная рефлексивизация. В этих диагностических контекстах представлены различные схемы противопоставления прототипических S/A/P-актантов (см. ниже). При этом замечательным образом оказывается, что во всех этих диагностических контекстах аффективные глаголы ведут себя иначе, нежели прототипические переходные и непереходные глаголы.

В - ч е т в е р т ы х , сентенциальный актант при главном глаголе типа 'начинать' противопоставляет прототипические ядерные S/A/P-актанты ядерным актантам аффективных глаголов.

Суммарно отличия в синтаксическом поведении регулярных (переходных и непереходных) и аффективных глаголов представлены в Таблице 3⁷².

Два контекста – б и н о м и н а т и в н а я к о н с т r u к ц и я и к а у з а т и v i z a ц и я – противопоставляют переходные глаголы непереходным. Биноминативная конструкция возможна только при переходном глаголе, а каузативизация возможна только от непереходного глагола. Аффективные глаголы в этих контекстах ведут себя как непереходные глаголы (не допускают биноминативной конструкции, но доступны каузативизации). Тем самым, Экспериенцер синтаксически не отождествляется с A-актантом: и Экспериенцер, и Стимул ведут себя как ядерный (S-)актант непереходного глагола.

В арчинском языке л а б и л ь н о с т ь возможна у глаголов с пациентным ядром, допускающих агентивное расширение (Р-лабильность со структурным отождествлением Р- и S-актантов, противопоставляемых A-актанту в переходной реализации). Экспериенциальные глаголы не имеют лабильных аналогов, т.е. не отождествляют Стимул с Пациенсом, а Экспериенцер с Агенсом.

В контексте н о м и н а л и з а ц и и только подкласс непереходных глаголов допускает оформление S-актанта генитивом. Аффективные глаголы при определенных условиях допускают кодирование Экспериенцера генитивом, т.е. отождествляют его с S-актантом.

А к т а н т н а я р е ф л е к с и в i z a ц i я регулярных глаголов аккузативно ориентирована⁷³ (контролером рефлексивизации может быть только S/A-актант). Аффективные глаголы допускают как экспериенциальный, так и стимульный контроль рефлексивизации, то есть оба актанта ведут себя как S/A-актант.

Наконец, в составе с e n t e n c i a l n o g o а k t a n t a глагола 'начинать' актанты регулярных глаголов ведут себя нейтрально, а аффективные вообще

⁷² Формула $X + Y$ означает 'конструкция с актантами X и Y'; X, Y означает 'X и Y'; $X = Y$ означает актант(ы) или конструкция X ведут себя в данном контексте так же, как актант(ы) или конструкция Y'; $X \neq Y$ означает 'актант(ы) или конструкция X ведут себя в данном контексте иначе, чем актант(ы) или конструкция Y'.

⁷³ Это, пожалуй, единственное проявление синтаксической аккузативности в арчинском языке.

невозможны в этом контексте, то есть не идентифицируются ни с каким из S/A/P-актантов регулярных глаголов.

Таким образом, во всех контекстах, в которых имеются ограничения в терминах S/A/P-актантов, поведение актантов аффективных глаголов невозможно описать в тех же терминах.

4. Заключение

Итак, рассмотрение арчинского материала приводит нас к парадоксальному выводу. Сперва было показано, что на морфологическом уровне A/P-отношения регулярно отражаются в падежном кодировании агентивно-пациентных глаголов, а многоместные глаголы с особыми ролевыми характеристиками актантов имеют особые средства актантного кодирования. Аффективные глаголы идентифицируют Стимул как S/P-актант с точки зрения падежа и контроля над глагольным согласованием, а интерпретация Экспериенцера на морфологическом уровне оставалась затруднительной. Было неясно, является ли Экспериенцер неканоническим A-актантом переходного глагола или периферийным актантом непереходного глагола.

Далее обнаружилось, что на синтаксическом уровне также затруднительно последовательно идентифицировать актанты аффективных глаголов в терминах A/P-отношений переходного глагола. А именно, на основе синтаксических тестов нельзя отождествить экспериенциальный и стимульный актанты ни с A-, ни с P-отношениями. Поэтому нет оснований, в частности, считать, что Экспериенцер является неканоническим A-актантом, так как это не поддерживается ни морфологическими, ни синтаксическими данными. В то же время, нельзя, следуя морфологическому кодированию, признать аффективные глаголы непереходными с единственным ядерным актантом. Синтаксические свойства указывают на то, что аффективные глаголы относятся к двухъядерным с промежуточным статусом между регулярными переходными и непереходными глаголами.

Не меньшие трудности возникают при анализе посессивной конструкции в терминах переходного предложения, так как ни морфологические, ни синтаксические тесты также не дают свидетельств соотнесения посессора с A- или P-позициями.

Все остальные структуры относятся к непереходным с каноническим S-актантом (который оформляется номинативом).

О чем свидетельствуют сформулированные выводы в отношении проблемы (не)канонического кодирования? Они лишний раз подтверждают вывод, что теоретические понятия, сформулированные для языков с синтаксическими отношениями и хорошо там себя зарекомендовавшие, неприменимы к языкам без синтаксических отношений. Оппозиция канонического/неканонического кодирования предполагает универсальность единой обобщенной синтаксической схемы распределения именных групп по синтаксическим позициям (подлежащее, дополнение), которая может быть на поверхностном морфологическом уровне расщеплена в виде канонических и неканонических реализаций. Если же такой универсальной схемы нет и языки могут без нее обходиться, то в такого рода языках противопоставления канонического и неканонического кодирования не существует.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

- Елисеев Ю.С. 1993 – Финский язык // Языки мира. Уральские языки. М., 1993.
- Кибрек А.Е. 1975 – Номинативная/эрративная конструкция и логическое ударение в арчинском языке // Исследования по структурной и прикладной лингвистике. М., 1975.
- Кибрек А.Е. 1977 – Опыт структурного описания арчинского языка. Т. 2. Таксономическая грамматика. М., 1977.
- Кибрек А.Е. 1979 – Материалы к типологии эргативности: 1. Арчинский язык // Предварительные публикации ИРЯ АН СССР. Вып. 126. М., 1979.

- Кибрик А.Е.* 1992 – Подлежащее и проблема универсальной модели языка // А.Е. Кибрик. Очерки по общим и прикладным вопросам языкоznания. М., 1992.
- Кибрик А.Е.* 1999 – Согласование // Элементы цахурского языка в типологическом освещении. М., 1999.
- Кибрик А.Е., Кодзасов С.В., Оловянникова И.П., Самедов Д.С.* 1977 – Арчинский язык: Тексты и словари. М., 1977.
- Лютикова Е.А.* 1977 – Рефлексивы и эмфаза // ВЯ. 1997. № 6.
- Лютикова Е.А., Бонч-Осмоловская А.А.* 1999 – Актантные предложения // Элементы цахурского языка в типологическом освещении. М., 1999.
- Савельева Л.В.* 1965 – Язык гуджарати. М., 1965.
- Croft W.* 1991 – Syntactic categories and grammatical relations: The cognitive organisation of information. Chicago, 1991.
- Dixon R.M.W., Aikhenvald A.Y.* 2000 – Introduction // Dixon R.M.W., Aikhenvald A.Y. (Eds.) Changing valency. Cambridge, 2000.
- Dixon R.M.W., Aikhenvald A.Y., Onishi M. (Eds.)* in press – Non-canonical marking of subjects and objects. Amsterdam.
- Givón T.* 1994 – The pragmatics of the transitive voice: Functional and typological aspects of inversion // Givón T. (Ed.). Voice and inversion. Amsterdam, 1994.
- Hopper P., Thompson S.* 1980 – Transitivity in grammar and discourse // Lg. 1980. 56.
- Kibrik Andrej A.* 1996 – Transitivity in lexicon and grammar // Kibrik A.E. (Ed.) Godoberi. München; Newcastle, 1996.
- Kibrik A.E.* 1979 – Canonical ergativity and Daghestan languages // Plank F. (Ed.). Ergativity: towards a theory of grammatical relations. London, 1979.
- Kibrik A.E.* 1994 – Archi // Smeets R. (Ed.) The indigenous languages of the Caucasus. V. 4. Pt. 2. Delmar; New York, 1994.
- Kibrik A.E.* 1997 – Beyond subject and object: Toward a comprehensive relational typology // Linguistic typology. 1. 1997.
- Kibrik A.E.* 1998 – Archi // Spencer A., Zwicky A.M. (Eds.) The handbook of morphology. Oxford, 1998.
- Masika C.P.* 1976 – Defining a linguistic area: South Asia. Chicago, 1976.
- Payne Th.* 1999 – A functional typology of inverse constructions // Типология и теория языка: от описания к объяснению / Под ред. Рахилиной Е.В. и Тестельца Я.Г. М., 1999.

ВОПРОСЫ ЯЗЫКОЗНАНИЯ

№ 5

2000

© 2000 г. Т.А. МАЙСАК, С.Г. ТАТЕВОСОВ

ПРОСТРАНСТВО ГОВОРЯЩЕГО В КАТЕГОРИЯХ ГРАММАТИКИ, или Чего нельзя сказать о себе самом*

1. ОГРАНИЧЕННОСТЬ РЕФЛЕКСИИ ГОВОРЯЩЕГО: ОТ МЕТАФИЗИКИ К ЛИНГВИСТИКЕ

П. Рикер обратил внимание на следующую проблему:

(...) самый упрямый парадокс возникает при попытке приписать "я" – используемому, – то есть обозначающему *мое* неповторимое мировосприятие, – эпистемологический статус. Поскольку Ego говорящего не принадлежит к области содержания его высказываний, мы обязаны сказать вслед за Витгенштейном, что Ego как центр единичной перспективы мировосприятия задает границы мира, само не являясь частью его содержания. Иными словами, высказывание как акт можно считать событием, происходящим в мире, подобно тому как происходит мое хождение или смотрение. Но "я" говорящего не событие: нельзя сказать, что оно случается или происходит [Рикер 1989: 44–45].

Этот философский парадокс, который далее называется парадоксом ограничения рефлексии ("рефлексия" в данном случае – родовое понятие для различных типов отношения сознания к сущему), в конечном итоге сводится к вопросу о том, что происходит, когда в качестве объекта рефлексии индивид предстоит самому себе. Как в пространстве рефлексии размещается сама рефлексия? Может ли сознание создать такое же представление о себе, какое оно создает обо всех других вещах, или же то, что сознание принимает к рассмотрению, когда хочет познать себя, все-таки им самим не является? И кроме того: что сознание может сказать о себе самом – с-казать в смысле 'показать, сделать явным, дать явиться'? Что является, когда сознание пытается с-казать себя?

Для профессионального философа названные проблемы не являются ни новыми, ни необычными: подобные вопросы давно стали общим местом практически любого философского дискурса. Но может ли лингвистика узнать что-либо содержательное, рассуждая о парадоксе ограничения рефлексии? Рассмотрим (1) – (10):

- (1) *Я вчера сломал забор соседнего дома.*
- (2) *Помню, я вчера сломал забор соседнего дома.*
- (3) *Знаю: я вчера сломал забор соседнего дома.*
- (4) *Думаю, я вчера сломал забор соседнего дома.*
- (5) *Может быть, я вчера сломал забор соседнего дома.*
- (6) *Должно быть, я вчера сломал забор соседнего дома.*
- (7) *Я вижу, я вчера сломал забор соседнего дома.*
- (8) *Я слышал, я вчера сломал забор соседнего дома.*
- (9) *Говорят, я вчера сломал забор соседнего дома.*
- (10) *Оказывается, я вчера сломал забор соседнего дома.*

* Статья представляет собой уточненный и существенно расширенный вариант доклада авторов на конференции "Языки пространств" (Дубна, июнь 1997 года). Авторы выражают глубокую признательность Российскому гуманитарному научному фонду (грант № 98-04-06198) и Research Support Scheme (грант 1474/1999) за финансовую поддержку исследования.

Пример (1) представляет собой утвердительное индикативное предложение, возглавляемое предельным динамическим глаголом совершенного вида в прошедшем времени. Утверждая (1), говорящий сообщает, что в определенный момент прошлого имела место ситуация Р 'Х сломал забор' и что Х и говорящий – один и тот же индивид. (2) – (10) содержат, кроме этой, и некоторую дополнительную информацию. В (2) – (3) утверждается, что Р присутствует в фонде знаний/в памяти говорящего, а в (4) Р представлено как включенное в пространство его мыслей. В (5) – (6) говорящий рассматривает Р как одно из возможных, с его точки зрения, состояний мира в прошлом (или, в терминах модальной логики, – как ситуацию, принадлежащую некоторому возможному миру). В (7) говорящий сообщает, что текущее состояние мира позволяет ему утверждать, что Р имело место. В (8) – (9) утверждение о Р базируется на верbalном сообщении некоторого внешнего источника информации. Наконец, (10) предполагает, что Р в каком-то отношении не согласуется с ожиданиями говорящего.

Более пристальный взгляд на (1) – (10) обнаруживает в большинстве этих предложений семантическое ограничение, которое мы называем эффеクトом потери контrollа: (4) – (10), в отличие от (1) – (3), возможны, только если

⇒ в момент произнесения высказывания говорящий не имеет оснований утверждать, что он участвовал в описываемой ситуации Р и при этом полностью сознавал происходящее.

Действительно, в (8) – (9) говорящий узнает о ситуации, в которой сам участвовал, от третьего лица – точно так же он мог бы узнать о случившемся с кем-либо другим. В (10) знание о ситуации вступает в противоречие с прочими знаниями и ожиданиями говорящего: он или не ожидал, что Р имело место, или ожидал, что имело место не-Р. Предложение (7) уместно, например, в ситуации, когда говорящий, едучи накануне в полной темноте на машине, зацепил соседский забор, и не предполагая ничего дурного, проследовал дальше, а на следующее утро обнаружил, что забор обрушился. В (5) – (6) говорящий лишь предполагает (с разной степенью уверенности – большей в случае с *должно быть*, меньшей в случае с *может быть*), что описываемая ситуация имела место – ситуация, каузатором которой он является. Каждое из этих высказываний представляется осмысленным только в том случае, если говорящий участвовал в ситуации неосознанно – не обращал внимания на происходящее, находился в состоянии опьянения и т.п. – или если говорящий полностью забыл о ситуации, а затем осознал ее заново – наблюдая последствия прошедшего, слушая рассказ третьего лица или выдвигая различные гипотезы о состоянии мира в прошлом. В конечном итоге, заметим, существенно даже не то, воспринимал ли говорящий описываемую ситуацию в момент ее осуществления, а то, может ли он ответственно заявить, что воспринимал ситуацию в момент произнесения высказывания.

Высказывания (2) – (3) не допускают такой интерпретации, как (4) – (10): никакого повреждения сознания в этом случае не предполагается: перед нами говорящий, который полностью отдавал и отдает себе отчет в происходящем. Итак, если перевести формулировку проблемы ограничения рефлексии с языка метафизики на язык лингвистики, то мы должны ответить на следующий вопрос: какими языковыми механизмами обеспечивается и до какой степени ограниченной является когнитивная способность индивида к описанию событий, участником которых он является? И более частный вопрос: в чем разница между рефлексией типа 'я помню' и рефлексией типа 'я полагаю' или 'я вижу', почему только в первом, но не во втором случае мы имеем говорящего – сознательного участника ситуации?

2. ЭПИСТЕМИЧЕСКАЯ МОДАЛЬНОСТЬ, ЭВИДЕНЦИАЛЬНОСТЬ, АДМИРАТИВ: ПРЕДСТАВЛЕНИЕ РЕФЛЕКСИИ В ГРАММАТИКЕ

Понятие рефлексии, истолковываемое предельно широко, – любое отношение сознания к сущему является рефлексией, – имеет множество измерений, в частности, аксиологическое, эйдетическое и эпистемическое. В свете обсуждаемой проблемы

последнее представляет особый интерес: значения, выражаемые единицами, которые в примерах (2) – (10) выделены жирным шрифтом, относятся именно к разряду эпистемических. В русском языке, как показывают эти примеры, мы имеем лексические средства кодирования эпистемической информации – ментальные глаголы и глаголы чувственного восприятия, а также различные модальные и дискурсивные слова, – но во многих других языках для этой цели используются средства грамматические. К числу таких средств относятся в первую очередь грамматические категории, выражающие эпистемические значения – **эвиденциальность**, **адмиратив** и **эпистемическая модальность**. Исследование этих категорий, изучение их межъязыковой дистрибуции и универсальных семантических свойств дает ключ к ответу на сформулированные выше вопросы.

Категория **эвиденциальности**, или, в других терминах, **медиатива** выражает указание на источник информации, на которой основывается утверждение говорящего¹. Выделяются следующие базовые значения этой категории: "прямая засвидетельствованность" (говорящий утверждает истинность пропозиции на том основании, что он был непосредственным свидетелем описываемой ситуации) и "косвенная (непрямая) засвидетельствованность", или "заглазность" (ср. примеры (7) – (9) выше). Последнее подразделяется на "логическое умозаключение", или "инфэренциальность" (утверждение говорящего базируется не на непосредственном наблюдении, а на логическом выводе, ср. (7) выше) и "пересказывательность", или "репортаж" (называемый также "квотативом", "информацией из вторых рук" и т.п.); говорящий делает утверждение на основании информации, полученной от другого индивида, ср. (8) – (9) выше). Исследования в области грамматической типологии 80–90-х годов, в первую очередь [Chafe, Nichols 1986] и [Guentchéva 1996], существенно изменили представление о грамматическом выражении эвиденциальных значений как о редком и экзотическом явлении; выяснилось, что данная категория присутствует в грамматических системах значительного числа генетически и ареально независимых языков (кроме американских языков, в которых это явление было открыто и впервые описано, отметим indoевропейские – южнославянские, балтийские, иранские, армянский, албанский; тюркские, уральские, сино-тибетские, картвельские, тунгусо-маньчжурские).

Категория **адмиратив** сигнализирует, что информация об описываемой ситуации является новой для говорящего и что она не интегрирована в его картину мира, ср. (10). До недавнего времени большинство исследователей рассматривали адмиратив как частное значение категории эвиденциальности, однако в работах [DeLancey 1997; 1998] приводятся аргументы, в пользу того, чтобы считать адмиратив самостоятельной категорией, которая обладает собственным набором частных значений и собственным диапазоном употребления. С. Делэнси приводит несколько примеров грамматического выражения адмиратива – турецкий и корейские языки, языки санвар и тибетский (оба – тибето-бирманские), харе (атабаскский), калаша (дардский).

Категория **эпистемической модальности** выражает точку зрения говорящего на истинность пропозиции, или, в других терминах, оценку вероятности того, что ситуация имеет место в актуальном мире – ср. (5) – (6), а также, с некоторыми оговорками (4). Работы, посвященные модальности (в частности, эпистемической модальности), столь многочисленны, что с трудом поддаются даже простому перечислению².

¹ Термин **эвиденциальность** принят в англоязычной, а в последние годы также и в русскоязычной литературе – см. в первую очередь сборник [Chafe, Nichols 1986] и обобщающие статьи [Willett 1988] и [Козинцева 1994], из последних работ – [Haan 1998]. Термин **медиатив** был предложен Ж. Лазаром в [Lazard 1956] и используется во франкоязычной литературе, см. прежде всего [Guentchéva 1996].

² См., среди многих других, классическую работу [Palmer 1986], разделы, посвященные модальности, в [Bybee, Perkins, Pagliuca 1994] и сборник [Bybee, Fleishman 1995], а из исследований последнего времени – [Haan 1999]. Обширная библиография по типологии модальности приводится в [Auwera, Plungian 1998].

Существуют самые разнообразные точки зрения по вопросу о том, как соотносятся между собой данные три категории. Некоторые исследователи, например, подвергают сомнению статус адмиратива как самостоятельной категории (см. [Lazard 1999]). Долгое время продолжается дискуссия о соотношении эвиденциальности и эпистемической модальности: мнения варьируют в весьма широком диапазоне – от полного отождествления этих категорий до отрицания того, что они имеют хотя бы небольшую зону содержательного пересечения (см., в частности, обсуждение различных точек зрения в [Auwera, Plungian 1998; Haan 1998]. Оригинального подхода придерживается И.А. Мельчук [Мельчук 1998], который рассматривает адмиратив и "пробабилитив" (= эпистемическая возможность) как граммемы единой категории реактивности, выражающей ментальную реакцию говорящего на факт с точки зрения вероятности этого факта, и противопоставляет их собственно эвиденциальности, кодирующей информацию об источнике сведений об утверждаемом факте. Впрочем, все исследователи согласны, что рассматриваемые категории в конечном итоге указывают на эпистемическое пространство говорящего и тем самым относятся к эгоцентрическим элементам языка. (Свойства эгоцентрических элементов подробно охарактеризованы в монографии Е.А. Падучевой [Падучева 1996]. Ср. также в этой связи используемое Ю.Д. Апресяном [Апресян 1995: 644–647] понятие личной сферы говорящего и другие дейктические категории, широко обсуждаемые в последнее время.)

Для настоящего изложения существенно следующее типологически стабильное явление:

⇒ употребление показателей всех трех грамматических категорий сопровождается эффектом потери контроля, аналогичным тому, который представлен в примерах (4) – (10).

Далее мы обсудим это явление более подробно, опираясь, главным образом, на материал багвалинского (северокавказская семья) и мишарского диалекта татарского (тюркская семья) языков.

3. ЭФФЕКТ ПОТЕРИ КОНТРОЛЯ И КОСВЕННАЯ ЗАСВИДЕТЕЛЬСТВОВАННОСТЬ

Из семи русских предложений (4) – (10), в которых возникает эффект потери контроля, в трех – (7) – (9) – мы имеем дело со значениями из семантической зоны косвенной засвидетельствованности. Об употреблении показателей косвенной засвидетельствованности в предложениях, описывающих ситуации, в которых задействован говорящий, известно, что в подобных случаях выражается "косвенная эвиденциальность действия, совершающегося 1-м лицом" [Козинцева 1994: 100]. Рассмотрим более подробно семантические свойства "косвенной эвиденциальности действия", демонстрируемые примерами из багвалинского (11) и из мишарского диалекта татарского (12) языков:

(11) К(онтекст): Я вчера так напился, что ничего не помню. А сегодня мне рассказали, что я в пьяном виде вытворял.

den	toX ^h i	w-eli-w-o	ek.a,	hē	śi
я.ERG	лес-INTER	M-ходить-M-CONV	AUX.PRS	потом	медведь
k'ā- b- o ek'a.					

убивать-N-CONV AUX.PRS

Я{, оказывается,} пошел в лес, а потом {,оказывается,} убил медведя.

(12) К: Г(оворящий) ищет топор, чтобы отправиться в лес рубить дрова. "Кто взял топор?" – долго расспрашивает он домочадцев, но в конце концов обнаруживает топор в своей сумке. Г:

min	balta	al-gan-t ^m n.
я	топор	брать-PFCT-1SG
[Оказывается,} я взял топор!		

Как в татарском, так и в багвалинском языке грамматические категории, выражающие значение косвенной засвидетельствованности, по происхождению представляют собой глагольные формы перфекта. В багвалинском языке перфект является аналитической формой: он образуется от претериального деепричастия (показатель *b-o*) с помощью вспомогательного глагола *ek'a*. В татарском (и в литературном, и обсуждаемом в настоящей статье мишарском диалекте) перфект синтетический, его показатель – *gAn || kAn*.

В (11) – (12) все, что говорящий знает об описываемой ситуации в момент произнесения высказывания, – это знание *ex postfacto*. В одном случае – в (11) – говорящий получает это знание из верbalного сообщения третьих лиц, а в другом – в (12) – знание приобретается посредством логического вывода из наблюдаемого положения дел, которое является результатом описываемой ситуации: ситуация Q ‘топор лежит в моей сумке’ – результат ситуации Р ‘говорящий положил топор в сумку’, и, наблюдая Q, говорящий заключает, что имело место Р. Перед нами эффект бессознательного участия говорящего в описываемой ситуации.

В примерах (13) – (14) лакуна в знаниях говорящего не так велика, как в (11) – (12). (13) К: – Мы от нечего делать устроили состязание по киданию камней на дальность. Сперва Али бросил, затем я.

den	fali-ta-s	še	t'ani-b-o	ek'a.
я.ERG	Али-LOC-EL	вперед	бросать-N-CONV	AUX.PRS
Я{, как выяснилось} дальше [букв. вперед], чем Али бросил.				

(14) К₁: Даут, директор совхоза, выдает зарплату рабочим в запечатанном конверте. Г, зарплата которого составляет 200 рублей, придя домой распечатывает конверт и находит там сто рублей. Г:
 К₂: Г крайне нуждается в деньгах. Его приятель Даут, ничего не сказав, кладет ему под дверь конверт со 100 рублями. Г долгое время не знает, кто помог ему в трудную минуту, но в конце концов с помощью знакомых выясняет, что это был Даут. Г:
 daut miña jez sum bir-gän.
 Даут я.DAT сто рубль давать-PFCT
 1. Даут мне {оказывается,} сто рублей дал.
 2. {Оказывается, это} Даут мне сто рублей дал.

Такие предложения не предполагают, что ситуация целиком ускользнула от восприятия говорящего; опосредованно поступает информация лишь о некоторых ее аспектах – о других участниках, времени, месте и т.п. В (13), в частности, говорящий полностью отдает себе отчет в происходящем, неизвестным остается единственный параметр ситуации ‘бросать камень’ – дальность броска. Это предложение допустимо, например, если говорящий узнал результат состязания от судьи, который отправился к месту падения камней и определил победителя. Предложение (13) невозможно, если говорящий наблюдает за полетом камней и видит, что его камень упал дальше, чем камень Али. Предложение (14), в зависимости от контекста, допускает два прочтения, оба из которых предполагают, что говорящий полностью отдавал себе отчет в происходящем, получая деньги. В одном случае, однако, неизвестным остается размер полученной суммы, а в другом – личность дарителя. Недостающая информация либо выводится из наблюдаемого положения дел (в конверте имеется всего 100 рублей – в (14.1), либо извлекается из сообщения третьего лица, как в (14.2), и при

наличии контекста K_1 мы имеем инференциальное, а при наличии K_2 – репорттивное прочтение перфекта. Разновидность эффекта потери контроля, представленную примерами (13) – (14), можно назвать а постериорным распознаванием параметров ситуации.

Третью разновидность эффекта потери контроля демонстрируют примеры (15) – (16):

- (15) К: Г бросил свой кинжал в деревянный столб, а потом подобрал и увидел, что тот сломан. Г:

den	miča	qini-b-o	ek'a.
я.ERG	кинжал	ломать-N-CONV	AUX.PRS
{Я вижу,} я сломал кинжал			

- (16) К: Г и Закир дерутся. Г бьет Закира камнем по голове, тот падает и лежит без движения. Г шупает ему пульс и обнаруживает, что Закир мертв. Г:
- | | | |
|--------------------------|----------------------|------------------|
| min | zakir-p ^y | üter-gän-men. |
| я | Закир-ACC | убивать-PFCT-1SG |
| {Я вижу,} я убил Закира! | | |

В момент развертывания ситуации говорящему даны все ее конкретные параметры – участники, время, место и т.п., – однако результат и общий смысл случившегося проясняются лишь спустя некоторое время: в (16) выясняется, что драка завершилась убийством, а в (15) – чтобросок кинжала сделал его непригодным для дальнейшего использования. Интерпретация этого типа представляет собой а постериорную идентификацию ситуации.

Часто предложение допускает более одного прочтения. Например, (17.1) создает эффект бессознательного участия, а в (17.2) происходит апостериорное распознавание предмета, на который направлена деятельность:

- (17) den musa-b hūša b-eL'i-b-o ek'a.
я.ERG Муса-GEN.N поле N-пахать-N-CONV AUX.PRS
1. {Я вижу,} я поле Мусы вспахал! {А ведь ничего не помню! Совсем память отшибло.}
2. Я {, как обнаружилось,} поле Мусы вспахал {а думал, что это мое поле}.

Точно так же, (16) можно употребить, если говорящий совершил убийство в момент полного помрачения сознания, а позже узнал о содеянном (эффект бессознательного участия), а также если говорящий заложил бомбу в машину Зиннура, но вместо Зиннура подорвался Закир, о чем говорящий опять-таки узнал спустя какое-то время (эффект апостериорного распознавания параметров ситуации).

4. ЭФФЕКТ ПОТЕРИ КОНТРОЛЯ И АДМИРАТИВ

О поведении показателей адмиратива в предложениях с первым лицом известно значительно меньше (как, впрочем, и о других свойствах этих показателей). Однако уже из самого определения адмиратива следует, что ожидаемое значение предложений такого рода – ‘ситуация, участником которой был говорящий, не соответствует его ожиданиям и/или противоречит его картине мира’. С.Делэнси приводит следующие примеры из тибетского (18) и санвар (19):

- (18) nga-g deb de 'dug
я-LOC этот книга быть.ADM
У меня {, оказывается,} есть эта книга. [DeLancey 1998: 3]

- (19) go kathmandu-m 'baa-ti.
 я Катманду-LOC быть.ADM-1SG.PST
 Я {, оказывается,} находусь в Катманду. [DeLancey 1997: 42]

(18) уместно, если говорящий, который был уверен, что среди его книг нет той, о которой идет речь, неожиданно находит ее на своей книжной полке. Точно так же, (19) может произнести говорящий, который, заснув вечером в Орегоне, утром обнаруживает, что находится посреди оживленной улицы в Катманду и не понимает, как он там очутился.

Интерпретации (18) – (19) демонстрируют новую разновидность эффекта потери контроля – э ф ф е к т о б м а н у т ы х о ж и д а н и й: говорящий в полной мере воспринимает описываемую ситуацию ('у меня есть книга', 'я находусь в Катманду'), но происходящее полностью расходится с его представлениями о существующем порядке вещей и о том, какое место он сам занимает в этом порядке.

До сих пор остается неясным, как соотносятся адмиратив и эвиденциальность. Значения этих категорий характеризуют пропозицию по разным основаниям – 'источник информации' vs. 'ментальная реакция на восприятие информации', – и поэтому естественно ожидать, что их грамматическое кодирование осуществляется независимо друг от друга. Примером может служить ицаринский диалект даргинского языка, в котором адмиративное значение передается частицей-клитикой *-q'al*, а значение косвенной засвидетельствованности, как в багвалинском и татарском, выражает перфект. Ср. следующую минимальную пару:

- (20) К: Говорящий отправился на охоту первый раз в жизни. Внезапно он наткнулся на медведя, схватил ружье и выстрелил. Медведь заревел и убежал в лес, а позже говорящий нашел его тушу. Г (удивленно):

du-l	ka-b-iq-ub-li-da-q'al	šika!
я-ERG	PRF-N-убивать.PFV-PST-CONV-1.SG-ADM	медведь
{Надо же! Я вижу,} я убил медведя!		

- (21) К: Говорящий отправился на охоту первый раз в жизни. Внезапно он наткнулся на медведя, схватил ружье и выстрелил. Медведь рухнул на землю мертвый. Г (удивленно):

du-l	ka-b-iq-ub-da-q'al	šika!
я-ERG	PRF-N-убивать.PFV-PST-1.SG-ADM	медведь
{Надо же!} Я убил медведя!		

Перфект образуется от претериального деепричастия с помощью вспомогательного глагола в 3-м лице, и с помощью показателей личного согласования в 1-м (-da) и во 2-м (-di) лицах. Претериальное деепричастие, в свою очередь, образуется от претерита с помощью показателя -li. Претерит имеет окончание *ib* || *ub*; в 1-м и во 2-м лицах он присоединяет показатели личного согласования.

И в (20), и в (21) ситуация случилась неожиданно для говорящего: не питая иллюзий о своих способностях, он не предполагал, что убить внезапно появившегося медведя удастся с первого выстрела, и поэтому в обоих случаях употребляется адмиративный показатель. Однако в (20) этот показатель присоединяется к форме перфекта, и в дополнение к адмиративному прочтению предложения мы имеем инференциальное ('наблюдаю результирующее состояние 'медведь мертв' – прихожу к выводу, что я его убил'). В (20), тем самым, эффект обманутых ожиданий возникает одновременно с эффектом апостериорной идентификации ситуации. Форма претерита, употребленная в (21), не выражает никаких эвиденциальных значений, и именно здесь представлен адмиратив в чистом виде: говорящий ошеломлен, потрясен и как бы не вполне уверен, что все происходит наяву.

В значительном числе (вероятно, даже в большинстве) языков, однако, эвиден-

циальность и адмиратив взаимодействуют иначе, чем в даргинском: имеется единственная категория, которая выражает значение косвенной засвидетельствованности и, дополнительное, адмиративное значение. По мнению С.Делэнси [DeLancey 1998: 9], основная функция таких категорий – указывать на то, что знание об описываемой ситуации отклоняется от прототипического знания, т.е. от такого знания, которое, во-первых, говорящий почерпнул из своего непосредственного опыта и которое, во-вторых, полностью согласуется с прочими его знаниями о мире. Делэнси, однако, не говорит, каким оператором связаны, по его мнению, эти два условия – конъюнкцией или дизъюнкцией. Категория употребляется, когда знание об описываемой ситуации отклоняется от прототипа по общим параметрам или хотя бы по одному из них? Наблюдается ли здесь межъязыковое варьирование? Общего ответа на эти вопросы пока нет, однако наши данные указывают на то, что при семантическом конфликте эвиденциального и адмиративного значений побеждает первое. В багвалинском и татарском языках, обсуждавшихся выше, нет специальных средств выражения адмиративности, и это значение совместно со значением косвенной засвидетельствованности передает перфект. Ср. (22) из багвалинского, которое в точности соответствует (20) – (21) из даргинского, и (23) из татарского:

(22) $K_1 := (20)$

$K_2 = (21)$

den	śi	k'ā-b-o	ek'a.
я.ERG	медведь	убивать-N-CONV	AUX.PRS
{Надо же,} я медведя убил!			

(23) K_1 : Г стоит перед огромным вспаханным полем. Накануне он крепко выспал и ничего не помнит.

? K_2 : Г пашет огромное поле, будучи уверен, что управиться за день не удастся и что заканчивать придется на следующий день. К вечеру, однако, все поле вспахано. Г (удивленно):

min	bu	k'yt-py	sukala-gan	i-kän.
я	этот	поле-ACC	пахать-PFCT	AUX-PFCT

1. {Надо же, я вижу,} я вспахал это поле.

2. ??{Надо же,} я это поле {все-таки} вспахал.

Как показывают (22) – (23), употребление перфекта для выражения адмиративного значения в багвалинском и татарском языках возможно, только если описываемая ситуация является незасвидетельствованной (контексты K_1), и сомнительно в противном случае (контексты K_2).

Еще одна проблема, связанная с употреблением адмиративных категорий, – это проблема того, как говорящий получает знания об описываемой ситуации. И в (18), и в (19) изменение состояния знаний происходит мгновенно. С.Делэнси, к сожалению, ничего не говорит о том, возможно ли употребление адмиратива, если такое изменение происходит постепенно. Уместно ли, например, (19) в устах индивида, для которого побывать в Катманду было целью жизни и который никогда не верил в осуществление своей мечты, но неожиданно выиграл поездку в Непал в лотерею и вот, выйдя из самолета, восклицает – "Подумать только! Я в Катманду!"? В этом последнем случае ситуация 'находиться в Катманду' по-прежнему расходится с представлениями говорящего о естественном состоянии мира, но осознание этой ситуации, очевидно, достигается не скачкообразно, а постепенно: оно подготавливается последовательностью взаимосвязанных событий – от покупки билета на самолет до прохождения паспортного контроля в аэропорту непальской столицы.

Семантические характеристики ‘информация о ситуации Р противоречит представлениям/ожиданиям говорящего’ и ‘получение информации о Р – мгновенное событие’ являются логически независимыми, но при этом отчетливо коррелируют. Весьма примечательно, что примеры на адмиратив, цитируемые в литературе, описывают именно мгновенные, а не постепенные изменения состояния знаний говорящего, и можно предположить – хотя ни один автор не утверждает этого эксплицитно, – что указание на такую мгновенность является составной частью значения адмиратива и что в иных случаях адмиратив не употребляется. Ср. пример адмиратива в албанском языке, которым открывается очерк [Duchet, Rēmaska 1996: 145]:

- (24) *kjo qen-ka e vërtetë!*
это быть-ADM.PRS истинный
[Я этому не верил, а] это, оказывается, правда!

5. ЭФФЕКТ ПОТЕРИ КОНТРОЛЯ И ЭПИСТЕМИЧЕСКАЯ МОДАЛЬНОСТЬ

Эпистемическая модальность – категория, которая характеризует точку зрения говорящего на то, как описываемая ситуация соотносится с актуальным миром. Семантическую область эпистемической модальности можно представить как шкалу, крайние точки которой характеризуются эпистемической определенностью: ‘говорящий утверждает, что описываемая ситуация имеет место в актуальном мире’ (вероятность наличия ситуации равна 1; реальная модальность) vs. ‘говорящий утверждает, что описываемая ситуация отсутствует в актуальном мире’ (вероятность наличия ситуации равна 0, контрафактическая модальность). В промежутке расположены случаи, когда эпистемическая определенность отсутствует и говорящий допускает возможность – с большей или меньшей вероятностью – обеих альтернатив (гипотетическая модальность). (Мы придерживаемся точки зрения, согласно которой в сфере эпистемической модальности контраст возможности и долженствования отсутствует. Похожий взгляд на модальность излагает И.Б. Шатуновский [Шатуновский 1996: 173–178]. См. также [Akatsuka 1985: 625].)

Если в высказывании, выражающем гипотетическую модальность, описывается ситуация, в которую был вовлечен говорящий, это вновь вызывает эффект потери контроля. Такое высказывание сообщает, что факт участия говорящего в описываемой ситуации не является для него самоочевидным и подлежит эпистемической оценке. Например, русский модальный глагол *мочь*, который допускает, наряду с другими, и эпистемическое прочтение (‘возможно’), в (25) сигнализирует, что ‘я нахожусь в ванной’ – это лишь одно из возможных, с точки зрения говорящего, состояний мира в момент звонка.

- (25) – Почему ты не подходил к телефону?
– Я мог быть в ванной.

В сферу эпистемической оценки могут попадать различные аспекты ситуации, и это объединяет эпистемическую модальность с косвенной засвидетельствованностью. В (25) оценке подлежит ситуация в целом, и эта интерпретация в известном смысле параллельна интерпретации предложений (11) – (12), в которых наблюдался эффект бессознательного участия. В (26) из багвалинского языка сфера оценки уже:

- (26) K₁: Г участвует в массовой драке, которая происходит в полной темноте. Наутро выясняется, что драка завершилась гибелью одного из участников – Али, который к тому же является близким другом Г. Кто нанес Али смертельный удар, неизвестно. Г ошеломлен и потрясен:
K₂: Г и Али дерутся на ринге. Г бьет Али, тот падает и некоторое время лежит без движения. Его уносят. Г обеспокоен:

di-ba	ʃali	k'ā-rā	bažēri.
я.OBL-AFF	Али	убивать-INF	мочь
1. {Ведь это} я мог убить Али [=возможно, убил Али].			
2. {Я нанес такой сильный удар...} Я мог убить Али [=возможно, убил Али].			

В (26.1) эпистемической оценке подвергается не факт убийства, а лишь возможность того, что убийцей является говорящий; такая интерпретация похожа на эффект апостериорного распознавания в предложениях с показателями непрямой за-свидетельствованности (13), (14) и (17.2). В (26.2) оценке подвергается вероятность того, что случившееся – это убийство, и такая интерпретация соответствует эффекту апостериорной идентификации в предложениях (15) и (16). (Об ограничениях на лицо, связанных с модальностью, см. также [Palmer 1986: 221–222].)

Это лишь один из многих аспектов взаимодействия эпистемической модальности и эвиденциальности. Ф. де Хaan, посвятивший данному вопросу специальное исследование, пишет: "Эвиденциальность не следует a priori приравнивать к модальным выражениям. Скорее мы имеем дело с двумя различными семантическими областями, каждая из которых имеет свою зону ответственности и которые могут совпадать, но могут и не совпадать" [Haan 1997: 5].

Теория, которая исходит из того, что эвиденциальность и эпистемическая модальность кодируются независимо друг от друга, должна допускать одновременное выражение обоих типов значений. (Одна из последних формулировок теории такого рода содержится в вышедшей недавно работе Д. Бхата [Bhat 1999: 65–75].) И действительно, из стандартных определений данных категорий не следует, что выражаемые ими значения являются взаимоисключающими, скорее напротив – они должны дополнять друг друга: эвиденциальность характеризует пропозицию с точки зрения способа получения информации о ней, а модальность – оценку достоверности уже полученной информации.

Однако допущение о независимости эпистемической оценки от источника информации о ситуации имеет важное семантическое следствие. Если предположить, что в предложении одновременно присутствуют, говоря языком модельно-теоретической семантики, модальный и эвиденциальный операторы, можно ожидать появления интерпретаций, представленных в (27) – (29):

(27) $\text{Mod}_{\text{epist}} \text{Evid}_\phi p$: эвиденциальный оператор в сфере действия модельного; 'я считаю возможным, что я получил из источника ϕ информацию о том, что в актуальном мире имеет место p '

(28) $\text{Evid}_\phi \text{Mod}_{\text{epist}} p$: модальный оператор в сфере действия эвиденциального; 'я получил из источника ϕ информацию, что я считаю возможным наличие в актуальном мире ситуации p '

(29) $\text{Mod}_{\text{epist}} \xrightarrow{\text{Evid}_\phi} p$ операторы не находятся в сфере действия друг друга; 'я получил из источника ϕ информацию о том, что в актуальном мире имеет место p , и считаю возможным, что p действительно имеет место'

Нетрудно заметить, что интерпретации, представленные в (27) – (28), создают для предложений с первым лицом двойной эффект потери контроля: говорящий теряет контроль не только над участием в описываемой ситуации, но и над осуществлением эпистемического акта, представленного вложенным оператором – Evid_ϕ в (27) и $\text{Mod}_{\text{epist}}$ в (28).

В реальности, однако, нам не приходилось сталкиваться с предложениями, которые допускают хотя бы одну из интерпретаций (27) – (29): значения эпистемической модальности и эвиденциальности не совмещаются в пределах одной предикатии. Материал из языка туйука (семья тукано), который Ф. де Хаан приводит в качестве примера именно такого совмещения, свидетельствуют скорее об обратном:

- (30) a. Wáa-ro boó-a. b. Wáa-bo-ku.
 идти-OBLIG хотеть-VIS идти-POOS-INFER
 Я должен идти. Я могу идти.

[Haan 1997: 5]

В (30a) показатель модальности долженствования *-ro* + *boó* комбинируется с показателем прямой засвидетельствованности *-a*, а в (30b) поссибилитивный показатель *-bo-* присоединяет показатель инференциальности *-ku*. Однако в обоих примерах модальность, выражаемая показателями *-ro* + *boó* и *-bo-* является не эпистемической, а ориентированной на партнера – либо на внутренние его свойства (например, в (30b) – ('Я могу идти: нога уже не болит'), либо на обстоятельства, в которых он находится ('Я могу идти: я уже закончил работу'). Собственно эпистемическая интерпретация 'я, может быть || должно быть, иду' у (30a-b) отсутствует.

Еще за одним примером обратимся вновь к багвалинскому языку. Модальный глагол *bažēri* 'мочь' выражает весьма широкий диапазон модальных значений – от внутренне-ориентированной модальности ('уметь, быть в состоянии') до эпистемической, см. (26). Однако если глагол *bažēri* стоит в форме перфекта, передающего значение косвенной засвидетельствованности, эпистемическая интерпретация его становится невозможной. Ср. (31):

- (31) K₁: Г, тщедушный молодой человек, терпит постоянные притеснения от Али, юноши могучего телосложения. Как-то раз старшие рассказали ему, что когда Г и Али были детьми, Г-му было вполне по силам побороть Али. Г:
 K₂: Г и Али, одноклассники, поссорились. Г хотел побить Али, но не стал, поскольку опасался, что учителя, сидящие в учительской, могут это заметить. Потом Г узнал, что в учительской никого не было. Г:

di-ba ſali č'in-ā bažēri-w-o eč'a.
 я.OBL-AFF Али бить-INF мочь-M-CONV AUX.PRS

1. Я {, оказывается,} мог [=имел достаточно сил, чтобы] побить Али.

2. Я {, оказывается} мог [=не было никаких препятствий к тому, чтобы] побить Али.

3. *{Может быть, я узнал, что} я побил Али.

4. *{Оказывается, я предполагал, что} я побил Али.

5. *{Мне сообщили, что} я побил Али {и я считаю, что это возможно}.

Предложение (31) допускает два прочтения (31.1) и (31.2), которые выражают модальность, ориентированную на партнера. Интерпретации (31.3)–(31.5), которые соответствуют семантическим представлениям (27) – (29), для данного предложения недопустимы, как недопустимы они, насколько нам известно, и для аналогичных предложений в других языках. Это является серьезным аргументом против теории, основанной на идеи полной независимости эвиденциальности и эпистемической модальности.

6. РЕФЛЕКСИЯ: СОБЫТИЕ ИЛИ СОСТОЯНИЕ

Как показывает предшествующее обсуждение, в предикатиях с первым лицом эффект потери контроля неизменно сопровождает употребление эпистемических грамматических категорий – эвиденциальности, адмиратива и эпистемической модаль-

ности. В каждом из этих случаев мы имеем дело не только и не столько с высказыванием о ситуации, которая имела место в актуальном мире, но с высказыванием об эпистемическом акте – акте рефлексии этой ситуации. Во всех высказываниях с показателями данных категорий, как кажется, говорящий присутствует трижды: первый раз как участник ситуации P, второй раз – как субъект, рефлектирующий P – хранящий знания, получающий информацию, выдвигающий гипотезы о P, и третий – как субъект, высказывающийся о P. Ж. Лазар [Lazard 1999: 95] пишет об этом следующее:

Когда они (говорящие) используют обычные, немаркированные формы, они вводят в рассмотрение факты такими, какими они знают их, без всякого комментария. Но когда они выбирают специальные, маркированные формы (речь идет о медиативных формах. – Т.М., С.Т.), они выражают факты опосредованно, через постижение этих фактов..., и, действуя таким образом, они помещают себя... на некоторой дистанции от того, что они говорят... Говорящие некоторым образом расщепляются на два индивида – того, кто говорит, и того, кто слушает или производит логический вывод (или воспринимает). Эта операция дистанцирует их от их собственного дискурса.

По всей видимости, описание Ж. Лазара в существенной своей части верно: мы имеем дело с различными ипостасями говорящего (см. об этом у Е.В. Падучевой [Падучева 1996: 262–264]) – говорящим, который высказывается, и говорящим, который рефлектирует то, о чем высказывается. Обе эти ипостаси мирно сосуществуют: говорящий-высказывающийся дает явиться в высказывании говорящему – субъекту рефлексии. И теперь мы можем вернуться к вопросу, с которого начали обсуждение: как обстоит дело с говорящим – участником ситуации, вернее, с участником ситуации, обозначенным местоимением первого лица единственного числа?

Мы можем утверждать, что этот индивид – не говорящий, что это другое сознание, внешнее по отношению к высказывающемуся Ego в той же степени, как и все остальное сущее. О сознании и об устремлениях воли и рассудка этого индивида говорящий-высказывающийся, Ego, до некоторого момента не знает и не предполагает ничего. Представление об индивиде, который называется словом "я", составляется лишь в результате рефлексии, и, что самое существенное, это представление такое же, как представление о любом другом индивиде. Иными словами, появление говорящего – субъекта рефлексии свидетельствует о нарушении единства сознания говорящего-высказывающегося: непосредственный доступ к собственному прошлому опыту для него закрыт, и требуется акт приобретения этого опыта – приобретения опыта о себе как о другом.

Что объединяет различные типы рефлексии, отраженные эпистемическими грамматическими категориями естественного языка, которые мы обсуждали в разделах 2–5? Всякий раз, когда в дискурсе встречаются показатели эвиденциальности, адмиратаива или эпистемической модальности, рефлексия – это событие, которое происходит: говорящий всякий раз вступает в некоторое новое отношение с сущим. "Я" дискурса функционирует в этом случае отдельно от Ego – как третье лицо, как другой. Иначе обстоит дело в предложениях (2) и (3): о помню и знаю нельзя сказать, что это события, которые происходят; нельзя сказать, что в отношениях Ego и сущего что-то меняется. Наоборот, помню и знаю – это когда Ego хранит в себе сущее, каким оно его однажды познало. И только в этом случае "я", которое действует, и Ego говорящего – одно и то же. Себя можно только хранить, но, единожды потеряв, нельзя познать заново как себя, а только – как другого.

Сокращения

ACC аккузатив, ADM адмиратив, AFF аффектив, AUX вспомогательный глагол, CONV деепричастие, DAT датив, GEN генитив, EL элатив, ERG эргатив, IPFV несовершенный вид, IRR ирреалис, LOC локатив, M мужской род, N средний род, OBL косвенная основа, PFCT перфект, PFV совершенный вид, PRF глагольный префикс, PRS настоящее время, PST прошедшее время, SG единственное число.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

- Апресян Ю.Д. 1995 – Избранные труды. В 2-х тт. Т. 2. Интегральное описание языка и системная лексикография. М., 1995.
- Козинцева Н.А. 1994 – Категория эвиденциальности (проблемы типологического анализа) // ВЯ. 1994. № 3.
- Мельчук И.А. 1998 – Курс общей морфологии. Т. 2. М.; Вена, 1998.
- Падучева Е.В. 1996 – Семантические исследования. М., 1996.
- Рикер П. 1989 – Человек как предмет философии // ВФ. 1989. № 2.
- Шатуновский И.Б. 1996 – Семантика предложения и нереферентные слова. Значение, коммуникативная перспектива, прагматика. М., 1996.
- Akatsuka N. 1985 – Conditionals and the Epistemic Scale // Language. 1985. № 65.
- Anderson L. 1986 – Evidentials, paths of change, and mental maps: typologically regular asymmetries // Evidentiality: the linguistic coding of epistemology / W. Chafe and J. Nichols (eds.). Norwood, 1986.
- Auwera J. van der, Plungian V.A. 1998 – Modality's semantic map // Linguistic typology. V. 2. 1998. № 1.
- Bhat D.N.S. 1999 – The prominence of Tense, Aspect, and Mood. Amsterdam, 1999.
- Bybee J., Fleischman S. (eds.) 1995 – Modality in grammar and discourse. Amsterdam, 1995.
- Bybee J., Perkins R., Pagliuca W. 1994 – The evolution of grammar: tense, aspect and modality in the languages of the world. Chicago; London, 1994.
- Chafe W., Nichols J. (eds.) 1986 – Evidentiality: the linguistic coding of epistemology. Norwood, 1986.
- DeLancey S. 1997 – Mirativity: the grammatical marking of unexpected unformation // Linguistic typology. V. 1. 1997. № 1.
- DeLancey S. 1998 – The mirative and evidentiality. Paper presented at 6 Intertational pragmatics conference. Reims, 1998.
- Duchet J.-L., Pernaska R. 1996 – L'admiratif albanais: recherche d'un invariant sémantique. // L'énonciation médiatisée / Guentchéva Z. (éd.). Paris; Louvain, 1996.
- Guentchéva Z. (éd.) 1996 – L'énonciation médiatisée. Paris; Louvain, 1996.
- Haan F. de. 1997 – Evidentiality and epistemic modality // Paper presented at the 2nd ALT meeting. Eugene, 1997.
- Haan F. de. 1998 – The category of evidentiality. Unpublished Ms, 1998.
- Haan F. de. 1999 – Introduction to modality. München, 1999.
- Lazard G. 1956 – Caractères distinctifs de la langue tadjik // Bulletin de la Société de linguistique de Paris. V. 52. 1956. № 1.
- Lazard G. 1999 – Mirativity, evidentiality, mediativity, or other? // Linguistic typology. V. 3. 1999. № 1.
- Palmer F.R. 1986 – Mood and modality. Cambridge, 1986.
- Willett T. 1988 – A cross-linguistic survey of grammaticalization of evidentiality // Studies in Language. V. 12. 1988. № 1.

ИЗ ИСТОРИИ НАУКИ

© 2000 г. Л.И. СКВОРЦОВ

СЕРГЕЙ ИВАНОВИЧ ОЖЕГОВ – ЧЕЛОВЕК И СЛОВАРЬ

(к 100-летию со дня рождения)

10(23) сентября 2000 года исполняется 100 лет со дня рождения выдающегося русского языковеда, лексикографа и лексиколога, историка литературного языка, основателя нового направления в современной русистике – теории и практики культуры русской речи – профессора Сергея Ивановича Ожегова.

В языках разных народов существует понятие "человек-словарь". Достаточно вспомнить Э. Литтре во Франции, Н. Уэбстера в Америке или братьев Гримм в Германии.

У нас в России в круг "людей-словарей" входят В.И. Даля, И.И. Срезневский, Д.Н. Ушаков и Сергей Иванович Ожегов. "Словарь русского языка" С.И. Ожегова, вышедший в 1949–1991 годах двадцатью тремя изданиями (общим тиражом свыше 7 миллионов экземпляров), до недавнего времени занимал прочные позиции наиболее авторитетного пособия и справочника по современному русскому литературному языку.

Почему "до недавнего времени"? Да потому, что теперь есть и школьные толковые словари, и несколько кратких (однотомных), всякого рода словари трудностей и правильностей, произношения и ударения, особый Словарь конца XX века и даже "Большой толковый словарь русского языка" в одном томе на 130 тысяч слов... Ожеговский словарь (а в современном виде – "Ожеговско-Шведовский") не то чтобы затерялся среди них, но явно потерял роль лидера и флагмана. Таковы жестокие реалии наших дней.

А ведь сравнительно недавно (лет 10 назад) Словарь Ожегова был настольной книгой "правильной русской речи" для всех слоев населения, для каждого образованного человека. Практически он имелся в каждом доме, в любой семье, к нему обращались инженеры и учителя, журналисты и писатели, актеры театров и кино, режиссеры, дикторы радио и телевидения, студенты, школьники и домохозяйки. Он был авторитетнейшим пособием для всех, кому дорог и кому настоятельно нужен русский язык. "Посмотрите у Ожегова", "Справьтесь в Ожегове", "Откройте Ожегова", – говорили и советовали люди друг другу в тех случаях, когда надо было получить какую-либо языковую справку, решить возникший острый спор, рассеять сомнения или, напротив, утвердиться в правильности своих языковых представлений.

Современность, актуальность, научная достоверность, нормативная и оценочно-стилистическая определенность при относительной компактности – вот основные достоинства, которые определили необычайную долговечность этой книги, намного пережившей своего творца и составителя.

Акад. Л.В. Щерба, сам великий лексикограф, полагал, что вообще "словарная работа, как основанная исключительно на семантике, требует особо тонкого восприятия языка, требует, я сказал бы, совершенно особого дарования, которое по какой-то линии, вероятно, родственно писательскому дарованию (только последнее является

активным, а дарование словарника – пассивным и обязательно сознательным" (Л.В. Щерба. Опыт общей теории лексикографии. ИАН СЛЯ 1940. № 3: 104).

Таким "особо тонким восприятием языка" в полной мере обладал С.И. Ожегов. Он был прирожденным и неутомимым лексикографом, имевшим особый вкус к этой кропотливой, трудоемкой и очень сложной работе. Тонко чувствуя структуру и семантическую материю слова, С.И. знал необычайное множество бытовых, исторических, областных и даже сугубо специальных реалий. Автору этих строк посчастливилось, например, выслушать однажды содержательную импровизированную минилекцию о коньчном производстве и его истории в России. Многое хранили кладовые его памяти из истории науки и техники, народных промыслов, спорта, военного и театрального быта, из городского и сельского фольклора, из самых разных художественных текстов. Он все читал и всем интересовался до последних дней жизни.

Самый близкий и давний друг С.И. профессор А.А. Реформатский так писал о нем в скорбных строках некролога: «С.И. был очень цельным и своеобразным человеком. Он был не только русистом в лингвистике, но и в жизни, и в своих интересах и вкусах. Он великолепно знал русскую старину, русскую историю и этнографию. Знал и хорошо чувствовал русские пословицы и поговорки, поверья и обычаи. Прекрасный знаток русской литературы, как классической, так и современной, он никогда не расставался с книгой. А книги он читал "с карандашом", пристально и целеустремленно, о чем свидетельствуют многочисленные подчеркивания и выписки. Богатый жизненный опыт в соединении с верным чутьем и выдвинули С.И. в первые ряды деятелей культуры речи. Всегда благожелательный к окружающим и внимательный к людям, кто бы к нему не приходил, С.И. подкупал своей удивительной простотой и добротой, окрашенной мягким юмором» (ИАН СЛЯ. № 2: 192).

Незабываем сам облик этого обаятельного человека, интереснейшего собеседника, остроумного рассказчика, внимательного и заинтересованного слушателя, острого и умелого полемиста. Он никогда не отрывался от жизни, от "злобы дня", всегда был в гуще событий (в том числе и общественно-политических, международных), остро ощущал актуальные потребности современной филологической науки, направленные на непосредственное служение обществу, прививал это чувство ученикам и единомышленникам.

Интеллигентная мягкость, которая при необходимости сочеталась с принципиальной твердостью (особенно в вопросах науки), составляла душевную основу С.И. и находила выражение в манерах поведения, в стремительной и легкой походке. Юношеский азарт и увлеченность работой, притягательную силу "электрического" взгляда глубоких карих глаз он пронес через всю жизнь.

Я помню, как, желая похвалить нас, молодых сотрудников, он всегда говорил: "Замечательно!" или "Прекрасно!" – немного нараспив и слегка грассирия. Надо сказать, что на подобного рода похвалы он был необыкновенно щедр. «Отзвуки молодости, – пишет его сын Сергей, – своеобразное "гусарство" всегда жили в отце. Всю жизнь он оставался худощавым, подтянутым, внимательно следящим за собой человеком». (Дружба народов. 1999. № 1, с. 212).

Душевное благородство С.И. получил "в наследство" от своих предков. *Ожеговы* – фамилия уральская, мастеровая. Происходит она от слова *ожег* – так называли в старину деревянную кочергу, которую окунали в расплавленный металл, чтобы определить степень его готовности. По прозвищу *Ожег* (о долговязом, высоком и худом человеке) и возникла фамилия *Ожегов*. В известном "Ономастиконе" акад. С.Б. Веселовского приводятся сведения о том, что некто *Ожегов Иван* был дворовым царя Ивана (1573 г.).

Дед С.И., уральский мастеровой Иван Григорьевич Ожегов, с 13-ти лет и до конца жизни (умер в возрасте 73 лет в 1904 году в Екатеринбурге) проработал в Уральской золотосплавочной и химической лаборатории. Он был талантливым самоучкой, начинял в качестве "пробирерного ученика", а затем стал помощником лаборанта. Он вырастил 14 сыновей и дочерей, причем все они получили высшее образование.

Родился С.И. в фабричном поселке Каменное (ныне город Кувшинов) быв. Тверской губернии. Его отец Иван Иванович Ожегов работал там инженером на бумажной фабрике Кувшиновых. По тем временам Каменская фабрика имела первоклассное оборудование. В одном из ее цехов еще в начале 1990-х годов работала бумагодельная машина, смонтированная Иваном Ивановичем Ожеговым в конце XIX века.

Мать С.И. – Александра Федоровна (в девичестве Дегожская) – приходилась внучатой племянницей протоиерою Герасиму Петровичу Павскому (1787–1863), известному филологу и педагогу, профессору Петербургского университета, автору фундаментального труда "Филологические наблюдения над составом русского языка". Александра Федоровна работала в пос. Каменное акушеркой в фабричной больнице. Она родила трех сыновей – Сергея, Бориса (ставшего архитектором и погибшего в блокадном Ленинграде) и Евгения (инженера-путейца, умершего еще до войны).

Весной 1909 года Ожеговы переезжают в Петербург, где Иван Иванович начал работать в Экспедиции заготовления государственных бумаг (ныне фабрика "Гознак"). С.И. начинает учиться в 5-й гимназии, которая располагалась на пересечении Екатерингофского и Английского проспектов. Сохранились книги, которыми награждали С.И. "за примерное поведение и отличные успехи". В старших классах он полюбил шахматы и футбол, состоял в так называемом Сокольском спортивном обществе.

Летом 1918 года С.И. окончил гимназию и поступил на факультет языкоznания и материальной культуры Петроградского университета, прослушал первые лекции. Однако в конце 1918 года он оставляет университет и уезжает в город Опочку к родным матери. Там он, будучи по молодости лет членом партии эсеров (как многие гимназисты и студенты), участвует в установлении советской власти. Затем он покидает эсерами и 5 декабря 1918 года зачисляется вольноопределяющимся в Красную Армию. Участвует в боях под Нарвой, Псковом и Ригой, на Карельском перешейке, затем на Украине, на врангелевском фронте. До 1922 года он служил на руководящих должностях в штабе Харьковского военного округа в Екатеринославе (ныне Днепропетровск). После окончания военных действий ему предложили путевку в военную академию, но он отказался, был демобилизован и вернулся на филологический факультет Петроградского университета.

В 1926 году он завершает обучение и по представлению своих учителей В.В. Виноградова, Л.В. Щербы и Б.М. Ляпунова был рекомендован в аспирантуру Института истории литературы и языков Запада и Востока при ЛГУ. В это время он углубленно занимается изучением истории русского литературного языка, знакомится с обширным кругом древних и новых языков (в первую очередь славянских), слушает лекции С.П. Обнорского, Л.П. Якубинского, участвует в семинаре Н.Я. Марра.

Свою аспирантскую подготовку С.И. непосредственно проходил под руководством будущего академика В.В. Виноградова (последний говорил мне, что С.И. был самым первым его аспирантом). Это не только сблизило их в научном отношении, но и сдружило лично, наложило отпечаток на дальнейшие их жизненные судьбы. Достаточно сказать, что в непростые предвоенные годы С.И. регулярно отправлял сосланному в Вятку В.В. Виноградову "корзины книг" для научных трудов своего учителя (он рассказывал об этом как о вполне естественном деле).

Влияние научных идей акад. В.В. Виноградова, его складывавшейся тогда школы С.И., по собственному его признанию, испытывал в течение всей своей жизни. В 30-е годы они вместе работали в коллективе Ушаковского словаря; их тесное сотрудничество и личная дружба продолжались в период Великой Отечественной войны и в нелегкие послевоенные годы (особенно во времена засилья "марровского учения" о языке). В Институте русского языка АН СССР, когда его директором стал В.В. Виноградов, С.И. исполнял обязанности ученого секретаря и заместителя директора, был руководителем организованного им в 1952 году Сектора культуры русской речи. Академик В.В. Виноградов провожал в последний путь своего ученика (в декабре 1964 года). Он вел траурный митинг в конференц-зале Института русского языка АН СССР на Волхонке и в прощальной речи с большой теплотой говорил о С.И. как выдаю-

щемся деятеле русской советской лексикографии, организаторе филологической науки, главном редакторе серийного академического издания "Вопросы культуры речи".

Научные интересы С.И. были связаны с исследованием истории русского литературного языка, малоизученных вопросов исторической грамматики, лексикологии, орфоэпии, языка русских писателей, орфографии и фразеологии.

Можно с уверенностью сказать, что вряд ли бы мог разиться в С.И. такой самобытный и яркий талант лексиколога и лексикографа, специалиста по культуре речи, если бы он не был тонким исследователем истории русского литературного языка. Изучение родного языка в его живых социальных связях и отношениях было главным направлением научного творчества С.И. Разговорная русская речь во всех ее проявлениях (включая городское просторечие, жаргоны, арго и профессиональную речь) – основной объект его работ. И не случаен поэтому сам выбор исследуемых им старых авторов: И.А. Крылов, А.Н. Островский, П.А. Плавильщиков и др.

Анализ языка и стиля писателей XVIII–XIX вв. показал С.И., насколько важно представлять четкую периодизацию истории русского литературного языка нового времени, определить его современные границы.

Что считать современной литературной нормой в строгом смысле слова? Где находится точка отсчета переживаемого нами периода в развитии языка? Без теоретического решения этих вопросов невозможно было обращаться к практическим проблемам составления нормативных словарей, справочных пособий, правильно и объективно оценивать с нормализаторских позиций пришедшие в язык многочисленные новшества.

В результате всесторонних наблюдений над конкретными фактами языка (в частности, в области лексики) С.И. пришел к выводу о том, что в послеоктябрьскую эпоху русский язык прошел несколько этапов:

- 1) первые годы революции и 20-е годы, связанные с известным расшатыванием литературных норм в результате общественных изменений и расширением социальной базы носителей литературного языка;
- 2) 30-е годы, характеризующиеся заметной стабилизацией литературных норм и внутренним перестроением лексической системы – в связи с развитием образования, появлением качественно нового слоя интеллигенции и т.п.;
- 3) 40–50-е годы, ознаменованные дальнейшим расширением нормативной базы, ростом научно-технической терминологии и частичным возрождением ушедшей на время в пассивный запас лексики.

В наши дни предложенную С.И. классификацию можно, видимо, продолжить, выделив новые этапы:

- 4) 60–70-е годы, связанные с эпохой научно-технической революции и развитием терминообразования в невиданных дотоле масштабах; эволюционным и органичным освоением литературным языком необходимых иноязычных заимствований, а также профессионального, диалектного и просторечного по происхождению материала;
- 5) 80–90-е годы, связанные с коренными изменениями в структуре общественно-политического строя, сменой форм собственности, изменениями в составе активных участников коммуникации (появление слоя коммерсантов-бизнесменов, группы "новых русских" и др.), стилистическим снижением и вульгаризацией литературного языка, засилием (особенно в средствах массовой информации, рекламе, программах ТВ и др.) англо-американских заимствований; расшатыванием системы литературных норм ("языковая смута") и т.п.

Проведенные С.И. глубокие и оригинальные социолингвистические исследования нашли отражение в ряде его статей и заметок 50–60-х годов. Закономерным итогом этой большой работы явилось выдвижение им научной проблемы "Русский язык и советское общество", ставшей одной из главных исследовательских тем Института русского языка АН СССР. Монография в 4-х книгах "Русский язык и советское общество. Социолого-лингвистическое исследование" вышла в свет в 1968 году, спустя

4 года после кончины С.И. К Проспекту этого труда им был написан обширный раздел "Лексика", содержащий ряд смелых, новаторских идей в области изучения лексической системы современного русского языка и происходящих в нем живых процессов. Здесь С.И. выдвинул уточненную периодизацию развития русского языка в советскую эпоху, более подробно, чем прежде, обосновал понятие обиходно-разговорной речи как одной из влиятельнейших форм современного национального языка, описал ее состав и структуру, проследил историю перехода ряда слов и выражений из круга социально ограниченного употребления или из территориальных говоров в общую русскую речь (*запросто, сравняться, признать, запороть, переживать, вояж, богадельня* и мн. др.).

Словарное дело, составление и редактирование словарей – вот та сфера научной деятельности С.И., в которой он оставил заметный и неповторимый "ожеговский" след. Не будет преувеличением заявить, что не было в 50–60-е годы ни одного маломальски заметного лексикографического труда, в котором С.И. не принимал бы участия – либо как редактор (или член редакционной коллегии), либо как научный консультант и рецензент, либо как непосредственный автор-составитель.

Он был членом редколлегии ССРЛЯ АН СССР в 17-ти томах (М.-Л., 1948–1965) с 6-го по 17-й том включительно. Он – автор-составитель и член редколлегии академического "Словаря языка Пушкина" в 4-х томах (М., 1956–1961).

Совместно с С.Г. Бархударовым и А.Б. Шапиро он редактировал "Орфографический словарь русского языка" АН СССР (с 1-го по 12-е издание включительно); редактировал (совместно с Р.И. Аванесовым) словарь-справочник "Русское литературное ударение и произношение" (изд. 2-е, М., 1959); был инициатором создания и редактором академического словаря-справочника "Правильность русской речи" (1-е изд. – 1962, 2-е изд. – 1965), одним из авторов-составителей которого является автор настоящей статьи¹.

Вместе с Н.С. Ашукинным и В.А. Филипповым С.И. составил "Словарь к пьесам А.Н. Островского (Справочник для актеров, режиссеров, переводчиков)", который в 1949 году дошел до верстки, но не был издан по условиям того времени (борьба с "космополитизмом") и появился на свет репринтным изданием лишь в 1993 году. До конца жизни С.И. был заместителем председателя Словарной комиссии Отделения литературы и языка АН СССР, а также членом редколлегии знаменитых "Лексикографических сборников".

Деятельность С.И. по составлению словарей началась в конце 20-х годов в Ленинграде, когда он активно включился в редактирование "Словаря русского языка" АН СССР (1895–1937, издание не было завершено). Том 5, вып. 1, "Д – деятельность" полностью составлен и отредактирован им одним.

С 1927 по 1940 год, сначала в Ленинграде, а с 1936 года – в Москве, С.И. участвовал в составлении "Толкового словаря русского языка" – первенца советской лексикографии. Словарь под редакцией проф. Д.Н. Ушакова ("Ушаковский словарь") вышел в свет в 1935–1940 годах в 4-х томах и воплотил в себе лучшие традиции русской науки, лексикографические идеи И.А. Бодуэна де Куртенэ, А.А. Шахматова, Л.В. Щербы. В его составлении приняли участие замечательные языковеды: В.В. Виноградов,

¹ Большую и нескрываемую радость испытал С.И. в 1963 году, узнав из журнальной заметки В.Я. Лакшина о высокой оценке, которую дал этому словарю в его 1-м издании А.Т. Твардовский, тогдашний главный редактор "Нового мира". Из журнальной заметки В.Я. Лакшина этот эпизод перешел затем в одну из его книг:

«В первые месяцы, что я поступил работать в редакцию, он подарил мне академический словарик "Правильность русской речи (Трудные случаи современного словоупотребления)" с надписью: такому-то "в целях усиления бдительности в отношении чистоты и безупречности статей и рецензий в "Новом мире". А. Твардовский.

Прежде чем передать эту книжку мне, он сам ее внимательно перелистал и отчеркнул на полях заметки о словах: "в адрес", "волнительно", "без ничего"... Соотношение нормы с живым бытованием слова всегда занимало его» (В. Лакшин. Открытая дверь. М., 1989: 183).

Г.О. Винокур, Б.А. Ларин, Б.В. Томашевский, каждый из которых внес заметный и неповторимый вклад в это большое общекультурное дело. С.И. был одним из основных составителей Ушаковского словаря, правой рукой главного редактора и научно-организационным "движителем" всей работы (по признанию самого Д.Н. Ушакова).

Из общего объема словаря в 435 печатных листов С.И. подготовил более 150 листов. Совместно с Д.Н. Ушаковым и Г.О. Винокуром С.И. осуществил редактирование II, III и IV томов словаря.

Работа над Ушаковским словарем (особенно когда первый том пошел в производство) порой была крайне напряженной: чтение корректур проходило одновременно с подготовкой рукописи очередного тома к печати и с собственно составительской работой. Последний, IV том словаря вышел в свет за несколько месяцев до начала Великой Отечественной войны (подписан к печати 3 декабря 1940 года).

Продолжая лучшие традиции отечественной академической лексикографии, ТСРЯ под ред. Д.Н. Ушакова воплотил в себе одновременно идеи строгой научности академических словарей и массовой доступности практического словаря-справочника. Образцностью и нормативностью включаемого богатого лексического и фразеологического материала он утверждал опору на литературный язык "от Пушкина до Горького". В статье "От редакции" подчеркивалось: "Составители старались придать словарю характер образцового в том смысле, чтобы он помогал усвоить образцовый, правильный язык".

Осуществить эту последнюю задачу по отношению к русскому литературному языку 20–30-х годов XX века было особенно трудно. В послереволюционную эпоху в нем произошли значительные количественные и качественные изменения: пополнился и видоизменился словарный состав, уточнились смысловые и стилистические характеристики слов и выражений; с появлением новой интеллигенции (из рабочих и крестьян) менялся состав активных носителей литературного языка.

В результате всего этого традиционные нормы устной и письменной речи испытывали определенные колебания; описывать и закреплять их в словарном порядке было нелегко. От авторов-составителей словаря требовался огромный талант, соединенный с глубокими знаниями и тонким языковым чутьем и вкусом.

Выход в свет ТСРЯ под ред. Д.Н. Ушакова явился событием большого научного, общественного и культурно-просветительского значения. Это был первый лексикографический опыт, отразивший с достаточной полнотой лексику и фразеологию 20–30-х годов XX столетия. Ушаковский словарь оказал большое влияние на всю русскую толково-нормативную лексикографию последующих десятилетий и на становление словарного дела в национальных советских республиках.

Участие в группе Словаря Ушакова было большой школой для С.И. В 1939–1940 гг. на базе этого словаря он создает (по поручению Д.Н. Ушакова) Типовой словарник для русско-национальных словарей (объем – 70 печатных листов). Создание этого словарника фактически было начальным этапом в истории однотомного Ожеговского словаря.

Мысль о кратком толковом словаре давно волновала С.И., но лишь с завершением гигантской эпопеи по составлению и изданию Ушаковского словаря этот замысел получил вполне реальную базу.

Конечно, работа над однотомным словарем была облегчена наличием четырехтомного ТСРЯ, но вместе с тем она имела свои особенности, а подчас и совсем иные задачи. Это не был "сокращенный ТСРЯ", отнюдь не "краткий Ушаков" (как потом нередко говорили ожеговские недоброжелатели из научной и околонаучной среды). Ведь в рамках одного тома надо было отразить с достаточной полнотой основной состав лексики современного русского языка; включить в него наиболее важные неологизмы, выработать компактную структуру словарной статьи и принципы экономной подачи иллюстративного материала. Необходимо было также учесть и новые научные достижения в области лексикологии, лексикографии, орфоэпии, грамматики и стилистики.

В самом конце 30-х годов возникла инициативная группа по созданию "Малого толкового словаря русского языка". На заседании 10 июня 1940 года была образована редакция, в которую вошли Д.Н. Ушаков (главный редактор), С.И. Ожегов (зам. главного редактора), Г.О. Винокур и Н.Л. Мещеряков. Редакция поручила выработать план издания, определить объем и структуру словаря, сроки издания и т.п. С.И. Ожегову. К осени 1940 года С.И. подготовил План издания "Малого толкового словаря русского языка", состоящий из 21 пункта (хранится в Архиве РАН. Ф. 1516). По этому плану предполагалось, что Малый словарь "предназначается для широкого читателя и является нормативным: он должен быть пособием для изучения современной правильной литературной русской речи". В словарь должно было войти примерно 60 тыс. слов, а общий объем его планировался в пределах 120 авт. листов в одном томе. Состав словарника (который предстояло еще уточнить в процессе работы) призван был отразить "основной лексический состав литературного языка со включением наиболее существенных разновидностей устной и письменной речи". В основу Малого словаря предполагалось положить словарь Ушаковского словаря, а всю работу закончить в 1942 году.

Начавшаяся война и другие обстоятельства ломают все намеченные планы и далеко отодвигают сроки завершения работы. Один за другим уходят из жизни члены редакции Малого словаря: Д.Н. Ушаков (1942 г., Ташкент), Н.Л. Мещеряков (1942 г., Казань), Г.О. Винокур (1947 г., Москва). И лишь через 4 года после окончания войны, в самом начале 1949 года, выходит в свет 1-е издание однотомного "Словаря русского языка", составленного С.И. Ожеговым (при участии Г.О. Винокура и В.А. Петровсона), под общей редакцией акад. С.П. Обнорского. Словарь Ожегова начинает свою замечательную жизнь.

Ожеговский словарь выдержал 6 прижизненных изданий и неоднократно переиздавался в зарубежных странах. Популярность его начала быстро расти сразу же после выхода в свет. В 1952 году вышло репринтное издание в Китае, вскоре последовало издание в Японии. Он стал настольной книгой многих тысяч людей во всех уголках земного шара, изучающих русский язык. За пределами России нет, в сущности, ни одного специалиста-русиста, не знакомого с именем С.И. Ожегова и с его словарем. Последней данью признательности ему стал "Новый русско-китайский словарь", вышедший в Пекине в 1992 году. Его автор Ли Ша (русская по происхождению) сделала необычную книгу: она скрупулезно, слово в слово перевела на китайский язык весь "Словарь русского языка" С.И. Ожегова.

В процессе составительской, авторской работы над однотомным нормативным словарем перед С.И. встал ряд вопросов, требовавших теоретического и практического разрешения.

Во-первых, это проблема стилистических помет к словам, их критического отбора из довольно дробной системы Ушаковского словаря (около 40!), с учетом динамического изменения экспрессивно-стилистической окраски слов и выражений.

Во-вторых, проблема многозначности (полисемии) слов, структуры толкований (с непременным адекватным отражением живых тенденций и объективных процессов семантических изменений, произошедших за последние годы).

В-третьих, вопросы, связанные с иллюстративным материалом, т.е. с подбором примеров-цитат, принципом их экономности и в то же время представительности и убедительности.

Наконец, в-четвертых, предстояло значительно обновить весь "ушаковский" словарь, включив в него новые слова и словосочетания, новые значения и оттенки значений и т.п. Эта последняя задача прямо связывалась с типом однотомного издания, призванного оперативно отражать новые явления в жизни языка.

В решении всех этих вопросов, в успешном преодолении трудностей, возникавших перед автором однотомного словаря, во всем блеске проявилось особое чувство слова, присущее С.И., его тонкое восприятие живого языка, умение точно и строго объективно оценивать происходящие в языке процессы.

Собственные наблюдения С.И. над развитием русского литературного языка в новых общественных условиях позволили ему уточнить толкования многих слов, упорядочить их стилистические характеристики, решить сложные и многообразные вопросы отбора лексического и фразеологического материала для краткого однотомного словаря, тип которого еще не был выработан в русской лексикографии (опыты дореволюционных однотомных словарей А.Н. Чудинова или П.Е. Стояна, конечно, не могли идти в расчет).

Следует особо отметить, что в повседневной работе Ожегова-лексикографа теория и практика шли рука об руку. Теоретические принципы современной нормативной лексикографии нашли отражение во многих публикациях С.И. 50–60-х годов, а в обобщенном виде содержатся в фундаментальной статье "О трех типах толковых словарей современного русского языка", актуальность которой сохраняется и в наши дни. В ней С.И., в частности, писал: "... в области общих словарей языка русская советская лексикография, используя богатый опыт дореволюционной лексикографии, достигла известных положительных результатов. Практически созданы и теоретически намечены три основных типа нормативных общих словарей русского языка: б о л ь ш о й, представляющий современный литературный язык в широкой исторической перспективе; с р е д н и й, с детальной разработкой исторически оправданного стилистического многообразия современного литературного языка, и, наконец, к р а т к и й, популярного типа, стремящийся к активной нормализации современной литературной речи" (ВЯ. 1952. № 2: 91).

В 1-м издании Словарь Ожегова содержал чуть более 50 тыс. слов; во 2-м, исправленном и дополненном, издании (1952 год) – 52 тыс. слов, а в 4-м, также исправленном и дополненном, издании (1960 год) – около 53 тыс. слов. Практически это две трети объема словаря четырехтомного ТСРЯ под ред. Д.Н. Ушакова (85 тыс. 289 слов). По сравнению с последним в Словаре Ожегова отсутствуют редкие термины, исключены малоупотребительные в общей речи иностранные слова, а также многие областные, просторечные и арготические элементы.

Экономия места в однотомнике достигалась за счет компактной подачи значений, а также введения частичного гнездования (например, при слове *дом* приводятся в той же статье – *домик, домок, домишко, domina, домице*, прилагательное *домовитый* и т.п.). В отличие от Ушаковского словаря, в котором толкования слов иллюстрируются примерами из русской художественной литературы и публицистики (около 400 авторов), в Ожеговском словаре приводятся так называемые "р е ч е н и я" – составленные автором короткие фразы, типичные сочетания слов, а также образные выражения, пословицы и поговорки. Сокращение объема словаря Ушаковского словаря сочеталось в однотомнике с большой работой автора по учету новых слов и значений, вошедших в активный речевой обиход в военные годы и в послевоенное время, с уточнением их стилистических характеристик.

От издания к изданию С.И. перерабатывал свой словарь, стремясь как можно лучше отразить в его рамках современное литературное словоупотребление, сделать более строгой нормативной сторону подачи материала и тем самым усовершенствовать его как универсальное пособие по культуре речи. Уточнялась система грамматических и стилистических помет, обновлялся и пополнялся словарь. Однако при всех этих необходимых изменениях (отражавших кроме всего прочего новые достижения лексикографической науки и теории общего языкоznания) по своей структуре, составу, характеру подачи материала и нормативной направленности он оставался "Словарем Ожегова", сохранившим живое дыхание и творческую мысль автора-составителя.

До последних дней жизни С.И. неустанно работал над совершенствованием своего детища. В марте 1964 года, будучи уже тяжело больным, он подготовил официальное обращение в издательство "Советская энциклопедия", в котором писал: «В 1964 году вышло новое, стереотипное издание моего однотомного "Словаря русского языка"... Я нахожу нецелесообразным дальнейшее издание Словаря стереотипным способом.

Я считаю необходимым подготовить новое, переработанное издание. Предполагаю внести ряд усовершенствований в Словарь, включить новую лексику, вошедшую за последние годы в русский язык, расширить фразеологию, пересмотреть определения слов, получивших новые оттенки значения, усилить нормативную сторону Словаря" (разрядка наша. – Л.С.).

Осуществить этот замысел С.И. не успел: 15 декабря 1964 года его не стало.

Горячий поклонник научного таланта С.И. писатель К.И. Чуковский в заметке-некрологе "Памяти С.И. Ожегова" (ЛГ, 22 декабря 1964 года) рассказал о больших научных заслугах С.И. и о значении его трудов для русской культуры:

"Испытывая сильнейший напор и со стороны защитников штампованной, засоренной речи, и со стороны упрямых ретроградов-пуритан, Сергей Иванович Ожегов не уступил никому. И это вполне закономерно, ибо главное свойство его обаятельной личности – мудрая уравновешенность, спокойная, светлая вера в науку и в русский народ, который отметет от своего языка все фальшивое, наносное, уродливое. Эмоциям испуганных пуритан он противопоставлял спокойное, трезвое, строго научное понимание внутренних законов языкового развития. Этому пониманию учил он и нас, писателей, в своих статьях, публичных выступлениях, – и, прощаясь с ним, мы все, болеющие о родном языке, не можем не выразить ему своей благодарности.

Его подвиг никогда не забудется нами, и я верю, что созданный им чудесный Словарь послужит великую службу многим поколениям советских людей".

В 1968 и 1970 гг. вышли 7-е и 8-е стереотипные издания Словаря Ожегова. А начиная с 9-го издания (1972 год) он выходил под редакцией Н.Ю. Шведовой (в подготовке первого посмертного исправленного издания принял участие автор этих строк). От издания к изданию словарь его увеличивался и достиг 70 тыс. слов. В 1990 году АН СССР присудила "Словарю русского языка" С.И. Ожегова премию имени А.С. Пушкина.

В 1991 году вышло 23-е издание Ожеговского словаря, которому, видимо, суждено было стать последним. "Ожеговский словарь" прекратил свое существование...

В 1992 году под грифами Института русского языка РАН и Российского фонда культуры выходит массовым тиражом книга двух авторов-составителей: С.И. Ожегов, Н.Ю. Шведова. "Толковый словарь русского языка". (К 1999 году появилось уже 4-е издание этой книги.)

Издаваемый ныне однотомный словарь Ожегова-Шведовой, вопреки заверениям автора "Предисловия", во многом отступает от принципов, сформулированных самим С.И. в статье "О трех типах толковых словарей современного русского языка". Это касается и состава словарника (с обилием специальных терминов и вновь введенных архаизмов), и характера толкования однотипного материала (см. подачу общественно-политической лексики, наименований народов, религиозных течений и т.п.), и отношения к явно ненормативной лексике и фразеологии, включаемой в корпус словаря Ожегова-Шведовой вопреки пункту 2 § 2 "Сведений, необходимых для пользующихся словарем", составленных в свое время Сергеем Ивановичем Ожеговым.

В настоящем виде Ожеговско-Шведовский словарь перестал отвечать требованиям массового пособия по культуре речи, нормативному словоупотреблению. Составитель-соавтор отказывается от решения задач, четко сформулированных С.И. в предисловии "От автора" в последнем прижизненном издании Словаря: "Автор стоит на той точке зрения, что современный русский язык советской эпохи представляет собой, по сравнению с языком XIX и начала XX века, новый этап в историческом развитии русского литературного языка. Это позволяет в настоящем издании сделать более строгой нормативной сторону словаря, усовершенствовать его как пособие по повышению культуры речи" (изд. 4-е, испр. и доп., 1960).

Судьба новых изданий Ожеговского словаря вызвала серьезную обеспокоенность научной и журналистской общественности. Это вылилось в бурные, но весьма краткие полемические перепалки на страницах "Книжного обозрения", "Известий" и некот. др.

изданий. См., например: И. Реформатский. У Ожегова появился соавтор (Изв. 3 июня 1993 г.) и ответ группы "коллег-лингвистов" (Изв. 18 июня 1993 г.); Вл. Новиков. Ошибка века (Сегодня. 4 июня 1993 г.); А. Журавлев. Нужны ли соавторы Ожегову? (Книжное обозрение. 29 июля 1993 г.; в августовском номере этого же издания был опубликован ответ Н.Ю. Шведовой); А. Панфилов. Пристойка к памятнику (НГ. 21 янв. 1994 г.). Этой последней публикацией дискуссия была завершена.

В словаре Ожегова-Шведовой нарушается принцип краткости и компактности. По объему словарника, количеству включенных в него слов и выражений (80 тысяч) он приближается, скорее, к среднему типу, по классификации С.И. Он сопоставим в этом отношении и с Ушаковским словарем, и с четырехтомным "Словарем русского языка" РАН. В сущности, это какой-то новый, промежуточный тип – между кратким однотомным и средним четырехтомным. Условно его можно было бы назвать "двухтомником в одном томе". Кстати, в том же "Предисловии" Н.Ю. Шведовой глухо извещается о подготовке какого-то большого двухтомного словаря, создающегося на базе "21-го издания однотомника и того словаря, который сейчас предлагается вниманию читателей".

Восстанавливая историческую справедливость, можно было бы вспомнить сложившуюся в зарубежной практике традицию издания знаменитых национальных словарей с сохранением имен первых авторов (например, "словари Уэбстера", "словари Литтре" или "словари Ларусс"). Скажу однако о весьма странных для строго нормативного издания изолированных "включениях" непристойных лексем: между словарными статьями "Говеть" и "Говор", а также между "Жонглировать" и "Жор". Эти сомнительные "новации" входят в явное противоречие (об этом говорилось выше) с пунктом 2-м § 2 "Сведений..." на стр. 5 словаря Ожегова-Шведовой: (В словарь не помещаются) "просторечные слова и значения с ярко выраженной грубой окраской". А ведь оба "включения" (на "Ж" и на "Г") сопровождены пометами ("прост. груб." (!).

Отмечу, наконец, явно неудачное название однотомника Ожегова-Шведовой: "Толковый словарь русского языка" дает повод для возрождения застарелых упреков и ярлыков типа "сокращенный Ушаковский словарь" (ведь он носит точно такое же название!). Неужели нельзя было назвать словарь как-то иначе, если уж непременно надо было "уйти" от прежнего наименования?

Вообще есть какая-то странность или даже мистика в том, что разного рода личные невзгоды преследовали С.И. при жизни и продолжаются, как мы видим, и после смерти. Кое-кто из современников-завистников отказывал ему в подлиннойчености: какой, мол, это ученый, если у него нет монографий? (Появившаяся через 10 лет после его смерти книга "Лексикология. Лексикография. Культура речи" (М., "Высшая школа", 1974 г.) оказалась "томов премногих тяжелей" и служит вузовским пособием не одному поколению студентов-филологов).

Недоброжелатели ставили в вину С.И. то, что кандидатом наук (как будто все дело в дипломах! – Л.С.) он стал без защиты диссертации, по Постановлению СНК в 1934 году, а докторскую степень и звание профессора получил по совокупности научных и педагогических заслуг в конце 50-х годов, будучи известным ученым-лексикографом, руководителем большого научного коллектива. Осуждали его и за то, что начиная с 4-го издания Словаря (1960 г.) он вынес на обложку свою фамилию ("Как Даль! Нескромно!").

На подобные упреки С.И. никогда не отвечал, действуя по пушкинскому принципу "не оспоривать глупца". Сейчас все это кажется смешным и мелким, однако никто не знает, каких душевных страданий и мук стоили ему эти наветы и слухи. Характерно при этом, что со вздорными оценками и заушательством выступали, как правило, те "специалисты" и "исследователи", у кого за душой не было и намека на какой-либо научный труд, хотя бы в чем-то сравнимый с фундаментальным Ожеговским словарем.

И все же, несмотря ни на что, имя Сергея Ивановича Ожегова давно вписано отдельной и важной строкой в историю русской лексикографии, в русскую культуру и

русское просветительство XX века. А Словарь Ожегова останется надежным свидетелем языка советской эпохи и послужит источником для многих интереснейших исследований.

И последнее. Будучи объективным, надо признать с сожалением, что авторские однотомные нормативные словари типа Ожеговского имеют, очевидно, свой "возраст", который исчисляется примерно полустолетием (или чуть более). Они живут в двух-трех поколениях говорящих, а затем уже как бы "доживают" свой век – за счет некоторых конъюнктурных правок и разного рода "латаний", не отражая в измененно-целостном виде нового общественного сознания (менталитета), новой речевой ситуации, динамики нормативных изменений, а также новых представлений народа, нации о себе и окружающем мире (с соответствующими оценками этих представлений), обновленного общественного вкуса, уровня национального самосознания, наконец. Но новое время требует и новых "песен", и новых словарей, – и с этим ничего не поделаешь.

Видимо, начавшееся столетие должно ознаменоваться в конечном счете появлением нового однотомного словаря, по возможности зеркально отображающего в целостном многообразии языковой дух новой эпохи, нового – внешнего и внутреннего – состояния народа, носителя языка. Кто будет этим новым Ожеговым и каким будет однотомный словарь XXI века ("новый Ожегов") – покажет время.

Что касается судьбы однотомного "Словаря русского языка" Сергея Ивановича Ожегова, то эта великая книга навсегда останется рукотворным памятником ее создателю – словарнику от Бога, талантливому лексикологу, историку русского литературного языка, тонкому и прозорливому стилисту-нормализатору, умелому и плодотворному организатору отечественной филологической науки.

ИЗ ЛИТЕРАТУРЫ О С.И. ОЖЕГОВЕ (1964–1999 гг.)

I

1. Чуковский К.И. Памяти С.И. Ожегова // "Литературная газета", 22 декабря 1964 г.
2. Реформатский А.А. Памяти Сергея Ивановича Ожегова (1900–1964) // Вопросы культуры речи. Вып. 6, М., 1965.
3. Реформатский А.А. Сергей Иванович Ожегов (Некролог) // ИАН СЛЯ. 1965. № 2.
4. Скворцов Л.И. Сергей Иванович Ожегов // Русская речь. 1967. № 6.
5. Скворцов Л.И. Сергей Иванович Ожегов (Проблемы культуры речи) // Русский язык за рубежом. 1971. № 3.
6. Скворцов Л.И. С.И. Ожегов. Предисловие // Ожегов С.И. Лексикология. Лексикография. Культура речи. М., 1974.
7. Скворцов Л.И. Сергей Иванович Ожегов (К 75-летию со дня рождения) // РЯШ. 1975. № 3.
8. Граудина Л.К. С.И. Ожегов // Русская речь. 1980. № 5.
9. Скворцов Л.И. С.И. Ожегов (Серия "Люди науки"). Пособие для учащихся. М., 1982.
10. К 90-летию со дня рождения С.И. Ожегова // Русская речь. 1990. № 4.
11. Ожегов С.С. Предисловие // Ашукин Н.С., Ожегов С.И., Филиппов В.А. Словарь к пьесам А.Н. Островского. М., 1993.
12. Предисловие (По материалам статей А.А. Реформатского и Л.И. Скворцова) // Ожегов С.И. Словарь русского языка. Екатеринбург, 1994.
13. Бельчиков Ю.А. "Словарь русского языка" С.И. Ожегова в контексте его научной деятельности // Родной язык. 1995. № 4.
14. Левашов Е.А. Однотомный "Словарь русского языка" С.И. Ожегова // История русской лексикографии / Отв. ред. Ф.П. Сороколетов. СПб, 1998.
15. Ожегов С.С. Отец // "Дружба народов". 1999. № 1.
16. Никитин О.В. Сергей Иванович Ожегов // Московский журнал, 1999. № 8.
17. Скворцов Л.И. Сергей Иванович Ожегов // Отечественные лексикографы ХХ в. Материалы для хрестоматии / Под ред. Г.А. Богатовой. М., 1999.
18. Задорожный М.И. К 50-летию выхода в свет Словаря Ожегова // Русский язык (Приложение к газете "Первое сентября"). 1999. № 46.

II

ЭНЦИКЛОПЕДИЧЕСКИЕ СТАТЬИ

1. Ожегов Сергей Иванович (авторы *Л.И. Скворцов и Б.С. Шварцкопф*) // Краткая литературная энциклопедия: В 9-ти томах. Т. 5. М., 1968.
2. Ожегов Сергей Иванович (б/а) // БСЭ. Изд. 3-е. Т. 18. М., 1974.
3. Ожегов Сергей Иванович (б/а) // Русский язык. Энциклопедия. М., 1979.
4. Ожегов Сергей Иванович (авт. *Ю.А. Бельчиков*) // Москва. Энциклопедия. М., 1997.
5. Ожегов Сергей Иванович (авт. *Л.И. Скворцов*) // Российская педагогическая энциклопедия: В 2-х томах. Т. 2. М., 1999.
6. Ожегов Сергей Иванович (б/а) // Краткий энциклопедический словарь: В 2-х томах. Т. 2. М., 2000.

© 2000 г. С.И. ОЖЕГОВ

О ПРОСТОРЕЧИИ (К ВОПРОСУ О ЯЗЫКЕ ГОРОДА)

В настоящем издании публикуется одна из наиболее ярких работ раннего С.И. Ожегова, который мало знаком как читателям, так и исследователям. Статья имеет авторское название и составляет 36 листов убористого текста зелеными чернилами на листах тетрадного формата. Работа датируется предположительно 1930-ми годами. Публикуется впервые по автографу С.И. Ожегова (Архив РАН. Ф. 1516. Оп. 1. Ед. хр. № 11). Подготовка рукописи к изданию и текстологический комментарий осуществлены О.В. Никитиным.

Ученый не случайно обратился к разработке данной проблемы, ставшей популярной в 1950–1960-е годы, и как бы идет по стопам старшего коллеги – Б.А. Ларина, чье внимание занимала эта тема (вспомним его статью 1928 года "К лингвистической характеристике города"). Но в отличие от него, С.И. Ожегов применяет иной инструментарий и оперирует другими "смыслами". Поэтому их работы читаются и понимаются по-разному, но в едином порыве, ибо они не носят сугубо теоретический характер и не изобилуют иноязычной терминологией, а имеют ясный, богатый фоновыми сравнениями и живыми красками язык. В издаваемой статье С.И. Ожегов очень точно выразил филологический и даже в чем-то философский характер "лингвистического времени". "В языке современности, – пишет он, – нет единства. (...) Отсутствие единства создается (...) существованием двух полярных систем. Одна – литературный язык с достаточно устойчивыми формами выражения и письменно-фиксированный, с резкими консервативными тенденциями". Потому ученый уделил особое внимание различиям *типов* городского языка и выявлению тех его просторечных компонентов, которые свидетельствуют о наличии особого городского "говора". При этом С.И. Ожегов различает понятия "просторечие" и "диалект", полагая, что последнее "до сих пор нельзя считать окончательно определенным". Весьма подробно рассматриваются в статье основные тенденции просторечия. Автор выделяет описываемый им языковой феномен в "особую орфоэпическую систему" и подробно анализирует ее признаки. Во многом интересны идеи С.И. Ожегова, связанные с проблемой соотношения просторечного слова с иноязычными заимствованиями. В заключительной части статьи ученый исследует семантико-синтаксические отношения "внутри" системы городского арго, а именно: "приспособление литературных значений, деформация синтаксических оборотов и фразеологии". Всякий раз С.И. Ожегов подтверждает свои наблюдения разнообразными примерами из речевого обихода города. Этим, наверное, достигается и жизненность выдвинутых автором положений, и их экспериментальность, которые, как мы полагаем, выдержали проверку временем и звучат так же современно, как и 60 лет назад.

Как-то известный писатель и мудрый человек К.И. Чуковский, оценивая один из трудов С.И. Ожегова, позднее скажет то, что было непременным условием, основополагающим принципом научных разысканий ученого. Вот эти слова: "Это не дилетантская книга. В ней совершенно отсутствует вкусыщина (...). Научность ее выражается не в щеголянии трудными учеными терминами, а в тех предпосылках, на основе которых авторы (...) произносят то или иное суждение. Эти предпосылки – чувство историчности, диалектичности (здесь и далее курсив наш. – О.Н.) языковых явлений, то есть полное отсутствие того догматизма, которым всегда отличаются обывательские суждения о языке" (Архив РАН. Ф. 1516. Оп. 2. Ед. хр. № 173. Л. 3). Представляемая статья и есть яркая иллюстрация этого основного научного принципа С.И. Ожегова.

О.В. Никитин

* * *

§ 1. Изучение языкового обихода русского города становится, как будто, задачей русской филологии (столь мало вообще популярной в сознании говорящих на этом языке)¹.

К этому изучению приводят интересы двоякого рода: стремление к пересмотру исторических перспектив развития языка, а с другой стороны, стремление к познанию факторов становления языка² в различных социальных группах, без чего невозможно и³ понимание эволюционного процесса.

Первый из русских лингвистов, кто поставил вопрос о роли городских центров в судьбах русского литературного языка, был А.А. Шахматов. Ему принадлежит ("Введение в курс ист(ории) рус(ского) яз(ыка)") плодотворная мысль о языке, как он называл, "образованных" и "господствующих" классов Киева и Москвы. Не только целый ряд спорных исторических вопросов (например, о языке полян, о населении и языке киевщины) может быть⁴ по-новому разрешен с этой точки зрения, но и весь процесс исторического развития русского языка, рассмотренный не как сцепление механических воздействий и крестьянских диалектов, предстанет в новом, более реальном свете. Но стремление к полному пониманию механизма языковых систем различных исторических эпох всегда наталкивается на вполне естественную⁵ отрывочность данных, которая предопределяет неполноту знания о системе и сводит его к классификации и определению отдельных элементов. И вот поэтому первым этапом является изучение языковой обстановки современного города, которая легче поддается и наблюдению (и которая, при соблюдении необходимых условий, обеспечит полноту знания о системе)⁶.

§ 2. В языке современности⁷ нет единства. И не потому только, что специфические условия городской жизни создают многочисленные условно-профессиональные говоры, жаргоны. Они могут сосуществовать с общепонятным языком города, не нарушая его системы и лишь увеличивая пестроту словесного обмена. Отсутствие единства создается не этим, а существованием⁸ двух полярных систем. Одна – литературный язык с достаточно устойчивыми формами выражения и письменно-фиксированный, с резкими консервативными тенденциями. Как культурный и государственный язык, он в сущности⁹ экстерриториален и в городе для него лишь наилучшая точка приложения. Как культурный, он является притягательным центром, к которому стремятся все, желающие получить права культурного гражданства.

Другая система – язык, не совпадающий вполне ни с литературными диалектами, языком городской в тесном смысле слова, порождение города, язык, который условно можно назвать "просторечием". Этот язык всегда, а в годы революции в особенности, является причиной эволюции литературного языка, котлом, в котором перевариваются диалекты, чтобы впоследствии внести свежие струи в литературный язык.

§ 3. Условное введение термина "просторечие" объясняется крайней расплывчатостью его. Традиция его применения многообразна. Впервые появляется он как термин стилистического, а не собственно языковедческого определения. Так, в XVII веке

¹ Конец фразы, заключенный нами в угловые скобки, зачеркнут. Здесь и далее авторские сокращения и незначительные пропуски раскрываются в угловых скобках. Пунктуация подлинника приведена в соответствие с нормами современного языка.

² Далее написано и зачеркнуто: *в сознании говорящих*.

³ Далее написано и зачеркнуто: *историческое*.

⁴ Далее написано и зачеркнуто: *освещен*. Затем одно слово в ркп. зачеркнуто (запись неразборчива), затем написано *и* (зачеркнуто).

⁵ Далее начало недописанного слова зачеркнуто.

⁶ Конец фразы, заключенный нами в угловые скобки, зачеркнут.

⁷ Слово приписано над строкой.

⁸ Далее написано и зачеркнуто: *в городе*.

⁹ Предлог со словом приписаны над строкой.

просторечием называлось всякое литературное речеведение, несоответствующее¹⁰ нормам красноречия – риторики (ср. Аввакум). В XVIII веке просторечие – разновидность речи образованных людей: это домашняя непринужденная речь, не стесняемая условностями общественного этикета и книжным словоупотреблением. Впрочем, в нем существовали не только лексические, но морфолого-синтаксические отличия от книжного языка¹¹. На него и был ориентирован "низкий штиль". Когда в XIX веке (к середине его, приблизительно) определилась социальная дифференциация города, то оказалось, что тó, что было присуще "домашнему" языку дворянства, принадлежит к мелкому чиновничеству, мещанству и прочим не сословным обитателям города (ср. "Господин Прохарчин" Достоевского). Если дворянство и могло еще щеголять языковыми "вольностями", нарочитыми¹² диалектизмами, то для новых носителей городской культуры, разночинной интеллигенции, унаследовавшей книжные традиции речи, представлялось социально необходимым закрепить их, элиминировав "вульгарные" обороты и "народные" формы. В итоге причина почти¹³ законодательной принудительности¹⁴ правописания Грота. Всплывает и новое название "мещанский говор", для обозначения языка "необразованных" городских слоев. Термин "просторечие" в лингвистической литературе стал¹⁵ употребляться крайне неточно: им называлась всякая речь, отличная от литературной: и крестьянские диалекты, и язык низких социальных слоев города вообще, и т(ак) н(азываемые) мещанские говоры, иными словами, "просторечие" стало синонимом "простонародного языка". А в разговорном обиходе интеллигенции "просторечие" стало употребляться как синоним выражения чего-н(ибудь) попросту, без обиняков.

Выдумывать¹⁶ новый термин трудно, да и не всегда полезно. Принимая же термин "просторечие" для обозначения 2-го общего языка города в его современном состоянии, нужно понимать его только, как языковую характеристику той части городского населения, которая не говорит на "литературном" языке. Ведь, в сущности, за каждым обжившимся в языке словом тянется хвост былых воспоминаний и¹⁷ разномысленных ассоциаций.

§ 4. Просторечие в¹⁸ общем характере своего речеведения имеет некие¹⁹ устойчивые признаки. Это не раз отмечали наблюдатели (Дикарев, Добропольский), некоторые исследователи (Обнорский). Преимущественно замечания их относились к крупным городским поселениям²⁰. Как велико это однообразие просторечия по всем городским поселениям, судить, пока не исследовано, трудно. Но располагая личными впечатлениями современников и данными других языков (например, французского) в этом направлении, в правдоподобии сомневаться не приходится. Причина этого однообразия – в аналогичности социальной конфигурации городов. Стало уже обычным утверждение о том, что образование и существование "общего языка" определяется²¹ совокупностью социальных, экономических, политических условий (Vendries).

Определенность границ и устойчивость форм речеведения в разных типах городского языка прямо пропорциональны устойчивости социальных делений. В Париже, где социальная градация верхних буржуазных слоев и культурной интеллигенции, средней и мелкой буржуазии с чиновнической массой и пролетариата, имеет форму законченной

¹⁰ Написано над зачеркнутым словом *выпадающее из*.

¹¹ Далее четыре слова зачеркнуты (запись неразборчивая).

¹² Слово приписано над строкой.

¹³ Слово приписано над строкой.

¹⁴ Написано над зачеркнутым словом *характера*.

¹⁵ Слово приписано над строкой.

¹⁶ Одно слово сверху зачеркнуто (запись неразборчивая).

¹⁷ Далее одно слово зачеркнуто (запись неразборчивая).

¹⁸ Далее написано и зачеркнуто: *своем*.

¹⁹ Далее написано и зачеркнуто: *стандартные*.

²⁰ Далее написано и зачеркнуто: *Насколько*.

²¹ Далее несколько букв следующего слова жирно зачеркнуты.

и замкнутой иерархии классов, где каждая социальная прослойка разделена не только экономическими границами, но бытовыми навыками, общественными вкусами, не принятыми в другой (а примеры для подражания только от высших) – там и речь в ее грамматических и лексических нормах строго прикреплена к каждой общественной группировке (*Vendryès, Bauche, Sainéan*). Здесь²² можно говорить о наличии социального диалекта.

Специфичность русских социальных условий несколько иная. Не было столь строгой, как во французских условиях, бытовой, житейской ограниченности в средних прослойках общественной иерархии. Социальная разнокалиберность так называемой интеллигенции была связующим звеном между речью верхов и низов. Речь, сама по себе, не расценивалась, как во Франции, социальным дифференциатором²³. Колебания норм речи признавались скорее различиями культурными (подвижными, легко устранимыми), а не различиями социальными (непроходимыми).

Для дореволюционного времени устойчивым представляется только слои городского мещанства, мелкого чиновничества и тяготеющего к ним городского населения. Особенности их речи (совершенно, впрочем, не исследованные)²⁴ получили название "мещанских говоров"²⁵. Оставляя в стороне вопрос о существовании "мещанской речи" дореволюционного времени, надо лишь заметить, что целый ряд устойчивых наследий (форм и фразеологии) в современном просторечии исходит именно из традиций этой мещанской речи. Вполне понятно, что основной крестьянский контингент, оседавший в городах, рабочие, по характеру бытовых отношений²⁶, подвергались воздействию этой мещанской речи, которую они слышали на рынках и базарах, в лавках, в сношениях с низшей администрацией, и которая служила образцом. Крестьянин, еще живущий в деревне²⁷, в том случае, когда он видит отличие своей речи от городской, он сравнивает свою речь с говорением городского обывателя, а не с литературным языком, с которым сталкиваться не приходится.

«Теперь можно ответить на вопрос»²⁸ – кто же является субъектом просторечия? Разрушение²⁹ революцией тонких социально-бытовых переборок³⁰, привив новых и по-новому говорящих людей во все звенья государственного аппарата и общественной жизни, казалось, смешали и без того спутанную языковую конфигурацию города. Литературный язык поспешно идет к установлению двух норм внутри себя: письменной и разговорной. Последняя подвижна и неустойчива³¹. В основе создания новой разговорной литературной нормы лежат лингвистические свойства просторечия³². И различие этих типов городского языка осмысливается не как различия социальной дифференциации, а как ступени культурного развития. В этом³³ трудность определения носителя просторечия.

Основной массой, говорящей на просторечии совр(еменного) города, является промышленный пролетариат, регулярно пополняемый резервами из деревни; текучий элемент строительных рабочих, не порывающий связи с деревней; разнокалиберные остатки многоликого мещанства, чиновничества, переваривающихся в рабочей массе города на фабриках, заводах, в учреждениях низовой администрации и влияющих на

22 Далее одно слово зачеркнуто (запись неразборчива).

23 Далее зачеркнуты слово *речь* и начальные буквы следующего слова.

24 Написано по зачеркнутому: *совершенно не исследованные*.

25 Далее полторы строки жирно зачеркнуты (запись неразборчивая).

26 Далее написано и зачеркнуто: *были*.

27 Далее написано и зачеркнуто: *если и*.

28 Указанная фраза в автографе заключена в квадратные скобки и зачеркнута.

29 Первоначально было написано: *разрушенные*.

30 Далее написано и зачеркнуто: *и*.

31 Далее написано и зачеркнуто: *разноцветна*.

32 Далее написано и зачеркнуто: *но*.

33 Далее написано и зачеркнуто: *основная*.

речеведение рабочих, которые, в свою очередь, в большинстве своем, поддерживают и личные, и общественные связи с деревней. Но речь всех этих слоев города не застывает ни с точки зрения влияния снизу (деревня), ни с точки зрения давления сверху (литературный) язык). Условия культурной жизни города и отсутствие обычных социальных перегородок создают из просторечия "проходной двор": побывав в нем, прибывший из деревни или нет, стремится дальше в лоно литературного языка. Просторечие – язык, пребывающий постоянно в режиме неустойчивого равновесия. Границы его не очерчены строгой линией. Они состоят из постоянно перемежающихся промежуточных слоев.

С точки зрения принятой языковедной классификации можно ли отнести просторечие русского города к одному из диалектов русского языка? Хоть и редко, кто станет теперь утверждать, что диалект является непрерывным, независимым от других развитием ядра, хоть и известно, что развитие диалекта обусловлено именно беспрерывным смешением с другими, но вряд ли можно будет расценивать просторечие как диалект.

Понятие диалекта до сих пор нельзя считать окончательно определенным. Ясно одно, что, например, совпадения подавляющего даже большинства звуковых элементов с другими диалектами не разрушают данного диалекта как обособленного единства. Диалект может заимствовать из соседних все фонетические элементы, и они, эти заимствования, не разрушат единства³⁴ до тех пор, пока целя фонологическая схема диалекта. А она поддерживается исключительно социальной, в широком смысле, обстановкой диалекта среди других. Последняя же определяет сознание говорящих, заставляющее чуждаться слияния. Исчезает сознание – исчезает диалект (Vendryès, Каринский, Зеленин). Сознание говорящих на просторечии обращено на преимущества "правильной" литературной речи. Социальная обстановка сама создает сознание временных присторечного речеведения, создает условия культурных причин необходимости просторечия и в то же время условия для освобождения от него. Просторечие – тип общего языка, создающегося на основе диалектов, но не становящегося диалектом.

Диалекты одного языка обособляются не по различию значимых структур речи (например, синтагматической системы в широком смысле) – все диалекты языка имеют некий общий субстрат, – а по различию звуковой оболочки речи, различию не принципиального характера. Вот почему все попытки провести границы между диалектами соответствовали реальной обстановке только тогда, когда опирались на различия звукового характера: словарные, например, отличия диалектов не настолько закономерны и общи, как звуки, зависят от различных модусов социального-хозяйственных установок и не могут служить (может быть), пока не изучен механизм миграции слов) опорой классификации диалектов.

Вот почему отказ от звуковых специфик диалекта так легко создает общий язык³⁵. Там, где крупные промышленные центры образовались на основе населения великорусских диалектов, даже в окружении ино-русских диалектов (например, Одесса – Зеленецкий, 1855; Воронеж, Харьков, Ростов-на-Дону – Дикарев и др.), эффект получается однородный, и поправка привносится лишь относительностью удельного веса южно- или северновеликорусского континента. При столкновении разнодиалектных масс в городе фонологическая оболочка, столь существенная в деревне, быстро стирается в среде говорящих "по-городски" ("наречье у ней еще не применимое"). Вторичные признаки (термин Жирмунского), не противоречащие ряду составляющих диалектов (которые могли быть предметом смешения, заимствования еще в диалекте), могут быстро распространяться (отсюда влияние на литературную речь). Условием образования и развития общего языка остается, таким образом, общий субстрат

³⁴ Далее написано и зачеркнуто: *его*.

³⁵ Начальная фраза абзаца приписана над зачеркнутым предложением: *Практика образования просторечия в различных городах приводит к такому же заключению*.

значимой речи, синтагматическая система. Локальная крестьянская лексика, ненужная в городских условиях, быстро исчезает, заменяясь новым лексическим, городским фоном, а различие общих диалектических слов житейского обихода создает обширную синонимику (ср. 'есть, пить и под.). Усвоение городской лексики связано с вопросом о переходе в просторечие слов из арго для повседневного употребления. (Общ(ий) язык: 1) из смеш(ения) диалектов, 2) на осн(ове) одного диалекта [Vendryès])³⁶.

Столкновение с устными и письменными формами литературной речи вносит новый момент в организацию просторечия. Оно³⁷ вызывает возможность различия в языковой структуре просторечия двух основных структурных признаков. При общем фонетическом сходстве обоих общих языков, при сходной структуре морфологической и отчасти³⁸ лексической просторечие, являясь компромиссной формой диалектического речеведения, обладает иной системой орфографии, иной локализацией морфологических и лексических элементов. В основе здесь – естественная эволюция, без сдерживающих начал, орфографических традиций, консервирующих³⁹ литературный язык. Эти элементы, являясь как бы заранее заданными просторечию, можно назвать выделяющими признаками просторечия. С другой стороны, специфические условия городской жизни, новые понятия, входящие в сознание бесконечной чередой, новые формы быта, при постоянном воздействии литературной речи на фоне диалектического субстрата создают особые типы семантических рядов, устойчивые формы речи, соответствующие трафаретам форм бытовых сношений⁴⁰. Эти явления, возникающие на основе скрещивания диалектического субстрата с литературной речью, можно назвать конститутивными признаками просторечия.

Представление об отсутствии точно фиксированных границ просторечия объясняется не только крайней текучестью носителей его. Оно изменяется, варьируется не только от человека к человеку, условия выражения, обстановка произнесения накладывает на просторечие этот отпечаток. Удельный вес каждого из сочетающихся элементов и удельный вес целого⁴¹ оценивается жанровой обусловленностью и целевой установкой речи. Сочетание элементов, различное в товарищеском или домашнем диалоге, в речи с трибуны, в письменном оформлении (письма домашнего или рабкоровского или рабкоровской заметки), в речи обдуманной или непроизвольно текущей, между собой или с "образованным" человеком. Изучение привязанности форм речи к бытовым шаблонам требует еще большой работы.

На путях жанровых разновидностей происходит стык или разъединение с различными жанрами разговорно-литературной речи, легко сбивающими с дороги литературной речи, особенно, когда основа деления лежит в выборе слов (Meillet, рец(ензия) на Bache).

(В тесной связи с высказанным стоит вопрос о факторах эволюции языка и, в частности, литературного. Не в приведенных в систему ошибках индивидуального произношения, индивидуальной психологии, а в скрещении диалектов, в смешении и смешении основ общих языков скрыты они. Но это уже предмет для особого рассуждения)⁴².

ОСНОВНЫЕ ТЕНДЕНЦИИ ПРОСТОРЕЧИЯ

§ 6. (Офиэпия просторечия)⁴³.

Просторечие, элиминирующее постоянно фонологические отличия диалектов, в

³⁶ Фраза, заключенная автором в круглые скобки, приписана простым карандашом.

³⁷ Первоначально предложение открывалось словами: *Столкновение с литературным языком.*

³⁸ Слово приписано над строкой.

³⁹ Написано над зачеркнутым словом *содержающих*.

⁴⁰ Далее концовка фразы зачеркнута: *в особенностях в типах словообразования.*

⁴¹ Далее написано и зачеркнуто: *обуславливается.*

⁴² Фрагмент, заключенный нами в угловые скобки, зачеркнут в автографе.

⁴³ Заглавие параграфа зачеркнуто в автографе.

общем своем звуковом строе хотя и⁴⁴ приближается к литературному языку, но обладает рядом особенностей, которые⁴⁵ выделяют его в особую орфоэпическую систему. Просторечие – язык устный, разговорный, не защищенный литературно-графическими ассоциациями и свободно текущий по⁴⁶ физиологической инерции произношения. Ряд этих орфоэпических особенностей свойствен и многим диалектам, но они настолько общи и в принципе не противоречивы тенденциям литературного языка, что познаются вне связи с диалектами. Формы разговора быстрого и отрывочного в привычных сочетаниях и словах усиливают⁴⁷ физиологическую инерцию произношения. Сюда относятся:

1) Упрощение групп согласных. Так, рядом с узаконенным литературным произношением *стн*, *здн* как *сн*, *эн*: *груский*, *позно*, просторечию свойственны:

– упрощение группы *стк* в *ск*: *очиска*, *повеска*,

где в *д*: *вседа*, *тада*, *када*,

льк в *к*: *токо*, *скоко*,

зв в *з*: *разе*;

– отпадение конечного при⁴⁸ закрытом слоге *т*, *т'* в группе *ст*: *пусь*, *тойсь*, *бох весь*, *счасье*, *радось*, *грусь*, *жись*, *рос* (=рост), *дас* (=даст);

– отпадение конечного плавного: *рунь*, *корань* и, обратно, развитие нового слога: *рубель*, *корабель*, *жизень*;

– исчезновение *и* и *й* в косвенных падежах прилагательных на *-ий*: *третему*, *козей*, *верблюжей шерсти*; в безличных глаголах: *думаца мне* (ср. как *видицца*). Брок: *и* слышно в речи медленной, ясной, оно сущ(ествует) психологически, а физически исчезло.

Сокращение слогов в слове за счет безударных, главным образом, первого за ударением, слогов: *всётки*, *обратень*, *передеть*, *сичас* (*съчас*), *прям*⁴⁹; в категории глаголов на *-ова-*, *-ыва-*: *использоввать*, *утрамбовать*.

Изменение фонетического облика часто употребляемого слова, сохраняющее лишь опорные для смысла слова звуки: *всамдели*, *нукшот*, *тыща*, *одинцать*, *пядесят*, *здрасть*, *хоть*, *слышь*; в глаголах на *-ова-*: *пажертаала*.

2) Широкая ассимиляция соседних звуков:

dn > nn: *онним* словом, *инб*, *ониб*, *менный*;

шс > с: *муской*, *риской*, *завблской*;

шс > сс в глаголах 2 л. ед. *ч.* наст. *вр.*: *возисся*, *брееся*, с дальнейшей диссимилиацией *сс > с'т'*: *радуисьть*;

вс > с: *нарский*, *лермантаский*;

дс – тс > с: *послествие*.

Вторичные диалектические признаки, не встречающие противоречия в разнодиалектной среде, расширяются и на говоривших ранее диалектах, где таких элементов не было: отвердение конечных губных: *кроф*, *сем*; отвердение конечного *с* в глаголах: *садис*, *не плачтес*, смешение *ти – ки*: *почки*; преимущественно твердые заднеязычные в окончаниях прилагательных и суффиксах глаголов на *-ыва*; мягкое *р*: *верых*, *четъверьк*, обычные в диалектах: *отстрочка*, *страмница*.

Усвоенные в городе слова часто подвергаются переводу на родное произношение; так, *é* по ударением переходит в *о* независимо от условий, которые сохраняют в

⁴⁴ Хотя и приписано над строкой.

⁴⁵ Далее написано и зачеркнуто: *структурно*.

⁴⁶ Предлог приписан над строкой. После него в тексте написано и зачеркнуто: *от* *толчков*.

⁴⁷ Написано над зачеркнутыми словами *лежат в основе*.

⁴⁸ Это и последующие два слова приписаны над строкой.

⁴⁹ Слово приписано над строкой.

лит(ературном) языке в этих случаях *е*: *шлём*, *склён*, *опёка*, *пёрл*, *совершённый вид*, *одёжда*^{50, *ёр*, *смирённый вид*, *почтённый человек*. Близко к этому место ударения причастий кратких стр(адательного) зал(ога): *разделёно*, *применёно*, *сварён*.}

В условиях соприкосновения с литературным языком возникают произношения на "образованный" лад: *подчёрк*, *надсмешка*, *отставил* (=оставил), *подовторить*⁵¹, *впрочем*, *протчии*, *притчина*, *промежду прочим*, *приставление* (=представление), *представитьсья* (=умереть), *обнакованно*, *унистожить*. Контаминация: *неподсильный труд*.

§ 7. Произношение так наз(ываемых) иностранных слов подчиняется общей системе произношения в просторечии.

1) Во всяком слове, попавшем в просторечие, *е* смягчает предшествующий согласный: *пеньсьне*, *шт'емпель*, *т'ест*.

2) Сочетание *мб*, *мв* переходит в *нб*, *нв*: *бонба*, *планба*, *тунба*, *транвай*, *транбовать*⁵².

3) Диссимилияция двойных, долгих согласных: *кастир*, откуда *касция*.

4) Диссимилияция плавных, ср.: *пролубь*⁵³, *кульер*, *дилехтор*, *колидор*, *левёрвер* (*левольвёрт*), *лаболатория*. [Источник(ик) – франц(узское) простореч(ис)].

5) Производные слова от иностранных по типу: *юпка* – *юпочка*, *флак* – *флачки*, *парат* – *паратная*.

6) Мена *ти* – *ки*: *накэнт*.

7) Усвоение произношения путем звукопроизводства графических начертаний дает сочетания *ио* вместо *jo*: *почталион*, *компанион*, *проспект Майорова*, *район*, откуда *рион*.

8) Нар(одная) этимологизация: *портмонет*, *палихмастер*, *протяжи*.

9) "Образованное" произношение (ср.: *талант* – *талан бесталанный*): *конверт*⁵⁴, *крант*, *рентгентовские лучи*, *галандър*⁵⁵, *автомобус*, *экзамент*, *леворвёрт*, *инциндинт*, *константировать*, *пумазея*, *плацформа*, *резетка*, *квартера*, *барковать*.

10) Усвоение слова с воспроизведением лишь его опорных, значимых звуков: *патрёт*, *крикатура*, *исплатация*, *струмент*, *бранзбой*.

§ 8. Отличия от литературного языка в ударениях отдельных слов, общих с лит(ературным) языком, многообразны и, вследствие недостатка материала, представляются иногда индивидуальными, не вкладывающимися в систему⁵⁶.

1) Усвоение из традиции мещанских говоров, восходящей к старому лит(ературному) языку или иногда к диалектам: *климат*, *магазин*, *ненависть*, *случай*, *действительный*, *навернбё*.

2) Диалектическая акцентуация литературных слов: *исходной пункт*, *средства*, *складской*, *стильней*.

3) Перенос ударения в многосложных словах для⁵⁷ облегчения произн(ошения): *намерёнье*, *ходатайствовать*, *милостыец*, *недбсмотр*, *шахмáты*.

4) Ю(го)-зап(адная) традиция: *молодежь*, *прéдмет*, *предлóжил*.

5) "Образованное" произношение: *президиум*, *планум*, *дервиши-дервиши*.

6) Отождествление в одном ударении разных по значению слов: *географический атлас* (ср.: *атлás* – *материал*), *кондуктор*, *-ша*⁵⁸.

⁵⁰ Слово приписано карандашом и помещено в автографе в круглые скобки.

⁵¹ Слово приписано над строкой.

⁵² Слово приписано простым карандашом.

⁵³ Слово приписано над строкой.

⁵⁴ Слово приписано над строкой.

⁵⁵ Это и следующее слова приписаны над строкой.

⁵⁶ Конечное слово фразы зачеркнуто: *объяснения*.

⁵⁷ Это и последующие два слова приписаны над строкой.

⁵⁸ Слова приписаны над строкой.

7) Перенос ударения на второй от конца слог (по-видимому, под влиянием туземных акцентных отношений): *километр, квартал, процент, бортфель, шофер, пэртер, бюро, докумэнт, интрумент* (но: *струмэнт*).

8) Усвоение из непосредственного источника (моряками), не совпадающего с традиционным лите~~ратурным~~ произношением: *доллár*.

§ 9. В области склонения и спряжения просторечие⁵⁹ находится всегда в искааниях универсальных форм. Аналогические образования, не стесняемые литературными – графическими традициями захватывают все маложизненные формы. Выработка нормы задерживается тем, что, хотя стремление к унификации и *{обще}* всем диалектам, сталкивающимся в городе, но пути этой унификации не едины и тем острее борьба и пестрее сочетание аналогизуемых форм.

К определившимся тенденциям в области склонения существительных можно отнести:

1) Образование им. мн. на -а в том случае, если сущ. муж. р. в род. ед. имеет ударение на основе, а в косвенных падежах мн. ч. на окончании: *выгонá* (кн~~ига~~) Волосевича, Ист. ВКИ⁶⁰), *на складáх, спосыбá, договорá, выходá, очередá, инженера* (ср.: *профессорá, офицерá, директорá*), *лекторá, гробá, триерá* (и *триеры*), *триеры на ходá и сани* (Известия ЦИК), *развивают свои молодые мозгá* (рабкор), *разá, приговорá, цехá, секторá, дизелá, тракторá*, но и *спецы*, хотя *спецов, спецам* (Николич -á у торговцев). Ударение же не на конце в им. мн. ср. р. дает по преимуществу ок(ончание) -ы: *лайцы, вёдры*.

2) Род. мн. м. р. на -ов: *разобв, макарóнов, сапогóв, яблоков, солдатов*.

3) Тв. мн. на -ам: *за машинам, бывают пьяные с длинными рукам*.

4) Тв. мн. на -ям(и) вм~~(есто)~~ -ыми: *дверями, людями, детями (детям), матерям*.

5) Род. ед. от сущ. ж. р. на -а с -е вм~~(есто)~~ -ы: *от сестре, с правой сторонé, в начале учебы, основания его философской системы*.

6) Дат. ед. с -ы вм~~(есто)~~ -е: *к сестры, привлечь к работы, но новой литературы*.

7) Местн. ед. с -ы (-и) вм~~(есто)~~ -е: *в Москви, в реки, в своей внутренней структуры*.

8) Род. ед. от сущ. м. р. на -у вм~~(есто)~~ -а: *от угару* (см. Обнорский).

9) Переход в другой тип склонения: *дитя = дитё*. Потеря склонения слов на -мя: *скоко время, нет время*. Употребление в склоняемых формах таких слов, как *завтра: к завтрему, до завтрева*.

10) Подчинение иностранных слов господствующим типам склонения (ср. у Кудрявского: *бенки – бинок – бинок(и?)*): *трика* (род. ед.), *в машинках и декольтах, а мы в худых пальтах*.

§ 10. 1) В склонении прилагательных – уподобление местн. п. ср. и м. р. ед. ч. творительному: *на Невским, в другим конце, на Забалким, на этим, в одним только ошибка; а творит. мн. – дательному: широкам улицам*.

2) Образование местоименных прилагательных по образцу прилагательных членных: *одная, теи, тую, тых, евоний, ихний*.

3) 3 л. мн. в форме *оны и оне; одне, откуда однем словом*.

4) Чево в знач~~(ении)~~ вин. и им. что: *ты чево делаешь, смотри-ка чево я купила*.

5) Вин.⁶¹ и род. ед. *ей(=её), уней (=у неё); косв(енные) падежи без приставочн(ого) н-; с јим, у јего*.

6) Количественные слова теряют склонение при положении в составе названия⁶² сложного числа: в размере *двести восьми рублей*, находиться в *шестьсот* трех верстах; уподобляются в падеже следующему склоняемому слову: *сорокам лошадям*.

⁵⁹ Далее написано и зачеркнуто: *переживает*.

⁶⁰ Так в тексте рукп. Запись аббревиатуры неразборчива.

⁶¹ Слово приписано над строкой.

⁶² Слово приписано над строкой.

§ 11. 1) В спряжении глаголов – переход к производительным типам спрягаемых глаголов: *махаю*, *щиплю* (*щиплю*), *полоскаю* (*полощу*), *клеветаешь* (= *клевещешь*), но с сохранением активных слов: *пущай*, *не допущай*; *ездю*, *одио*.

2) Смешение в безударном положении I и II спряжения в 3 л. мн. наст. вр.: *рубют*, *любют*.

3) Уподобление глаголам II спряжения форм с *л* после губных: *сытишь*, *сыпют*.

4) Формы пов. накл. при безударном окончании: *покажъ-ка*, *выдъ*, *едъ*.

5) Уподобление основ: *хочеши* – *хочут*, *хотим* – *хотит*, *пекеши* и пр., *бегли*, *прибѣг*.

6) Уподобление инфинитивов: *обойтица*, *пройтица* по образцу *хочеца*, *стремица*.

Уподобление производительным типам склонения, спряжения подвергаются прежде всего активные, чаще употребляемые слова. Более редкие могут употребляться в прежних формах. Но, с другой стороны, действию аналогии могут не подвергнуться слова по своему фразеологическому значению, выпадающие из системы склонения – спряжения, напр.: *пуцай*.

§ 12. К числу признаков резко выделяющих относится употребление и управление предлогов. И особенности основываются, с одной стороны, на общих диалектических привычках, с другой стороны, представляют расширение функций их по сравнению с существующими в разг(оворно)-лит(ературной) речи. К последним относятся, напр., *про* вм(есто) *о*, *об* во всяких положениях и сходный *насчет*, заменяющий *о*, *об*, *по* *поводу*.

1) *С* в зн(ачении) *из*: кто захочет *с наших товарищей...*, *со школы*, *с вагона*, *иду с клуба*, *с него будет толк*, *вырвать с рук*; ср.: *из детских рук* (Успенск(ий)). Речь быв. человека), *из лица хороши*.

2) *С* в зн(ачении) *от*: *с рыбы болит живот*, *с нашего союза ожидать добра как с быка молока*; *с Волги до Урала* (Грамматика Земского и Крючкова), *с Либединского* можно требовать большей лит(ературной?) выработки; ср.: *от лица отличная красавица*.

3) *С* с род. п. вм(есто) сущ. в тв. п.: *он с этого живет*, *он с дому живет*, *каков с лица*, *с этих слов закрывается пьеса*.

4) Часто между с род. п. вм(есто) тв.: *между рабкоров*.

5) *На* в зн(ачении) *в*: *на трамвае*, *на коридоре*; откуда и *жить на деревне*, *на селе*; из эпитетического употребления *на бюро* (на засед(ании)), *на активе*, *на коллективе*, откуда: *на вечернюю школу ходить не буду*.

6) *Благодаря* с род. п. вм(есто) дат.: *благодаря сестер*, *вопреки отца*.

7) *Через* в зн(ачении) 1) *из-за*: *через твою шутку пострадал*, *через тебя уехала*; 2) *посредством*: *через это* только и можно улучшить урожай.

8) *Против* в зн(ачении) *по сравнению с*: высшая дистанция *против* уезда; у нас низкая урожайность *против* других стран.

9) *По сравнению* вместо *по сравнению с*: низкая урожайность *по сравнению* других государств.

§ 13. Фонетика, склонение и спряжение из области морфологии являются твердыми берегами, от которых легко отталкиваться при изучении смешанного языка. Уже переход в область словообразования сулит целый ряд сомнений. Предполагая все же общерусский субстрат в системе словообразования и отправляясь от достаточно все-таки изученной системы литературного языка, – о целом ряде явлений невозможно сказать: являются ли они порождением просторечия, языковой жизни города или в них нужно видеть отражения до-городского периода, отражения словообразования, существовавшего еще в диалектах.

⁶³ Некоторые формы выражения грамматических категорий являются отражением отношений, свойственных, по-видимому, большинству диалектов. Такова судьба категории рода; в просторечии – пестрая картина в сравнении с литературным языком, так замен вм^{есто} замена, рельса вм^{есто} рельс и т.п. (см. Обнорский).

Для суждения о нормах словообразования внутри просторечия требуются более обширные материалы (+ восполнение почти отсутствующих данных о диалектах). Я перечислю здесь типы наиболее часто встречающихся образований.

1) Уменьшительные существительные образуются или посредством обычных уменьшительных суффиксов, или употреблением разрядов слов, в которых заложено соответствующее эмоциональное содержание. Они выражают вежливое⁶⁴ отношение, тонкое обращение: *Оля! Каких на ваш взглядик? [яблок], а я одинокий, у меня папаша больной был!* (вообще отца называют батя, батька); или для выражения дружеской укоризны: *разговорчики опять!, инциативки было маловато, смягчения: ринуться в бой с произв(одственными) неполадками;* извиняющегося тона: *ошибочка вышла.*

2) Образование слов на -ость для образования всяких родов отвлеченных значений и связанных с ними конкретных: *усвоемость* (в знач(ении) процесса: *усвоение*), *успеваемость* (в зн(ачении) успехи), *социальность* (в зн(ачении) социальное положение). Свобода в выборе активных суффиксов вообще: *задавленник* (ср.: *удавленник*), *мимолетных слов.*

3) Слова, по форме причастия, усваиваются просторечием как прилагательные. Разрешение категории причастия свойственно большинству диалектов. Ср. переход прич. прош. вр. стр. на -ный в прилагательное с ударением на суффикс: *переменённый, завалённый и т.п.*

Причастия, сохраняя свою форму, теряют глагольное управление и становятся согласуемыми прилагательными: *занимаемые нами парты начинают пустеть.*

Краткие причастия страдат(ельные) в составном сказуемом принимают форму по образцу прилагательных: *сотни революционеров были повешенные и расстреленные, он сюда был командированый, у меня голова уже не тем забитая* (по образцу: *она была больная*).

Окончание прич(астий) наст. вр. *(на) =иц* в просторечии является лишь суффиксом прилагательных, ср., напр., в образованиях с основой глагола на -ся: *нуждающийся, интересующий* (подписи), *трудящий, гулящий, шляющий, выдающие яблоки.*

Разрушением же категории причастия объясняются образования прилагательных с любым, безразлично, суффиксом причастий: *порванный и сшивать порвавшие машинные ремни, заикающийся (=заикающийся), запоздалый (вм^{есто} запоздавший), лопнутый, трудолюбивый и пр.* Присвоение причастиям⁶⁵ суффиксов прилагательных: *заплаточный (вм^{есто} заплатанный), сортировочные семена (вм^{есто} сортированные), нерасположительные лица (вм^{есто} нерасположенные).*

4) По аналогии с глаголами на -ся, обозначающими (внутр.) деятельность, состояния, образуются от глаголов среднего залога (неперех.) глаголы с -ся: *обещаться, спориться, обитаюсь, расходоваться.*

5) Глаголы *видать, слыхать* в безличном значении *видно, слышно.*

6) Образование несов. *(вида)* многократных глаголов на -ать вм^{есто} =ывать: *докладывать, учить, раскладывать, втискать, прикладывает все усилия; в сов. (виде) -ать вм^{есто} -еть: обеднять, похудать.*

⁶³ Абзац начался незаконченным предложением (зачеркнуто автором): *Так, можно с уверенностью сказать.*

⁶⁴ Далее написано и зачеркнуто: *вежливое обращение.*

⁶⁵ Приписано над зачеркнутым словом *прилагательным.*

§ 14. Различие в словообразовании слов, обусловленное диалектической основой просторечия, переносит вопрос из⁶⁶ морфологии в область лексики. Установление синонимов разграничивает лексику этого типа на литературную и просторечную. Так, принадлежат просторечию глаголы⁶⁷ с преф(иксом) *за-* рядом с лит(ературным) *с-*: *задавать документы*, *заделаться кем-ни(будь)*, с преф(иксом) *с-* рядом с *на-*: *что сторгует денег, то и в карман*, *что сработает, то пропьет; по-* *вм(есто) у-*: *помереть, поспеть; вы- вм(есто) из-*: *выключить из партии; с- вм(есто) из-*: *дореча была спралена; взойти вм(есто) войти; закон еще в силу не взошел; заверяю вас (уверяю), заявляется к товарищу и говорит.* В наречиях: *беспременно (непременно), задаром (=даром), заместо (=вместо), всегда (=всегда), не особ хорошо (особенно).* Параллельные основы глаголов: *разворачивать прения (=развертывать), ворочаться (=возвращаться), пособить, пособлять (=помогать[у автора=помечать]), становить (=ставить), сработать (=сделать)* и т.д.

§ 15. Для выражения обиходных понятий литературный язык имеет готовый и устойчивый запас слов. Для проникновения в нормальный литературный обиход синонимичных слов необходимо наличие либо семантических условий (вариация значения), либо потребность стилистической экспрессии. Поэтому все синонимы этих слов в просторечии (по б(ольшой) ч(асти), они вынесены из диалектов, или, обратно, получены из литер(атурного) языка и употребляются в ограниченном значении) – могут быть сочтены специфическими только для него. Так: ⁶⁸*получка (жалованье, зарплата), машина (поезд), вино (водка), ребята (парни⁶⁹, девчата); полный (весь, целый): полную неделю ездил, цельный день (целый), первеющий (самый лучший), здоровый (большой, сильный); справить (сделать), хвалиться (хвастать), слезть с трамвая (сойти, выйти, а слезть можно сверху, куда залезли перед тем), пихнуть (толкнуть); акурат (как раз), настояще, подходяще, -че, боязно (страшно), сперва, вперед (=сначала) я в лавку зашла, а потом, на квартере (=дома); вместо сегодня, вчера, в прошлом году: сегодняшний день я только заметил это; вчераиний день я повеску получил; я прошлый год это видел; обратно (=опять); усиительные в зн(ачении) очень: больно, шибко, крепок, крепенько; в зн(ачении) скоро: шибко; в зн(ачении) очень хорошо: крепко, классно, здорово.*

В результате скрещения диалектов (а отчасти от арго) внутри просторечия образовалась обширная синонимика для обозначения обиходных понятий, напр., **лицо**: нормальное в разговоре – *морда, рожа*; с оттенком бранности – *ряжка*; более ругательное – *харя, мурло*; вежливое – *личность*; **голова**: *башка, дружеское – череп, котелок*, иногда *балда, об умств(енных) способностях: на чердаке не все в порядке;* **уборная**: обычное – *сортир, вежливое – ватер, офиц(иальное) – клозет, на дворе – отхожее место, диалект(ное) вежл(ивое)⁷⁰ – нужник, дружеское – сральник.*

⁷¹С другой стороны, городские арго, профессиональная терминология пропитали просторечие лексикой, которая вытесняет обычные, сходные с лит(ературным) языком, слова и которая⁷² становится нормальной формой для выражения обыденных, житейских понятий, напр.:

Ударить, бить: шманать, набить, смазать, всыпать, припаять, шарнуть, двинуть и т.п.; попасть впросак, ошибиться: зашиться, запороться, засыпаться; ходить: шляться; уйти: смыться; зайти куда-н(ибудь): закатиться; ругаться:

⁶⁶ Далее написано и зачеркнуто: *области*.

⁶⁷ Приписано над зачеркнутым словом *слова*.

⁶⁸ Перечень примеров открывался зачеркнутым фрагментом: *личность (лицо)*.

⁶⁹ Слово приписано над строкой простым карандашом.

⁷⁰ Слово приписано над строкой.

⁷¹ Начальное слово фразы жирно зачеркнуто (запись неразборчива).

⁷² Далее два слова в строке жирно зачеркнуты (запись неразборчива).

разоряться; входить в задор: залупаться; озорничать, делать что-нибудь будь не всерьез: бунтить, волынить, филониться, трепаться, барахлить; задевать в разговоре: затрагивать; возмущаться, сердиться (ирон.): расширяться, рассстраиваться.

§ 16. Обилие синонимов узаконивается стилистическими потребностями⁷³. Каждый раз употребление⁷⁴ того, а не другого слова зависит от жанра речеведения: выбор их в зависимости от этого то приближается к литературному, то, с точки зрения литератураного языка, становится неприличным. Это в области обиходной житейской речевой практики. (Здесь просторечие резко отделяется от лексического наследия "мещанских" говоров)⁷⁵.

Еще более осложняется⁷⁶ лексическая характеристика современного просторечия присутствием лексики, возникшей в период революции и общей с литературным языком. Здесь я остановлюсь только на вопросе о том, что заключается для просторечия в понятии иностранного слова.

Навряд ли можно говорить об ощущении в просторечии иностранного в том смысле, в каком оно существует для литературного языка – (инаязычие). Для ощущения иноязычности слова необходим билингвизм, ориентация на него. В просторечии иностранные слова-термины и не термины⁷⁷ претерпевают ту же судьбу, что и чуждые слова⁷⁸ литературного языка. Слово-термин всегда соотносится в просторечии с вещью. Неясность, неопределенность или непонятность предмета влечут за собой и соответствующее отношение к слову. Оно чуждо и непонятно и в этом смысле иностранно. Обратно т(ак) называемые иностранные слова при ясности и понятности предмета, безотносительно к этимологическому составу слова, расцениваются как непосредственно входящие в общий состав своей речи⁷⁹. [Ср.: Ушаков – не всегда и ин(остранное) слово кажется иностр(анным). Это хорошо, у кого рука есть или попросту, по-русски сказать, протекция]. (Ср.: автобус – автомобус⁸⁰, коммунист = объяснение: иностр(анные) слова – слова не советские). Таким образом, для просторечия может быть поставлена проблема понимания⁸¹ слов, не соотносимых с предметом. Семантическая судьба иностр(анных) слов сходна с судьбой чуждых литературных: вне контекста, вне круга родственных слов, вне знания⁸² условий употребления они получают ограниченное значение, становятся ярлыком предмета ("Халтуришиш почем зря! Исплатишуешь⁸³, чорт!" – обращаясь к нищему, сердитый пьяный). Другой случай – употребление иностранного слова без знания его значения вместо сходного по звукам своего слова ("образованная" речь) – проблема в зн(ачении) пробел.

§ 17. Наиболее характерными для языковой системы просторечия являются семантико-сintаксические отношения (признаки конститутивные). На путях столк-

⁷³ Начальная фраза абзаца приписана простым карандашом над зачеркнутой: *Лексический состав просторечия очень пестр не только по количеству, но и по функции слов из синонимических групп.*

⁷⁴ Далее написано и зачеркнуто их, последующие несколько слов приписаны над строкой простым карандашом.

⁷⁵ Фраза, заключенная нами в угловые скобки, зачеркнута в автографе.

⁷⁶ Слово приписано над строкой простым карандашом над зачеркнутым: изменяется.

⁷⁷ Далее написано и зачеркнуто: и слова.

⁷⁸ Далее написано и зачеркнуто: иностранные.

⁷⁹ После слова помещен знак сноски, и внизу страницы дается ссылка на Д.Н. Ушакова (мы ее поместили в текст в квадратных скобках).

⁸⁰ Над этой парой приписано карандашом: вещные ряды: извозчик.

⁸¹ Слово приписано над строкой.

⁸² Слово приписано над строкой.

⁸³ Сверху над словом приписано простым карандашом: эксплуатировать=выжимать соки.

новения с литературным языком смешаются диалектные основы, перерождаясь на литературном фоне. Происходит приспособление литературных значений,⁸⁴ деформация синтаксических оборотов и фразеологии. Останавливаюсь на некоторых явлениях.

1) В словообороте эпохи в известных жанрах литературного языка⁸⁵ (публицистика, газета, ораторская политич(еская) речь и пр.) откладывают слова, получающие активную роль в выражении известного круга понятий. Усваиваясь просторечием для пользования в своей обиходной речи, они, вырванные из привычной сферы употребления, теряют свой тесный предметный смысл, становятся многозначны и расплывчаты, делаются знаком⁸⁶ для выражения, по тем или иным ассоциациям⁸⁷, соприкасающихся ситуаций, ср.: делать: (*Отсев* слушателей большой; в конце года не отсеивали; не ходит, его бы нужно было уже отсеять, да...);⁸⁸ изживать сусликов с поля; поручено ей было узнать, но она ничего не проделала; сидели на одной парте и стали договариваться на уроке; почему не всегда посещают педагоги означенную (=нашу) школу; не интересуются данным (=этим) порядком; она не выявляла, чего хочет; могли бы овхватить нашу шк(ольную) жизнь; притти, засняться и уйти; я первый зачинаю рассказ.

2) Активные слова давят на словоупотребление обыденной речи, особенно у людей стремящихся говорить правильно, литературно. Под свое слово, привычное, подставляется ходкое литературное слово (близкое по смыслу) с сохранением значения, присущего субстрату: запретили в корне (=совсем) читать; в этом период, в период (=вовремя) нашей перемены; было вывшено объявление о запрещении такого явления (=этого); сегодня то явление было (=было то); которые же факты (=явления) не изжиты; тут другие (=некоторые) слова правильно поставлены⁸⁹; соединять по две группы в одно занятие (=урок); да я сознаю (=понимаю), конечно; на крепостнической фабрике; к подбору преп. составов (=преподавателей) надо подходить; намечайте своих кандидатур (=кандидатов).

3) Употребление слова по признаку экспрессивной выразительности, без соответствия с обычным контекстом лит(ературного) языка, причем выбор определяется лишь побочными эмоциональными ореолами, принадлежащими слову: Дети находились в неблагонадежных условиях: работали по 17 часов; режим экономии весьма благоприятная вещь; вышеупомянутый поступок носит очень ожесточенный характер; здесь симпатично сидеть, понимаешь ли; совсем обеспечил человека (обескуражил), (рассадили по следующим партам)⁹⁰, не мешает здравом делу маленько соблюсти (=навести) там порядок, (я сначала не врал, только впоследствии (=потом) попутал)⁹¹, работают по 17 ч(асов), переносят все негодования (=невзгоды).

4) В условиях бытового, иногда⁹² затрудненного монолога образуются слова со стершимся предметным значением, пустышки, которые служат как бы пружинами, проталкивающими речь по нужному пути: (объясняется текучестью, понимаете, состава)⁹³; свою я, лично, знаю (смену); стали, как говорится, в школу ходить; (я, значит, говорю); (вы верно отлежали, вот в таком роде); вечер небольшой, много,

⁸⁴ Далее написано и зачеркнуто: недоосмысление литературных значений.

⁸⁵ Далее написано и жирно зачеркнуто слово (запись неразборчивая).

⁸⁶ Сверху приписано: обобщенный "предм." Смысл.

⁸⁷ Сверху приписано простым карандашом: покрывший.

⁸⁸ Фраза заключена в круглые скобки. Сверху приписано: к п. 2.

⁸⁹ Фраза заключена в квадратные скобки. Вероятно, автор намеревался ее включить в другой пункт.

⁹⁰ Фраза заключена в круглые скобки. Вероятно, как и следующий фрагмент, автор хотел перенести в п. 2.

⁹¹ Фраза заключена в круглые скобки. Сверху приписано: к {п.} 2.

⁹² Это и следующее слова приписаны над строкой.

⁹³ Здесь и далее фразы заключены автором в круглые скобки.

примерно, не даст; это, безусловно, не удалось; я, между прочим, скверно читаю; женщины, то же самое, ходят; и мне, то же самое, замечание сделал; распоряжаться здесь, то же самое, дело трудное; мне хочется, главно дело, близко.

5) Процесс овладевания литературной речью создает тип скрещенных слов (и застывших выражений). Сцепление более близкого и понятного слова с литературным того же значения⁹⁴ создает слово более выразительное, эмоционально более насыщенное, напр.: необходимо надо; необходимо нужно; спеши скорей; мы, рабочий пролетариат, должен учиться; старик весьма был больно рад; коса отличная хороша; совершенно конечно трудно; рабочим доставалось очень трудно; взять в руки под дисциплину рабочей школы; работа проводится в полном разгаре; то во время, когда кино; хорошо, если не более в период этого времени; ничего не знаю, мне надо фактически билет на лицо.

6) Литературный язык обладает богатым ассортиментом фразеологических сращений разного типа – застывшие выражения, привычные сцепления, обороты, – имеющих точно очерченный круг употребления. Приобщение к этому фразеологическому⁹⁵ богатству вызывает в просторечии два основных явления. Фразеологическое сращение воспринимается⁹⁶ в его лит(ературном) значении⁹⁷, но в деформированном виде: опорное, центральное слово (сочетание) остается, а другая часть заменяется словом (сочетанием) более близким, привычным: обеспечит вопрос (=дело), совершенно правильно(=верно), голосу не отдавал (=подавал), беру вину (=принимаю), таким образом (=образом), что даст большую роль в поднятии (=играет), играет значение (=роль, =имеет), вышел для компании (=за), он как сказать забыл (=так), факт на виду (=лицо), при царском времени (=режиме), дал замечание, дал выговор (=сделал), взять во внимание (=принять), не хватает другой раз (=иной), безалаберная тратка наших энергий (=сил), контр-буржуазная двадцатка, применять все усилия (=прилагать).

7) Второй тип деформации – сохранение опорного члена сращения и опущение менее значимого обычно в устной, диалогической речи: навряд (ли), производить как большие очищение семян, вы согласители в большинстве (большинство из вас с^{оглашают}ся), покупает теперь в большинстве рабочий (=случаев), во что бы ни стало (то), повидимо (му), хотя в частности (-бы), накладали не по существу штраф, купить бы кошке какова барабаха (-нибудь), задает какие вопросы (-ниб^{удь}), можно ли оттуда писать какие заметки (-ниб^{удь}), приезжайте к нам когда (-ниб^{удь}).

Подобно активным словам, фразеологические сращения часто вклиниваются в речь для придания большей выразительности. В просторечии круг их употребления расширяется⁹⁸, теряя связь с обычными их функциями в лит(ературном) языке: приложить активное участие, торгаш чувствует себя единственным хозяином положения, силой административн(ого) порядка вывести нагами на посы(...)⁹⁹ оскорблений личности, хватать..., даст большой режим экономии в топливе, начал жить по новому быту, мало прижимали кулачество общественным воздействием, находясь в материальном положении батрака, в какую положительную сторону оно будет направлено, подвергались дурному обращению.

⁹⁴ Далее написано и зачеркнуто: дает.

⁹⁵ Слово приписано над строкой.

⁹⁶ Далее написано и зачеркнуто: целиком как средство выражения.

⁹⁷ Это и предшествующие несколько слов приписаны над строкой простым карандашом.

⁹⁸ Сверху над словом приписано простым карандашом: по (следующее слово записано неразборчиво. – О.Н.) ассоциациям общности.

⁹⁹ Окончание слова написано неразборчиво.

§ 18. Отличия от литературного языка в области управления глаголов основываются также¹⁰⁰ на уже упомянутых семантических свойствах просторечия: постановка своего¹⁰¹ значения (и управления) в литературное слово.

Доказать на кого (=показать, дать показание).

Не препятствуй меня (=не задерживай).

Он может купить все принадлежности, кот(орые) ему касаются в жизни (=нужны).

Меня начинают многоземельные угрожать (=стращать).

Неужели мы для этой цели стремились? (=боролись).

Тогда мало приходится взыскивать на него (=класть вину).

Обсуждали о неправильных (=говорили).

Преследовать свою целью (=поставить).

Проникать что (вм(есто) во что; =пропитывать собою).

Слух побудил всю белую кость (=разбудил).

Заявить свое недовольство (=претензию).

Я вам предупреждаю последний раз (=говорю; кондукт(ор)).

Он не мог интересоваться с простым народом (=иметь дело, сообщаться).

§ 19. В основе синтаксического строя просторечия лежат навыки речи, принесенные из диалектов. Характерны, как выделяющие, типы повествовательных предложений с ф(ункциями) д(ействий) вместо личного глагола (была не окрепши, он выпивши), в безличных предложениях вм(есто) прил. стр. кр. (пять классов было прошедши), деепричастие от гл. на -ся без -ся (как лучше, застегнуши или расстегнуши?) и т.п. Формула *не знаю как* знак вопросит(ельно)-уступит(ельного) предложения: *не знаю правда, не знаю нет; пришли не знаю учиться или время провести; не знай тебе сказать, не знай нет.*

Для характеристики просторечия интереснее словосочетания и предложения, возникающие на фоне общения с литературной речью, и формы усвоения лит(ературных) конструкций. Здесь проявляется та¹⁰² же общая тенденция просторечия к унификации, к сохранению лишь сигнальных знаков сочетаний и к ощущению нейтральных, с точки зрения значения, членов.

1) Предл(ожение) с *так как* (союз прид.) – с союзом *как*: *Беру вину на редколлегию, как сам в ней состою; Как я неграмотный, я не могу; и как я живу в Ленинграде, то; но крестьяне как их сердца чувствовали смирене и пошли...*

2) Предл(ожение) с *так* (гл. кр.)¹⁰³, *как* (прид.) = *как*: *Да и сидит-то он не как остальные, а...*

3) Вм(есто) *кроме того, что* – *кроме как*: *Ничего не делает кроме как ходит по заводу.*

4) *Которые* в главн(ом) предл(ожении) вм(есто) *те, которые*: *Которые лица уже не ходят, а у них...; Для чего деньги потратили которые интересуются.*

5) *Междурочным* вм(есто) *между тем*: *Много бы хорошо получили, а между прочим ничего не делал; У нас 42 комсомольца, но между прочим комсомольской среды не видно.*

6) В сложных типах сцепления предложений *вместо того, чтобы*: *Вместо чем помочь ты...; что касается того, чтобы: Что касается пользоваться ихними кабинетами...; глагол, что: Я говорил, в бутылку загоним; а также и: Падает посещаемость слушателей также и педагогов.*

7) Сложное слово предложения: *Не стал заниматься ввиду маложелающих.*

¹⁰⁰ Слово приписано над строкой.

¹⁰¹ Слово приписано над строкой.

¹⁰² Это и следующее слова приписаны над строкой.

¹⁰³ Такое сокращение в тексте ркп.

Активные типы предложений из газеты, ораторской речи переходят в бытовой оборот, становясь нормальным типом предложения – это: *Основной тормоз это отсутствие средств*; и расширяясь в обращении: *Плохая сторона это то, что...; Прямая речь это когда; Четырнадцатый это куда идет?*

Как трамплин для перехода к новому обороту мыслей, употребляются *если взять, взять, возьмем; мое бы предложение*.

На фоне литературных заимствований вырастают предложения оригинальные¹⁰⁴, причем выбор останавливается на наиболее привычных знаках. Как является сигналом разных значений. Если он в придаточном предложении, то получает значение *когда*: *Как Ленин приехал (...), у населения стало мнение...* Если в словосочетании, то в *значении* чем: *Не хуже как в старую голодовку; обращались не лучше как с ним.* Стремление к "образованному" правильному обращению вызывает усложненные обработы (контаминации)¹⁰⁵: *как за вм(есто) за с род. п. (сочли его как за бандита); вм(есто) тв. п. (стенгазета) будет нам служить как за рупор; как и не я вм(есто) как я (он такого же как и не я росту)* (см. Чернышов); *опять же вм(есто) и: а принялся я за общество, опять же за географию – сразу понял все. Затем (зато)... что вм(есто) потому... что*.

Монологическая форма речи в *литературно-разговорном* языке в идеале¹⁰⁶ ориентируется на книжное построение, и степень совершенности ее зависит от степени владения данной языковой культурой. В обход этих типов речи в просторечии создается монологическая речь, построенная на формах диалогической.

Из вопросно-ответной формы:

А почему я вам скажу, потому что не за свое взялся;

Сегодня поеду, а почему, потому что завтра не ехать на службу;

А почему я не видела, потому что некада.

Проблема косвенной и прямой речи тесно связана с организацией монологической формы. Легче воспроизвести сказанное, чем придать ему новую конструкцию¹⁰⁷, тем более, что разговорная речь всегда имеет тенденцию течь только по значимым величинам; помошь внеучевых элементов дает возможность производить сцепление мыслей, игнорируя сцепление форм:

А Иван ответил, что я не знаю и...

А только старались как бы продернуть администрацию.

Крестьяне обиделись зачем отдал богачам их богатство.

На этом же основаны предложения с независимыми (не согласованными) с подлежащим) деепричастиями; *попавши на фабрику, нас отдают; крестьяне приезжая за 10 в(ерст), им отказывают*.

§ 20. Общий тонус речеведения в просторечии в области аксессуаров речи сходен с литературным. Типы мимики, жестикуляции, повышенности голоса, типы интонаций, эмоции так же привязаны к каждому речевому сношению, так же устойчивы для каждой формы бытового сношения, сопровождаемой речью. В просторечии они, может быть, лишь более экспансивны, не будучи связаны различными условностями "хорошего тона", которыми опутан человек, сносящийся на литературном языке. Некоторые формы языка просторечия совпадают с этой общей¹⁰⁸ экспансивностью речи: мгновенные глаголы очень экспрессивного значения (в *пов(елительной?)* речи): *хрясь по зубам, он хлыстъ его!, хватъ за шиворот, междометные зачины фраз (по существу без особой экспрессии): ой уж уехал; ой, извиняюсь; ах, она у тебя!, смеялась, ой!*

¹⁰⁴ Первоначально в тексте было: *оригинального типа*.

¹⁰⁵ Слово приписано над строкой.

¹⁰⁶ Слово приписано над строкой.

¹⁰⁷ Написано над зачеркнутым словом *структурой*.

¹⁰⁸ Слово приписано над строкой.

На этой почве при знакомстве¹⁰⁹ с обстановкой привычного бытового акта отпадает необходимость¹¹⁰ каждый раз нового построения речевых оборотов из привычных сочетаний; из него достаточен знак, сигнализирующий все последующие и вызывающие чужую реакцию:

Встреча и прощание
Наше (вам почтение) пока
 Моё вам всего
 Ну как! Всех
 Почтение! До скорого!
 Пишите (ирон.)
 А.Н. Счастливо!
Вычурн. *Добрый привет Пожилаим*
 Согласие – отрицание¹¹¹
 Иди ты! Кончено! (дело)
 Мимо! Определенно
 Брось Факт
 Странно! Ясно
Ничего подобного! ("лит.") Есть такое дело
 Ага!
 Вот и все
Вопрос
 Ну?? Понуждение
 Понятно? Вали
 Это будет N улица? Дуй
 Вы случайно не к нам?
 В чем дело?
Обращение
 Тов(арииц), скажите ск(олько) время?
 Гражданин, посторонись!

Житейские условия выработали и форму обращения.

¹⁰⁹ Далее одно слово жирно зачеркнуто (запись неразборчивая).

¹¹⁰ Далее зачеркнуты два слова, предположительно: *законченной речи*.

¹¹¹ Сбоку напротив столбцов приписано: *похвала* – *хорош(ее) дело*.

КРИТИКА И БИБЛИОГРАФИЯ

РЕЦЕНЗИИ

Отечественные лексикографы XVIII–XIX вв. Материалы для хрестоматии / Под ред. Г.А. Богатовой. М.: ИРЯ РАН, 1998. 184 с.; **Отечественные лексикографы XX в. Материалы для хрестоматии / Под ред. Г.А. Богатовой.** М.: ИРЯ РАН, 1999. 288 с.

В поступательном развитии любой науки закономерно возникают моменты, когда необходимо осмыслить свое "хозяйство", оценить достигнутое и наметить стратегию и тактику дальнейших научных поисков. Отечественная лексикография – не исключение. Весьма знаменательно, что на рубеже веков появился обобщающий труд по истории русской лексикографии [ИРЛ 1998; Барабанцев 1999], осуществляются и осуществлены новаторские лексикографические предприятия, среди которых назовем "Большой толковый словарь русского языка" (СПб., 1998) [Девкин 1999], "Толковый словарь русского языка конца XX в.: Языковые изменения" (СПб., 1998) [Борисова, Сиротина 1999].

В контексте современного развития науки и культуры выход в свет рецензируемых 2-го и 3-го выпусков серии "Отечественная лексикография" (ОЛ) следует признать достаточно актуальным и своевременным. Выпуски содержат биобиблиографические сведения о русских лексикографах XVIII–XIX вв.: Е.Р. Дашковой, А.С. Шишкове, А.Х. Востокове, И.И. Срезневском, И.Н. Березине, В.И. Дале, Я.К. Гроте и, соответственно, о лексикографах XX в.: А.А. Шахматове, М.Р. Фасмере, Д.Н. Ушакове, Ф.П. Филине, В.В. Виноградове, А.М. Бабкине, А.П. Евгеньевой, С.И. Ожегове, Ю.С. Сорокине, Н.И. Толстом, Н.М. Шанском, О.Н. Трубачеве, Н.Ю. Шведовой. Таким образом, заинтересованный читатель получил наконец в свое распоряжение целостную хрестоматию "Отечественные лексикографы", где объектом описания является фундаментальная академическая лексикография в лицах, что особенно ценно, учитывая полное отсутствие персоналий во 2-м издании энциклопедии "Русский язык".

Хрестоматия сопровождается спецкурсом "История и теория русской лексикографии в Российской Академии наук", основу которого составили лекции, читавшиеся в 1997–1998 гг. Тем самым выход хрестоматии способствует укреплению интеграционных связей академической науки и высшей школы, значительно ослабленных в последние годы.

Авторами большинства персоналий являются известные лексикологи и лексикографы, посвятившие словарному делу многие годы своей творческой жизни, имеющие прочный и заслуженный авторитет в современной русистике. Это придает хрестоматии характер научно взвешенного труда, который, в частности, освобождает личности лексикографов XVIII–XIX вв. от идеологических ярлыков, искаженных и предвзятых оценок, закрепившихся за ними в прошлом.

Структура персоналий в целом отвечает определенному единству: сообщаются сведения о жизненном и творческом пути ученого; приводятся высказывания ученых относительно разных аспектов изучения русского языка и его лексикографического описания; даны оценки деятельности ученых их современниками и последующими поколениями исследователей. Завершаются персоналии библиографией, включающей основные труды лексикографов и литературу о них. Заметим, однако, что при библиографическом описании иногда смешиваются алфавитный и хронологический принципы, и поэтому последовательно не выдерживается ни один из них (вып. 2: 33–34, 180–181; вып. 3: 136, 169, 183–184, 198). В отдельных случаях привлечены интересные архивные материалы, связанные с деятельностью Е.Р. Дашковой, И.И. Срезневского, Я.К. Грота, А.М. Бабкина и др., причем архивные материалы об А.А. Шахматове и

Д.Н. Ушакове вводятся в широкий научный оборот впервые.

Первую часть хрестоматии (вып. 2 серии ОЛ) предваряет вступительная статья О.Н. Трубачева "Меняющийся мир и вечные слова" (с. 9–14), в которой известный славист-лексикограф приглашает к размышлениям об экологии слова в эпоху всевластья массовой культуры и СМИ. Справедливо замечено, что "за наиболее частотными и порой, увы, избитыми словами стоят нередко понятия вечные и прекрасные. Эти понятия страдают и в чем-то проигрывают от поношеннности словесных одежд, в которые мы их день за днем одеваем. Об этом надо думать (...)" (с. 9). Убедительно показано, что изнашиваемость и синонимичность свойственны прежде всего общественной лексике, обозначающей вечно меняющийся мир. Напротив, экологическая лексика (вечные слова типа *солнце, день, свет, земля*) характеризуется бессинонимичностью, в чем следует видеть "... проявление великой мудрости народа, коллективного носителя языка, который таким неброским, но очень точным способом схватил и выразил разницу между своим скоротечным существованием, вся сила которого – в воспроизведении себя, своего потомства, своего языка, и тем, что вечно, что было до нас, будет после нас" (с. 11).

В статье рассмотрен статус словарей разных типов в современной лексикографии, их целевое и читательское назначение, причем автор деликатно предостерегает от чрезмерного преувеличения надобности отдельных словарей. Он доказывает, что главным общественно значимым типом словаря в будущем останется толковый словарь национального языка – наиболее совершенный продукт лексикографической теории и практики, исторически развившийся из переводного словаря.

Вводя читателя в творческую лабораторию лексикографа, О.Н. Трубачев на примере анализа толкований слов *лютик, сурепка, лань, косуля, олень* разными словарями раскрывает характер курьезных потерь и неточностей, без которых, к сожалению, не обходится лексикографическая практика. Тем не менее вывод автора относительно общих итогов развития отечественной лексикографии в уходящем столетии полон здорового (ср. лтш. *vesels*) оптимизма: "Наше столетие оставит читателю, исследователю словари, по которым можно будет проследить историю слова от праславянского состояния до его новейшего употребления конца XX века" (с. 13).

Первая часть хрестоматии начинается с персоналии, посвященной Е.Р. Дашковой, тем самым своевременно восполнив пробел, существовавший до настоящего времени в справочной литературе: например, в [СВДР 1979] статья об этой незаурядной личности отсутствует. На фоне культурно-исторической жизни русского общества 2-й половины XVIII в. показана деятельность Е.Р. Дашковой как организатора и руководителя Санкт-Петербургской и Российской Академий наук и одного из авторов Словаря Академии Российской (САР). Анализируются рукописные и печатные источники САР, принципы отбора и расположения слов, параметры иллюстративного материала. Заметим, впрочем, что в числе источников САР "Церковный словарь, или истолкование речений славянских древних, також иноязычных..." П.А. Алексеева неточно назван как "Словарь церковно-славянского языка" (с. 21), хотя далее приводится его верное, но краткое название – "Церковный словарь" (с. 23). В этой персоналии, как и в некоторых других, встречаются отдельные повторы (ср. с. 22, 28; 23–24, 29), но, учитывая жанр хрестоматии, они, может быть, в какой-то степени оправданы.

В очерке, раскрывающем лексикографическую деятельность А.С. Шишкова, читатель найдет немало интересных примеров, свидетельствующих о пионерских разысканиях адмирала в таких областях, как русское словообразование, соотношение корня и его производных, семантические связи слов, – областях, отразивших общее состояние филологической науки на рубеже XVIII–XIX вв. Отрадно, что оценка лексикографических предприятий А.С. Шишкова и его активной организаторской работы дана с позиций русистики конца XIX в. и вполне объективна. Такой подход помогает понять несостоятельность некогда бытовавших суждений о его "дилетантских экскурсах" и взглядах в области славистики, "не имевших научного значения" [СВДР 1979: 371–372]. Таким образом, стираются случайные черты с портрета образованнейшего филолога своего времени.

Достаточно глубоко и подробно, с использованием архивных материалов и убедительных примеров словарных штудий показана работа А.Х. Востокова над Словарем... 1847 г. и корректурой Областного словаря 1852 г. Оценивая качество разработки первого словаря, автор персоналии делает поучительный для современного лексикографа вывод: "Если сравнить (...) показания словаря Востокова с современными нам историческими словарями, от-

кроются удивительные вещи. Оказывается, у Востокова нет ни одной ошибки в классификации памятников и текстов. Более того, все приведенные им примеры оказываются единственными или самыми точными в употреблении тех или иных слов" (с. 66–67). Исследовательский характер данной персоналии позволил ее автору донести до читателя целостный образ великого ученого-энциклопедиста, историка и филолога в исконном смысле этого слова.

Обширный материал содержится в персоналии, посвященной лексикографическим разысканиям И.И. Срезневского. Впечатляет целеустремленная подвижническая деятельность ученого, который, начав с изучения и публикации источников, в течение 40 лет собирая картотеку древнерусского словаря, включающую более 100 тысяч употреблений. Автор очерка акцентирует внимание на том, что концепция жанра исторического словаря сложилась у И.И. Срезневского не сразу: в 30-е гг. учёный размышлял о создании общеславянского словаря – этимологического и этнографического, но в 50-е гг. свое будущее творение он уже называл "словарем русского языка", а в конце 60-х гг. – "словарем древнерусского языка книжного и народного". Фундаментальный трехтомный труд синтезировал и обобщил достижения языкоznания, истории, этнографии, он выдержал 4 издания, включен в корпус обязательных источников при создании словарей исторического жанра и остается ценной настольной книгой для каждого филолога. Оценивая вклад И.И. Срезневского в развитие исторической лексикологии и лексикографии в условиях некоторой "затеоретизированности" современной науки, уместно вспомнить высказывание А. Мейе: "..."). Обычно думают, что наукудвигают вперед новые теории, в действительности же ее успех обеспечивает точное описание фактов" (с. 84–85).

История становления энциклопедической лексикографии отражена в персоналии о востоковеде И.Н. Березине, научное творчество которого слабо знакомо начинающим исследователям, даже в БСЭ о нем сказано слишком скруто. Деятельность ученого как автора и издателя законченного 16-томного "Русского энциклопедического словаря" и 2-х томов "Нового энциклопедического словаря" показана на фоне энциклопедических опытов XVIII–XIX вв. Эти опыты, как и творческое наследие И.Н. Березина, весьма показательны. С одной стороны, они помогают понять большую ориентированность изданий типа БСЭ (в которых продолжают

тиражироваться некоторые ошибки) на приоритетное освещение вопросов партийно-государственного строительства и политической истории, чем на культурную историю России и русских, что неизбежно растворяет само понятие этничности. С другой стороны, ценное энциклопедическое наследие прошлого доказывает актуальную необходимость разработки концепции и создания новейшей "Русской энциклопедии" – оригинального издания научно-культурологического типа, способного помочь современному культурному человеку в преодолении узости познавательных интересов.

Публицистически страстно и живо, с использованием интересного биографического материала написан очерк о В.И. Дале, лексикографическая деятельность которого полно и достойно уже отражена в лингвистической и популярной литературе. Однако следует заметить, что персоналия не лишена отдельных неточных и односторонних оценок. Положительно воспринимая факт составления "Словаря расширения русского языка" (с. 124), автор не учел хотя бы того, что ряд слов в этом лексиконе создан с явным нарушением словообразовательных законов русского языка. А ведь от этого и предостерегал В.И. Даль, которого сочувственно цитирует автор: «"... где только, в применении малоизвестного слова, видна натяжка, а тем более во вновь образованном погрешность против духа языка, там оно глядит рожном", и где новое образование "противно духу языка или самому смыслу, там язык наш упорно от сего отказывается, а будучи изнасилован, дает слова тяжелые, противные слуху и чувству, без всякой силы и значенья"» (с. 147).

Следовало критически оценить справедливость некоторых писательских высказываний, которые весьма далеки от объективно научных: "... слово, которое появилось недавно, – это еще термин, а слово, которое существует много лет, – это уже действительно слово..." (с. 124). А разве в русском языке нет терминов, бытующих веками, и почему новое слово – обязательно термин (ср. блин!)? Чувство эстетической меры и уместности изменяет автору, когда он сообщает: «Поэтесса Юнина Мориц мне говорила: "Когда я иду чистить зубы, я кладу рядом Даля"» (с. 125). Может быть, все-таки лучше – "Орбит" без сахара? Неточен автор при подсчете общего количества изданий знаменитого словаря В.И. Даля, доводя их число до 8 и датируя последнее 1994 г. (с. 154). В действительности к настоящему времени насчитываются, по крайней

мере, 10 изданий, среди них, в частности, издания, предпринятые ТОО "Диамант" (СПб., 1996) и "Русским языком" (М., 1998).

Завершает первую часть хрестоматии краткий очерк о Я.К. Гроте. Его лексикографические достижения связаны с разработкой принципов нормативного академического словаря, которые он успел воплотить в 3-х выпусках одного тома (А–Д), основанием картотеки и Словарного отдела АН, созданием нового типа словаря – словаря языка отдельных писателей.

Вторую часть хрестоматии (вып. 3 серии ОЛ) открывают персоналии об А.А. Шахматове и статья "Словарь Я.К. Грота – А.А. Шахматова". В них проанализированы новаторские разыскания ученого, отказавшегося от идеи нормативности в пользу концепции словаря-тезауруса, в котором достаточно полно отражена диалектная лексика, славянизмы, а разнообразный иллюстративный материал (не "речения") четко документирован. В словаре впервые представлен обширный репертуар русской терминологии, причем термины дефинитивно точно поданы как полноправные элементы лексической системы языка. В этом плане наследие А.А. Шахматова, пока еще не осмысленное в целом, сохраняет свою актуальность для современного терминоведения и терминографической практики. Справедливо замечено, что без удачных экспериментов ученого и опыта его преемников было бы невозможно создать такие новые академические словари, как БАС, МАС, СРНГ (с. 42).

Тепло и проникновенно написан очерк о жизненном и творческом пути М.Р. Фасмера, сумевшего в крайне сложных условиях создать "Этимологический словарь русского языка", замысел которого возник у 20-летнего ученого в связи с изучением влияния греческого языка на славянские. Превратности судьбы не помешали ученому, ставшему для современников эталоном научной объективности, достичь своей главной жизненной цели – с 1958 г. в активном научном обороте находится его знаменитый словарь, отразивший идеи русской филологической школы. Вторую жизнь словарь обрел на русской почве, когда были осуществлены его 1-е (1964–1973 гг.) и 2-е (1986–1987 гг.), а также 3-е (1996 г.) русские издания в переводе и с дополнениями О.Н. Трубачева. Перевод выполнен с надлежащим тактом в отношении к оригиналу и содержит дополнения, имеющие самостоятельное научное значение (новые этимологии, свежая литература вопроса, учет рецензий на словарь), что позволяет сло-

варю оставаться нестареющим классическим произведением.

Следующие персоналии знакомят читателя с лексикографами, труды которых хорошо известны тем, кто изучает и преподаёт русский язык, к тому же рамки рецензии не позволяют подробно анализировать изложенное – ограничимся отдельными наблюдениями. В очерке о Д.Н. Ушакове наглядно показано, в каких сложных идеологических условиях проходила его работа как главного редактора и одного из создателей Толкового словаря русского языка (ТСУ), последовательно отстаивавшего свои взгляды в спорах с невежественными цензорами, убежденными, например, в том, что за глагольными пометами *сов.* – *несов.* скрываются слова *советские* и *несоветские* и т.д. (с. 63–65). Можно предположить, как возмутились бы цензоры, обнаружив соседство "таких" речений к значениям слова *бюст* (см.: т. I, стлб. 216).

Хрестоматия утверждает неоспоримый приоритет академических лексикографов в разработке концепций, создания и редактирования ряда капитальных произведений: сводный СРНГ, БАС, МАС, СлРЯ XI–XVII вв. (Ф.П. Филин); ТСУ, "Проект древнерусского словаря" (В.В. Виноградов); БАС, "Словарь иноязычных выражений и слов, употребляющихся в русском языке без перевода", проект фразеологического словаря, проспект нового академического словаря (А.М. Бабкин); МАС (А.П. Евгеньева); БАС, СлРЯ XVIII в., НСЗ (Ю.С. Сорокин); "Славянские древности. Этнолингвистический словарь" в 5 т. – вышел 2-й т. (Н.И. Толстой); КРЭС, ЭСРЯ изд. МГУ – после 18-летнего перерыва (!) вышел 9-й вып. (Н.М. Шанский); ЭССЯ – вышел 26-й вып. (О.Н. Трубачев) [Орел 1997]; СО (С.И. Ожегов, Н.Ю. Шведова).

В год, когда научная общественность отмечает 100-летие со дня рождения С.И. Ожегова, уместно осмыслить судьбу его известного словаря, которая рассмотрена в соответствующих персоналиях хрестоматии. Весьма поучителен раздел "Из переписки с читателями" (с. 273–282), доказывающий стабильное внимание широких читательских кругов к СО (впрочем, во избежание недоразумений следовало указать, что выдержки из писем приводятся с сохранением орфографии и пунктуации их авторов). Переписка убеждает в том, что на пути к адекватному пониманию читателем содержания словаря лексикографа подстерегают многочисленные сложности. Как, например, объяснить факт наличия в СО

идентичных толкований к словам *салат* и *винегрет*?

Нескорректным, на наш взгляд, представляется оперирование выражениями типа *топонимические объекты, гидронимические названия* (вып. 3: 130, 238), поскольку налицо подмена понятий: ведь в данном случае *объекты* – только *географические*, а *гидронимы* – уже *названия водных объектов* [Барандеев 1996]. К сожалению, в тексте хрестоматии встречаются опечатки и разночтения – общая беда современной практики печати, хотя, к счастью, в целом их немного.

При неизбежном переиздании хрестоматии, выпущенной мизерным тиражом в 100 экз., хотелось бы увидеть в ней портреты и других представителей отечественной лексикографии. Сделанные замечания носят частный характер и не умаляют несомненных преимуществ рецензируемой хрестоматии, которая, утверждая престиж лексикографического труда в современной русистике (что особенно полезно для начинающих исследователей), займет достойное место в серии публикаций, отражающих состояние и перспективы развития теории и практики отечественной лексикографии на рубеже веков.

Ю.С. Степанов. Константы. Словарь русской культуры. Опыт исследования. – М.: Школа "Языки русской культуры", 1997. 824 с., 51 илл.

В истории отечественной филологической мысли есть труды, занимающие особое положение по их принадлежности к миру идей и образов русской культуры. Едва ли возможно сразу определить их ценность и выделить то, что является тем непогрешимым критерием оценки, который "держит в себе" читатель и рецензент. Такие книги имеют большую и сложную судьбу, пишутся годами, а порой и десятилетиями, и обдумывать их следует так же обстоятельно и неторопливо, как и требует того сам предмет – *terra incognita* науки – русская культура. По нашему разумению, задача рецензента состоит не в пресловутом "оппонировании" и высказывании собственного многозначительного мнения, а в понимании авторской позиции, круга его филологических познаний и общечеловеческих интересов. Из этого, наверное, слагается каждая книга. Чем богаче и шире поток мысли, ярче идеи, тем более непримиримой и жесткой может быть критика, пренебрегающая "тайниками души" исследователя,

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

- Барандеев А.В. 1996 – Ложная дублетность в терминологии: топонимика и топонимия // Русская словесность. 1996. № 5.
- Барандеев А.В. 1999 – ФН. 1999. № 2. – Рец.: История русской лексикографии / Отв. ред. Ф.П. Сороколетов. СПб., 1998.
- Борисова М.Б., Сиротинина О.Б. 1999 – ВЯ. 1999. № 6. – Рец.: Толковый словарь русского языка конца ХХ в.: Языковые изменения / Под ред. Г.Н. Скляревской. СПб., 1998.
- Девкин В.Д. 1999 – ВЯ. 1999. № 6. – Рец.: Большой толковый словарь русского языка. СПб., 1998.
- ИРЛ 1998 – История русской лексикографии / Отв. ред. Ф.П. Сороколетов. СПб., 1998.
- Орел В.Э. 1997 – Двадцатилетие "Этимологического словаря славянских языков" (вып. 1–21, 1974–1994) // Этимология. 1994–1996. М., 1997.
- СВДР 1979 – Славяноведение в дореволюционной России. Биобиблиографический словарь. М., 1979.

А.В. Барандеев

для которого мир родного языка и родной культуры выступают вне иерархических границ и общепринятых взглядов.

Книга Ю.С. Степанова – это, безусловно, смелый опыт систематизации представлений о русских и отчасти индоевропейских культурных концептах. Это своеобразная семиотическая история понятий повседневной жизни – констант: от их истоков до наших дней. Естественно, что в таком исследовании и особая авторская методология, и позиция присутствуют как неотъемлемая часть "философии жизни", где одно – более близкое и понятное, другое же – познается только опытным путем. Изучение ценностей культуры с филологической точки зрения, использующей приемы строгой науки и их соотношение с живыми обликами реальной культуры, может привести к интересным выводам и весьма конкретным результатам, определяющим механизмы движения самой культуры. Как и предшествующие работы того же автора [Степанов 1994; Степанов, Проскурина 1993а,

1993б], эта книга не есть "догма", а исследование фрагментов мировой культуры на разных уровнях: и собственно лингвистическом, и философском, и историческом и т.д. В каждом из них – свои приоритеты, но культурные установки во многом едины: *вечное, мир, время, действие, слово, вера, любовь, знание, язык*. Всякая из подобных констант не может быть понята до конца, но ее "ощущение" доступно нам.

Предмет Словаря, по словам его автора, – "концепты русской культуры как часть культуры общеевропейской, взятые, прежде всего, в момент их ответвления от европейского культурного фонда или фона..." (с. 7). Поэтому пристальное внимание в словарной статье уделяется этимологии концепта, то есть в широком смысле истории его бытования. И здесь ученый выделяет исконный словарный состав как "первое оригинальное достояние русской культуры" (с. 8). История концепта в большей мере соотносима именно с его, так сказать, русской частью, и доводится до сегодняшнего дня. Причем языковые данные осмысливаются не только этимологически, но и текстологически, и психологически. Этого требует тип Словаря – "не словарь слов, а словарь концептов" (там же). Авторская композиция словарной статьи выглядит следующим образом: 1) этимология, 2) ранняя европейская история, 3) русская история (в той или иной степени), 4) сегодняшний день, с пунктирно прочерченной связью между ними..." (там же). Причем, на наш взгляд, именно характер этой связи и вообще движение самого концепта в концептосфере социума – одна из самых сложных задач.

Источниками этого труда послужили не только известные с XIX века попытки описания философских и исторических терминов, но и богатый опыт гуманитарных наук XX столетия – прежде всего работы Р. Барта [Барт 1994], Э. Бенвениста [Бенвенист 1995], Э. Селира [Селир 1993] и другие (перечень основных лексикографических источников см. на с. 11–12). Все же автор не строит свой "Словарь" путем сопоставления разных типов лексиконов и использования их методологических основ. В "Словаре" Ю.С. Степанова нет п од б о р а ц и т а т и их выстраивания в удобном положении, здесь авторское толкование ведется в ключе собственных теоретических и исторических разысканий. Ученый пытается "проникнуть" в концепты и обнаружить их "действие в сфере культуры". Одним из основных вопросов, стоящих перед исследователем, явля-

ется не только выяснение, так сказать, принадлежности концепта к р у с с к о й к у л ь т у р е, но и в определении границ самой культуры. Ю.С. Степанов заключает: "...русская культура реально существует в той мере, в какой существуют значения русских (и древнерусских) слов, означающих культурные концепты" (с. 9). Но автор не стремится доказать абсолютную непреложность сказанного, допускает даже некоторую гипотетичность в толковании концептов как "коллективного бессознательного". Но и на этом пути находятся оппоненты, считающие, что "сами концепты в некотором роде не существуют" (с. 10). Можно лишь порадоваться деликатной просвещенности автора "Словаря", не вступившего в "схватку" с противниками, ибо его книга и есть ответ на многие спорные вопросы, в том числе и на реплики о "произвольной селекции и комбинации материала" [Болотов, Пильщиков 1994: 40] и "антифилологичности" [Там же: 41].

Обратимся подробнее к словарным статьям книги, раскрывающим взгляд Ю.С. Степанова на исследуемый круг вопросов. Содержательная часть "Словаря" открывается вводными статьями: "Культура", "Концепт", "Константа", где определяются основные положения базовых концептов. "Концепт, – по мнению автора, – как бы сгусток культуры в сознании человека" (с. 40). Концепты имеют сложную структуру и являются предметом разных наук. "Константа в культуре – это концепт, существующий постоянно или, по крайней мере, очень долгое время" (с. 76). Автор выделяет два типа: константа как принцип и константа как концепт.

Рассмотрению устойчивых концептов культуры посвящены остальные разделы книги: I. Вечное, вечность; II. Мир, Быть, существовать (в мире, искусстве, языке). Время; III. Огонь и вода. Хлеб; IV. Действие. Ремесло; V. Слово. Вера. Любовь. Радость. Воля (хоть); VI. Правда и истина; VII. Знание, наука; VIII. Число, счет; письмо, алфавит; IX. Закон; X. "Свои" и "чужие"; Русь, Россия, русские, россияне. Родная земля; XI. Цивилизация; XII. Человек, личность. Душа; XIII. Мир (община). Мещанство; XIV. Интеллигенция; XV. Совесть, нравственный закон, мораль; XVI. Деньги, бизнес; XVII. Страх, тоска. Грех. Грусть, печаль; XVIII. Дом, уют; XIX. Буратино; XX. Язык. Причина и цель. Эволюция. Автор подразделяет статьи на термины, означающие базовые концепты

(мы их указали в перечне) и концепты вообще небазовые или производные от базовых (из отмеченных это – *Буратино*, а также: *Кашей бессмертный*, *Баба-Яга*; *ментильные миры*; *партийность*; *софия*; *двоеверие*, *тайная власть*; *интернационализм и космополитизм*; *гражданское общество*; *славянофилы и западники*, *харизматическая личность*, *облик толпы* и др.).

При всем разнообразии и "многоплюсности" концептов автор удачно сочетает строгий лингвистический анализ терминов и обозначаемых ими понятий (то, что составляет внутреннюю форму концепта), показывая, как развивается в языке и культуре "событийное" начало, и философию концепта, его, так сказать, духовную историю (см., например, статьи о *Слове*, *Вере* и др.). Важно, на наш взгляд, что Ю.С. Степанов имеет представление не только о ретроспективе и прослеживает "движение" концепта на его базовых формациях, но и дает современный взгляд на актуальные ныне проблемы, где как раз концептуальное выступает в ином "формате", как бы преобразуя исходный материал и используя его для построения нынешней культуры. В этой связи интересны статьи о *Харизматической личности*, *Таблицах рангах*, *Диссидентах* и *Облике толпы* и др.

Мы полагаем, что перечень констант может быть и более широким, например, за счет введения традиционно русских культурных феноменов, таких, как *соборность*, *софийность*, *космизм* и др., т.е. специфических параметров русской культуры. На наш взгляд, было бы полезным обращение к идеям В.В. Колесова, не раз выступавшего на страницах научной печати по проблемам ментальности. (См., напр., его статьи: "Имя – знамя – знак" [Колесов 1983], "Язык и мы – ощущение дня" [Колесов 1991], "Концепт культуры: образ – понятие-символ" [Колесов 1992].) В последней из указанных работ ученый пишет: «Исторически каждое ключевое слово национального языка проходит путь семантического развития от туманного "нечто" ... к культурному символу, со все усложняющейся специализацией (дифференциальных) признаков и с одновременным преобразованием содержания понятия, сигнификативов, семы и пр. <...>» [Колесов 1992: 34].

Ключевые слова национальной культуры типа "свой" (русс.-слав.) и "здравый смысл" (англ.), "мы – они" также целесообразно включить в методологию подобного исследования. Плодотворные разыскания в этой

области на широком общеславянском фоне ведутся в течение многих лет О.Н. Трубачевым, который, в частности, писал, что славянский корень "**svojъ*" представляется нам ключевым словом славянской и праславянской культуры в целом" [Трубачев 1991: 163]. Немало полезного можно извлечь и из других тезисов, таких, как "самоназвание и самопознание", диалектология культуры, типы ключевых слов и типы культуры и др. Академик Н.И. Толстой удачно применял метод "семантического поля" и символику предметов и действий для объяснения процессов, происходящих в культуре и языке. Так, например, система бинарных оппозиций типа "правый – левый", "мужской – женский" позволяет определить характерные особенности национальной традиционной концептосферы, ее истоки и связи с пограничными "массивами" (см. [Толстой 1987]). Но, с другой стороны, мир меняющихся слов не всегда обозначает разные понятия: одни становятся архаичными, другие, наоборот, находят подтверждение процессам культуры современного общества. И здесь, наверное, очень сложно определить, какой из концептов является неотъемлемой частью русской культуры (тем более, что автор исследует значительный по времени исторический период), а что есть принадлежность европейской, мировой. К тому же одни и те же концепты имеют неоднозначное употребление в разных культурных слоях (ср. [Трубачев 1998]). Уместно было бы сказать и о таких лингвофилософских концептах, как *лексика природы и экологии*. Ставшая популярной в последние годы "планетарная" проблематика, в которой видится следование идеям В.И. Вернадского, – о сферах человеческой деятельности, о соотношении мифологии и этнографии, о моделях эволюции и ноосфере (см. сб. [Ноосфера 1991]) также, вероятно, в будущем потребуют осмысления в русле "Словаря русской культуры".

Есть, однако, такая область именно филологической мысли, которая до сих пор не была представлена так широко и глубоко, как у наших прославленных ученых XIX столетия – Ф.И. Буслаева, В.И. Ламанского, А.А. Шахматова. И мы не имеем в виду только их научные заслуги, но прежде всего дух деятельности и ее направленность на "исправление дел человеческих". "Словарь русской культуры" – это и дух нового лексикона, вне зависимости от методов исследования, литературы и тех констант, которые исторически и лингвистически имеют свою "этимологию".

Было бы очень неплохо, на наш взгляд, обратиться подробнее к "словесам и главизнам священного писания", изложенным, например, в классическом произведении русской духовной мысли – *Добротолюбии* (см. [Добротолюбие 1993]). В главах этого монументального труда есть константы иного мира, понятного и ощущаемого ныне немногими ревнителями просвещения, но неизменно присутствующего в нас: общие начала подвижничества, о добродетелях и страстях, о покаянии, четыре сотни глав о любви св. Максима Исповедника и др. Замечательно, кстати, определение едва ли не самой величественной из констант бытия – любви, данное св. Максимом Исповедником: "Любовь есть благое расположение души, по которому она ничего из существующего не предпочитает познанию Бога. Но в такое любительское настроение невозможно прийти тому, кто имеет пристрастие к чему-либо земному" [Там же. Т. 3: 164]. Очень обстоятельно говорится о многих константах культуры в "Творениях Тихона Задонского". Том 4 его сочинений содержит "Сокровище духовное": *мир, солнце, отец и дети, господин и раб, междуусобная брань* – все это элементарные константы нашей культуры, но познанные и прочувствованные иным, духовным путем (см. подробнее [Тихон Задонский 1994]). Наконец, замечательна "Симфония по творениям святителя Тихона Задонского", изложенная архим. Иоанном (Масловым). В ней есть такие понятия с корнем в ими, на наш взгляд, константами: *блага материальные, благодать, благополучие; богопознание, богопочтание, богообщение, богомысление; жизнь будущая, вечная, земная, временная, греховная, порочная, духовная, благочестивая; мир с ближним, мир с богом, мирвселенная, мир земной, греховный, душевный, миропомазание; любовь божия к человеку, любовь к Богу, к ближнему, к врагам, любодеяние, любочество и др.* (см. подробнее [Иоанн (Маслов) 1996]).

Мы не считаем возможным в нашем предварительном разборе касаться частных проблем и заниматься выяснением тех или иных авторских недосмотров в отдельных словарных статьях. Привлеченный Ю.С. Степановым для своего "Опыта" материал огромен, и охватить его во всех плоскостях едва ли возможно сразу, но необходимо подчеркнуть, что логика мысли ученого, строгость и продуманность изложения, грамотные комментарии свидетельствуют о большой внутренне-осмысленной

работе над проблемой констант русской культуры. "Нет, точка здесь, наверное, не будет поставлена никогда..." – заключает книгу автор, побуждая читателей и критиков к вдумчивому прочтению и осмыслинию мира в его многообразии и гармонии.

Книга снабжена Предметным указателем, состоящим из перечня "малых концептов" русской культуры с их последующей расшифровкой. Эти компоненты могут послужить в дальнейшем созданию более подробного лексикона, который бы отразил основные культурные стихии (их, по мнению Ю.С. Степанова, 18) (с. 777–784). В указателе также помещены понятия науки о культуре – всего 11 (с. 784–792), раскрывающие систему описания концептов и инструментарий. Завершают исследование Указатель упомянутых слов и словосочетаний по языкам (с. 793–811) и названия божеств, мифологических персонажей и местностей (с. 811–813). В Именной указатель (с. 813–824) включены цитируемые автором фамилии ученых, философов, государственных деятелей и других лиц, чей опыт и труды были использованы на страницах монографии. Кстати, удельный вес имен неодинаков. Среди них ученый выделяет следующих "движителей" культуры (именно их имена чаще всего фигурируют на страницах книги): Аристотель, Э. Бенвенист, Н.А. Бердяев, С.Н. Булгаков, Ф.И. Буслаев, Гегель, Гомер, Л.Н. Гумилев, В.И. Даля, Ф.М. Достоевский, И. Кант, В.О. Ключевский, В.И. Ленин, М.Ю. Лермонтов, В.Н. Лосский, А. Мейе, Платон, А.С. Пушкин, Б.А. Рыбаков, Вл.С. Соловьев, И.И. Срезневский, И.В. Сталин, А.Н. Толстой, Л.Н. Толстой, О.Н. Трубачев, Н.С. Трубецкой, Д.Н. Ушаков, П.А. Флоренский, А.П. Чехов и др.

Опыт Ю.С. Степанова весьма интересен как самобытный научный труд, тезаурус знаний светского ученого о русской культуре. Книгу придется еще не раз перечитывать, определив ее "вес" и место в жизни современного общества. Сколько долго уготовано жить такому труду, покажет время, но даже сейчас, не имея той степени знаний и уровня обобщений, которые были представлены автором монографии, мы можем определенно сказать, что "движение мысли", ясность ума, отсутствие тенденциозности, выражющееся в нежелании автора подавлять своим методом и мнением, корректность по отношению к самому концепту – все эти качества рецензируемого труда, без сомнения, обратят внимание еще многих и многих читателей на "Словарь русской культуры". Ведь все же главное, к чему должен

стремиться автор – сделать свою концепцию жизненной, помочь задуматься читателю над сложными и неоднозначно оцениваемыми проблемами. И если в какой-то мере это достигнуто, значит, соединились две "константы" – автора и читателя как представителя этого сообщества, этой культуры, в которой он живет, творит и мыслит.

После выхода первых работ Ю.С. Степанова акад. Д.С. Лихачев откликнулся на них небольшой, но очень важной статьей "Концептосфера русского языка", где высказал свой взгляд на природу и культуру концепта (см. [Лихачев 1997]), в чем-то отличающейся от мысли Ю.С. Степанова, но в чем-то идущий в русле предложенного исследования, что естественно. Важно для нас, филологов, здесь одно замечание почтенного ученого: "...язык в потенциальной форме его концептов – воплощение всей культуры народа" [Там же: 287]. Значит, размышления над проблемой только начинаются...

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

- Барт Р. 1994 – Избранные работы: Семиотика. Поэтика. М., 1994.
- Бенвенист Э. 1995 – Словарь индоевропейских социальных терминов. М., 1995.
- Болотов С.Г., Пильщиков И.А. 1994 – О "семантической реконструкции" (Несколько замечаний и дополнений к статье Ю.С. Степанова) // Philologica: Двуязычный журнал по русской и теоретической филологии. Т. 1. № 1/2. Москва; Лондон, 1994.
- Добротолюбие 1993 – Добротолюбие. Т. 1–5. Свято-Троицкая Сергиева Лавра, 1993.
- Иоанн (Маслов) 1996 – Симфония по творениям святителя Тихона Задонского. М., 1996.
- Колесов В.В. 1983 – Имя – знамя – знак // Сравнительно-типологические исследования славянских языков и литературы. Л., 1983.
- Колесов В.В. 1991 – Язык и мы – ощущение дня // Новый журнал. 1991. № 5.

Колесов В.В. 1992 – Концепт культуры: образ – понятие – символ // Вестник СПбГУ. Сер. 2: История, языкознание, литературоведение. 1992. Вып. 3 (№ 16).

Лихачев Д.С. 1997 – Концептосфера русского языка // Русская словесность. От теории словесности к структуре текста. Антология. М., 1997.

Сепир Э. 1993 – Избранные труды по языкоznанию и филологии. М., 1993.

Ноосфера 1991 – Ноосфера и художественное творчество. М., 1991.

Степанов Ю.С., Проскурин С.Г. 1993а – Константы мировой культуры. Алфавиты и алфавитные тексты в периоды двоеверия. М., 1993.

Степанов Ю.С., Проскурин С.Г. 1993б – Смена "культурных парадигм" и ее внутренние механизмы // Философия языка: в границах и вне границ. Харьков, 1993 (Международная серия монографий. Т. 1).

Степанов Ю.С. 1994 – Слово: Из статьи для Словаря концептов ("Концептуария") русской культуры // Philologica: Двуязычный журнал по русской и теоретической филологии. Т. 1, № 1/2. Москва; Лондон, 1994.

Тихон Задонский 1994 – Творения иже во святых отца нашего Тихона Задонского. Т. 105 / Изд. Свято-Успенского Псково-Печерского монастыря, 1994.

Толстой Н.И. 1987 – О природе связей бинарных противопоставлений типа правый – левый, мужской – женский // Языки культуры и проблемы переводимости. М., 1987.

Трубачев О.Н. 1991 – Этногенез и культура древнейших славян. Лингвистические исследования. М., 1991.

Трубачев О.Н. 1998 – Менящийся мир и вечные слова // Отечественные лексикографы XVIII–XIX вв. Материалы для хрестоматии. М., 1998.

О.В. Никитин

Серия "Библиотека словарей русского языка" пополнилась новым словарем. Основным отличием нового словаря является то, что в нем отражаются современные нормы орфоэпии, в том числе особенности произношения многих новых слов. Более широкие права предоставлены "младшей" норме. Орфоэпических словарей в русском языкоznании очень мало, а разъясняющих трудности произношения, в том числе и многих новых или недавно вошедших в широкое употребление слов, совсем нет. Все это повышает ценность и уникальность вышедшего словаря.

Словарю предпослано краткое описание правил русского литературного произношения, в котором в сжатом виде сформулированы фонетические законы ("безвариантные правила произношения") и орфоэпические закономерности (правила, допускающие варианты произношения). Здесь заинтересованный читатель найдет все основные сведения о современном звуковом строе русского литературного языка. Особенно ценными представляются пять таблиц, в которых представлены все сведения об ассимилятивной мягкости согласных в их различных сочетаниях и позициях (с. 20–39). Эти данные полезны и для изучающих русский язык, и для преподавателей, и для специалистов в области фонетики, которые путем сравнительного анализа с данными предшественников (ср., напр., "Русский язык по данным массового обследования" под ред. Л.П. Крысина или "Орфоэпический словарь русского языка" под ред. Р.И. Аванесова) могут исследовать динамику изменения этого фрагмента системы русского консонантизма.

В список произносительных явлений в словарь включены такие, как произношение твердого или мягкого заднеязычного согласного в прилагательных на -кий, -гий, -хий и в глаголах на -кивать, -гивать, -хивать. Новым для орфоэпической практики является также включение сведений о произношении долгих/кратких звуков на месте букв *нн* в словах русского происхождения, ср. *линованный* [н] и *лицензионный* [нн] (с. 226–227).

Словарь – результат многолетнего кропотливого труда двух крупных ученых в области общей и русской фонетики, литературной и диалектной, хорошо известных научной общественности своими трудами. Поэтому и общие выводы, и частные заме-

чания авторов, даже если они дискуссионны, весьма нужны, полезны и интересны как специалистам, так и, что особенно важно, широкому читателю, пользователю словаря, в какой бы области деятельности он не трудился.

Надеюсь, что авторы будут готовить новое издание словаря, а, возможно, и ряд частных словарей на основе данного издания, и поэтому им могут быть полезны или чем-то интересны отдельные критические замечания или некоторые филологические рассуждения автора рецензии.

1. Авторы назвали свой труд "Словарь трудностей русского произношения" (подчеркнуто мною. – К.Г.). При этом большое внимание в книге уделяется ударению, в том числе значительному массиву слов с так называемым побочным ударением. Между тем, ударение не входит в произношение как ее составная часть. Здесь рецензент разделяет точку зрения Р.И. Аванесова и С.И. Ожегова, издавших словарь под названием "Русское литературное произношение и ударение". Об этом подробно пишет Р.И. Аванесов в предисловии к каждому изданию своей книги "Русское литературное произношение" (вышло 7 изданий в издательстве "Просвещение"). Основанием для такого суждения могут быть многочисленные примеры правильного произношения слов с неправильно поставленным ударением, например: [шоф'yr], [портф'ил'] и мн. другое. Поэтому книгу следовало бы с достаточным основанием назвать "Словарь трудностей русского произношения и ударения" (подчеркнуто мною. – К.Г.).

2. Кстати, и само слово "трудности" относится не к собственно орфоэпии, а именно к произношению слов с правильным ударением. Следует особенно остановиться на произношении тех слов, которые имеют так называемое побочное ударение. Авторы предлагают свою концепцию этого явления, отличающуюся от общепринятой. Этот подход сформулирован во вступительной статье "Основные сведения о русском литературном произношении" таким образом: "Возникновение побочного ударения носит вероятностный характер. Вероятность его появления регламентируется двумя основными факторами: 1) длиной слова и 2) определенными фразовыми условиями" (с. 45). Авторы отмечают, что побочное ударение возможно не только на первых основах сложных, сложносокращенных слов и при-

ставках иноязычного происхождения (*архи-, пост-, про-* и т.п.), но и на приставках русского происхождения – *без-, до-, по-, со-* и др. (с. 45). Полные и усеченные основы и приставки, могущие нести на себе побочное ударение, в словаре выделены особо, напр., *кино..., дип..., пост..., до...* и т.п. Такая трактовка побочного ударения призывает к размышлению, се приняли не все. Не случайно при первом обсуждении словаря в Отделе фонетики Института русского языка им. В.В. Виноградова РАН по этому вопросу развернулась дискуссия. Многие выступающие приняли концепцию, предложенную авторами словаря, но были и выступления против. Но как бы ни трактовать феномен побочного ударения, словарь оставляет открытym вопрос о произношении гласных между побочным и главным ударением. Например, *многовёсельный* – м[но]го- и м[нъ]го-, т.е. [мног?]вёсельныи и [мнъг?]вёсельныи. А как должен звучать звук на месте буквы *о* в конце *много* – [много]вёсельный или [многэ]-вёсельный? Очевидно, только мног[э]вёсельный. Подобных примеров можно много выбрать из словаря. Дело не в этом. Очевидно, авторам в предисловии к словарю следует дать более развернутое авторское понимание фонетической модели словоформ с двумя ударениями, главным и побочным. Все увеличивающееся число подобных слов требует более разносторонней их характеристики.

Очевидно, к трудностям относится и реальное употребление различных по произношению слов, см. *моло[шн]ый* и *моло[ч'н]ый*, *було[шн]ая* и *було[ч'н]ая*, когда в выборе одного из вариантов решающее слово принадлежит коммуникативному синтаксису. Например, только *друг серде[шн]ый*, но *серде[ч'н]ый прием*, рядом с *нашим домом находится було[чи]ая*, но *я пойду в було[ши]ую*. Правда, орфоэтические словари, как правило, таких связей с употреблением слов в речи не дают. Но может быть, в предисловии к новому словарю можно будет сделать некоторые наиболее существенные замечания по этому поводу.

3. В своих пометах авторы используют исторический принцип: "варианты равноправные", т.е. одновременные, "вариант устаревший", "вариант новый". Не всегда ясно, на каком основании эти пометы выстроены, ведь исследовательских работ по истории ассимилятивного смягчения и отвердения согласных еще нет, а отдельные замечания авторов словаря (впрочем, как и

других авторов, работающих над этой проблемой) могут быть подвергнуты сомнению. Так, [вв']дается как допустимо новое, а [с'т'в'] как допустимо устаревающее, [зл'] как допустимо новое, [д'в'] как допустимо устаревающее. Но дело даже не в этом; думаю, что в подобном словаре достаточно одной пометы "допустим второй вариант" и показать этот второй вариант, так как при современном темпе речи (по данным Л.В. Златоустовой темп русской речи за последние 40 лет увеличился вдвое) рядовой носитель русского литературного языка даже при хорошем фонетическом слухе не услышит разницу в произношении *ра[з'в']е* и *ра[зv']е*, *ле[з'в']е* и *ле[зv']е*, тем более не обратит внимания на то, что это устаревший или равноправный вариант произношения выделенного сочетания звуков в слове.

Здесь, очевидно, надо иметь в виду и тот факт, что говорящий каждый раз определяет уклад артикуляции, ориентируясь перспективно на всю словоформу (а возможно, и на больший отрезок речи), а не на каждый отдельный звук. Что касается сценического произношения или произношения при художественном чтении того или иного произведения XVIII, XIX или XX века, то здесь помет словаря недостаточно, а нужна значительная работа актера по согласованию произношения с художественным образом.

Наиболее сложным и интересным теоретическим вопросом, поставленным в кратком предисловии к словарю и подробно развернутым в докторской диссертации М.Л. Каленчук – это вопрос о соотношении фонетики и орфоэпии, об их границах. На первый взгляд вопрос прост и ответ ясен, он дан и в словаре, и в диссертации: одни орфоэтические факты вызваны действием фонетических законов и они не имеют вариантов, это – область фонетики; вторые уже не связаны с актуальными фонетическими законами, они могут быть представлены вариантами, для которых есть выбор.

В качестве примера первых обычно приводится аканье, оглушение и озвончение шумных согласных, для вторых – произношение групп согласных типа *t't'*, *tt'*; твердость/мягкость согласных перед *<э>*; упрощение групп согласных и др.

На первый взгляд все эти рассуждения убедительны, но при более пристальном рассмотрении они вызывают вопросы или даже несогласие.

Аканье как явление русской фонетической системы действительно было вызвано до сих пор бесспорно не установленным законом в группе восточнославянских диалектов в эпоху после падения редуцированных.

В чем общий смысл этого закона? Аканье – это неразличение гласных неверхнего подъема после твердых и мягких согласных. Конкретным результатом этого фонетического закона может быть произношение: *вѣда*, *вѣда*, *вы³да*, *ва⁰е*, *ва⁰й* и пр. В более позднее время при активном переходе окальщиков к литературному аканью они стали произносить предударное [а] среднего подъема, прикрытое [а] может быть и у носителей акающих диалектов. И только кодифицированная литературная норма требует в первом предударном слоге произносить очень открытое [а], то есть литературное аканье не есть простое проявление фонетического закона, а есть выбор из многих акающих возможностей русского языка.

Но я полагаю, что нет выбора в настоящее время и в произношении *мою*[с'], *мой*[с' а], хотя здесь нет и проявления фонетического закона.

Мы привыкли считать оглушение шумных звонких перед глухими и на конце слова перед паузой – фонетическим законом. Такое же положение и с озвончением шумных глухих перед звонкими. Но ведь нет же озвончения шумных глухих перед шумными звонкими [в], [в'], хотя их происхождение из сонантов относится к древнейшей эпохе, во всяком случае – до падения редуцированных.

Вряд ли соответствует фонетическому закону утвердившееся у многих носителей русского литературного языка произношение *[съпага]* – *[салох]*, *[пирага]* – *[пирох]* и под.; или произношение *сельхъ*[сб]анк, произношение [меж]- и [меш] – во многих словах (см. с. 238, 239 словаря). Пожалуй, здесь нельзя не отметить, что теоретической проблемой фонетических законов больше занимаются специалисты по сравнительно-

историческому языкознанию XX века, по истории праславянского и древних славянских языков, чем лингвисты, изучающие русский язык нового времени. Есть немало теоретических проблем, которые не привлекали внимания исследователей современного русского языка, интерес к ряду проблем оборвался с переходом к новому историческому времени, иногда исследователи слишком захвачены новыми проблемами, исследование которых возможно именно на материале новых языков и т.п.

Возвращаясь к вопросу о соотношении фонетики и орфоэпии, хотела бы подчеркнуть, что это общая область знаний, имеющая дело с фонетическими законами (их надо еще изучать), асинхронностью фонетических законов и фонетических моделей словаформ, что и создает лингвистическую базу произносительных вариантов и проблему их выбора, вопросы фonoстилистики и тому подобное.

4. Не всегда понятны аргументы авторов, по которым одни устаревшие нормы они оставляют, предоставляя здесь слово, очевидно, стилистам, например: *вска[къ]вать*, *креп[къ]ий* и нек. др., о других же даже не упоминают, например: *[ши³тат']*, *два* [*ши³та*], *[в'ер'х]*, хотя эти произносительные варианты используются не только в художественной речи. В речи многих представителей старшего поколения москвичей только эти нормы и используются. Очевидно, еще рано с ними расставаться.

Закончить рецензию хочу словами благодарности авторам. Словарь – очень нужное пособие для всех, кто интересуется русским языком. Словарь заставляет думать и задумываться.

K.B. Горикова

Handbuch der sprachwissenschaftlichen Russistik und ihrer Grenzdisziplinen/Hrgb. von H. Jachnow. Harrassowitz Verlag, Wiesbaden, 1999. 1336 S.

Ученые труды очень давно стали делом многоликого сообщества (*Respublica litteraria*), не знающего государственных или национальных границ. Приятно отметить, тем не менее, что формы научного труда сохраняют определенные национальные традиции, поддерживая то разнообразие, которое обеспечивает диалогичность научного знания. В немецкой научной традиции к таким формам относится создание фундаментальных "настольных книг" по самым разным отраслям знания, книг, настолько

прочно отождествляемых с немецкой наукой, что в ученой беседе, на каком бы языке она ни велась, они так и именуются "хандбухами". В прошедшем году наши немецкие коллеги порадовали научное сообщество очередным изданием обширного (почти полторы тысячи страниц) и фундаментального компендиума, посвященного русистике. Такие издания позволяют взглянуть на нашу дисциплину как бы со стороны, охватив одним взглядом ее целостное развитие и результатирующее состояние.}

Единый взгляд, впрочем, остается здесь утратившей свой первоначальный смысл метафорой, поскольку прошло то время, когда компендиумы составлялись одним лицом и запечатлевали его видение дисциплины, его общую концепцию и границы его эрудиции. Повествователь, создающий современные компендиумы, это гоголевский составной персонаж, обнаруживающий и достоинства и недостатки своей составной природы. Компендиум в этих условиях по необходимости приобретает характер справочника, устроенного по тематическому принципу. Единой концепции такое устройство не предполагает, и в случае рецензируемой книги такой концепции не просматривается.

Неслучайно, почти треть книги посвящена слабо концептуализированному **обзору литературы**, причем не всей литературы по русистике, но исключительно "der sowjetischen/russischen Sprachwissenschaft". В чем состоит принципиальный смысл такого выделения, остается неясным, поскольку непонятно, в каком отношении "советское/русское языкознание" представляет собой отдельную область, отличную, скажем, от языкознания американского или итальянского. Отчасти, видимо, это подразделение воспроизводит, как это ни грустно, дискурсивную схему советской науки, утвердившуюся в период борьбы с космополитизмом в 1940-х годах, когда стандартным оборотом научной речи оказались выражения "в советских и зарубежных исследованиях" или ему подобные. Отчасти же, надо думать, авторы рецензируемой книги исходили из практических соображений. Такое выделение дает возможность ограничиться обзором, не задаваясь вопросом о том, как та или иная проблема стоит в современном языкознании вообще, каковы новые параметры лингвистической мысли, указывающие на недостаточность существующих знаний и вместе с тем конституирующие область уже узнанного, поддающегося обзору и классификации. Вместе с тем и начинающий немецкий русист получает пособие, которое позволяет ему или ей разобраться в многочисленных и нередко труднодоступных работах, изданных по-русски, аккуратно организовав библиографическую часть своего собственного исследования (в немецкой традиции все еще остающуюся основным свидетельством профессионализма). Такой имплицитный выбор адресата придает, однако же, всему изданию определенный налет провинциализма.

Указанная обзорная часть включает такие главы, как "Советская модель языка и

ее развитие" (Д. Вайс), "Советские и русские семантические концепции" (К. Хартенштайн), "Понятие языковых изменений в России, СССР и странах СНГ" (П. Коста), "Исследовательские подходы в русистике в области фонетики: методы, фонотеки, банки данных" (Х. Саппок), "История языкознания в России, СССР и славянских странах СНГ" (Х. Яхнов), "Грамматики русского языка в XX столетии" (М. Вингендер), "Исследователи, занимающиеся научной русистикой" (К. Гудшмидт), "Социолингвистика в СССР и России – история, эмпирические исследования и теория" (Х. Яхнов), "Психолингвистика в России" (Х. Саппок), "Распространение русского языка как иностранного" (Б. Брандт), "Описание поэтического языка в русистике" (Р. Грюбель), "Советские и русские семиотические концепции" (П. Гжебек). Как видно из этого перечисления, различные главы написаны в разном формате и в совокупности они дают хотя и достаточно подробную, но никак не исчерпывающую картину того, что было сделано в русистике на том пространстве, которое авторы книги обозначают то как СССР, то как Россию, то как Россию в сочетании с разными (славянскими или не только славянскими) странами СНГ.

Достаточно разнообразен формат и основной части компендиума. Это естественное следствие отсутствия жесткой концепции описания языка, которая могла бы объединить отдельные главы. Авторы работают в рамках традиционных (структураллистских) представлений о языке, оставляя в стороне генеративные модели языка или опыты когнитивного подхода к языку. Это скорее достоинство, поскольку делает книгу доступной и полезной для читателя вне зависимости от того, к какой из школ современного языкознания он примыкает. Вполне традиционно и распределение языкового материала, напоминающее об общепринятом университете преподавании русистических дисциплин. Основной раздел занимает **описание структуры стандартного варианта** русского языка, который рассматривается как нечто заданное и легко отделимое от его других вариантов – вне зависимости от того, о каком уровне языка идет речь. То, что не укладывается в описание языкового стандарта, рассматривается в следующем разделе – **"ТERRITORIALНАЯ, ФУНКЦИОНАЛЬНАЯ И СОЦИАЛЬНАЯ ВАРИАТИВНОСТЬ В РУССКОМ ЯЗЫКЕ"**.

Распределение достаточно условно и вряд ли опирается на ясно продуманные теоретические основания. Так, скажем, в

первом разделе находим главу "Russische Sprache und Sexus", которая имеет дело с социальными параметрами языкового стандарта и в этом плане захватывает проблематику, рассматриваемую во втором разделе. В то же время во второй раздел, в котором в отдельных главах описывается "Диалектология" (Т. Бергер), "Субстандартные разновидности" (Д. Маршк), "Норма и культура речи" (А. Кретчмер), "Функциональная стилистика" (И. Онхайзер), включена и особая глава о разговорной речи ("Umgangssprache" – У. Хиррихс), которая тем самым выводится за рамки языкового стандарта, что вряд ли правомерно и не может не обусловить определенного сужения перспективы при рассмотрении синтаксиса и семантики. Семантика, кстати, не фигурирует как отдельная глава в структурном описании стандарта, будучи распылена по главам, посвященным грамматическим категориям, лексикологии, фразеологии и синтаксису. Такое решение отнюдь не кажется бесспорным.

Не менее условна и организация **диахронической** части компендиума, составляющей его третий раздел "Историческая вариативность русского языка". Он состоит из трех глав – "Внутренняя история русского языка" (Н. Борецки), "История русского литературного языка" (Х. Кайперт) и "Об исторических и новейших языковых контактах в русском языке" (Х. Хаарманн). Такое распределение материала исходит из представления, аналогичного тому, которое уже отмечалось в синхронической части, а именно из представления о том, что существует структурный костяк языкового стандарта, который может быть описан в отвлечении от различных типов вариативности, и некоторое количество языковых разновидностей, требующих отдельного описания. Проецируясь на историю, это представление и порождает деление на внутреннюю историю структурного костяка (своего рода некнижного стандарта), с одной стороны, и описание истории литературного языка как отдельного языка (разновидности). Вариативность внутри самого структурного костяка не предусматривается, и поэтому из рассмотрения полностью выпадает историческая лингвогеография, хотя именно с ней связаны многие впечатляющие достижения последних лет (работы А.А. Зализняка, Х. Андерсена, У. Вермеера).

Отдельный раздел компендиума отводится **русскому языку в "multinationalen und multilingualen Kontext"**. Сюда собрано то, что не относится ни к внутренним сторонам

языкового стандарта, ни к языковым разновидностям. Это, по существу, внешняя история современного стандартного языка, однако удачное наименование раздела освобождает авторов от необходимости точно определить границу между внутренней и внешней историей. Раздел приобретает характер своего рода довеска и распадается на две взаимосвязанные главы: "Советская и русская языковая политика" (Б. Комри) и "Аспекты многоязычия в Советском Союзе и возникших на его месте государствах" (Х. Хаарманн).

Как можно видеть, компендиум охватывает самые разные стороны изучения русского языка, и эта комплексность охвата относится к его существенным достижениям. Эта комплексность, однако, не основана на какой-либо единой концепции языка, и это делает задачу рецензентов достаточно трудной – оценивать приходится не достоинства теории, а характер изложения материала в каждой из отдельных глав. Одни из них более удачны, другие обнаруживают существенные недостатки. Обсудить их все не представляется возможным – рецензия превратилась бы в целую брошюру. Рецензенты поэтому и не ставили перед собою такой задачи, ограничившись лишь выборочным рассмотрением преимущественно тех глав, которые посвящены проблематике, специально занимающей рецензентов. Мы надеемся, однако, что и такое избирательное обозрение позволит читателю составить представление об этом важном издании.

Очерк **внутренней истории русского языка** (того, что в русской традиции принято называть исторической грамматикой) написан безнадежно неумелой рукой. Концептуальной основой для автора этого очерка, Н. Борецкого, служит натуральная фонология и теория грамматикализации. Автор не устает указывать, что то или иное рассматриваемое им изменение (скажем, падение редуцированных) хорошо описывается как устранение маркированных членов или, если речь идет о грамматике, как пример грамматикализации, однако эти нехитрые заключения не сообщают никакой новой информации, не приносят никаких свежих интерпретаций. Возможно, им и не место в этом очень кратком очерке, однако в своем стремлении сократить и упростить Н. Борецки сплошь и рядом искажает и путает, опуская при этом принципиально важную информацию, которая должна присутствовать даже в самом сжатом изложении. Так, скажем, автор посвящает несколько строк

рассуждению о том, что развитие аканья является натуральным процессом в языках с динамическим ударением (с. 695), но не находит нужным сообщить читателю хотя бы самые элементарные сведения об исторической акцентологии (имеем в виду даже не устройство акцентных парадигм, а самый факт того, что просодическая система в восточнославянских диалектах не всегда основывалась на динамическом ударении).

Историческая фонетика изложена путано и неубедительно. Всему фонетическому развитию автор приписывает безудержное стремление к пятифонемному вокализму, сопровождающему становлению корреляции по мягкости у согласных. Если забыть о диалектном многообразии, магистральную линию развития можно определить и таким образом, однако при утверждении этой телеологической схемы отдельные процессы должны все же получать адекватное описание. То, что мы находим в рецензируемом очерке, производит странное впечатление. Так, говоря о падении редуцированных, автор замечает, ссылаясь на В. Кипарского, что первыми – около 950 г. – пали конечные редуцированные, а затем через двести лет остальные. То, что падение началось с конечных редуцированных, сейчас кажется бесспорным, однако доступные нам данные, прежде всего берестяные грамоты (поразительным образом, автор к этим данным нигде не обращается и, видимо, просто с соответствующим материалом не знаком), не дают никаких оснований ни для подобной хронологии, ни для столь существенного дистанцирования двух этапов этого процесса. Новгородские данные, хорошо известные по работам А.А. Зализняка, однозначно указывают, что процесс протекал с конца (или с середины) XI в. до конца XII в., и ничто не побуждает думать, что в других восточнославянских ареалах хронология была существенно отличной. В чем состоял процесс падения и прояснения редуцированных, Н. Борецки не разъясняет, т.е. никак не упоминает закон Гавлика, относя его к числу "деталей", которые читатель найдет, обратившись к книге В. Кипарского.

Такого рода непрофессионализм заметен повсеместно. Например, описывая судьбу /ɛ/ (с. 603–694), автор говорит, что в северорусских говорах совпали /ɛ/ и /i/, и относит этот процесс к XI–XII вв. (процесс определен неточно, слишком ранняя датировка противоречит новгородским данным), а в остальных говорах совпали /ɛ/ и /e/, причем уже в XI в.; даже если датируется самое начало процесса и лишь для смолен-

ских или полоцких говоров, дата является слишком ранней. При столь ранней датировке, которой у автора описан переход к вожделенной пятифонемной системе гласных, неизбежно должны возникнуть трудности в изложении позднейших процессов, например, развития противопоставления открытого и закрытого /o/. Понятно, что об этом противопоставлении Н. Борецки вообще не упоминает. Постулированное автором ускоренное становление пятифонемного вокализма приводит его к абсурдному заключению, что развитие аканья "als Ausgangspunkt das 5-Vokal-System hat" (с. 694): как при такой трактовке можно описать типы диссимиллятивного аканья, остается неясным, поскольку о нем автор не упоминает ни словом. Не лучше обстоит дело и с описанием становления корреляции палатализованных и непалатализованных согласных. Автор отмечает (с. 691), что некоторые ученые (Г. Лант, А.В. Исаченко) полагают, что эта корреляция возникает в результате падения редуцированных, однако своего мнения по этому поводу не высказывает; в то же время в таблице, фиксирующей систему согласных до установления этой корреляции, даются пары /t, r'; l, l'; n, n'/, т.е. палатальные сonorные трактуются как палатализованные. Хаотичность возникающего в результате построения никак не комментируется.

Морфология и синтаксис описаны немногим лучше фонетики. Автор и здесь уделяет много внимания "натуральности", перечисляя, например, какие изменения именных флексий ведут к возрастанию иконизма в словоизменении, а какие не ведут (с. 714). Существенная информация при этом оказывается опущенной. Не упомянут, например, такой важнейший процесс, как отпадение конечных безударных гласных словоформы, когда конечная гласная не является отдельным морфом [Зализняк 1992: 297]. Запутанно и несистематично описано исчезновение дуалиса, которое, согласно автору, начинается в XIII в. (это верно), но продолжается еще и в XV в. (такая датировка показывает, что автор и не понимает существа процесса и не в состоянии адекватно интерпретировать данные текстов XV–XVI вв., сохраняющие формы дуалиса в определенных категориях имен); неясно описано возникновение счетной формы, которую автор без всяких оговорок идентифицирует с род. ед. (с. 700). Вводя вполне оправданное разделение истории категорий и истории форм, автор к числу грамматических категорий относит противопоставление энклитических и незэнклитических

местоимений (с. 703); грамматическое содержание этой категории остается, понятным образом, не описанным. Говоря о становлении категории одушевленности, автор указывает, когда эта категория начинает выражаться в формах мн. числа (предлагаемая датировка дискуссионна), но оставляет читателя в неведении относительно хронологии этого процесса в ед. числе (с. 702). Не слишком убедительно и описание развития глагольных категорий, например, эволюции перфекта (не учтены важные работы Э. Кленин [Klenin 1993]) или развития вида. Изменения в синтаксисе описаны фрагментарно, на что указывает сам автор и в чем его вряд ли можно упрекнуть, учитывая состояние исследований в этой области. Однако ни отбор фрагментов, ни качество изложения не изменяют общего впечатления о работе, составившегося при чтении ее фонетической и морфологической частей.

Очерк истории литературного языка, написанный Х. Кайпертом, выглядит, к счастью, неизмеримо более профессионально. Автор начинает с определения литературного языка, следуя здесь пражской традиции. Литературный язык должен обладать полифункциональностью, средствами функциональной (стилистической) дифференциации, кодифицированностью и общеобязательностью. Имея в виду эту дефиницию, Х. Кайперт выделяет четыре различные подходы к построению истории литературного языка: как к истории текстов, как к истории языковой нормы, как к истории восприятия проблем литературного языка и, наконец, как к истории становления тех атрибутов, которые определяют литературный язык. Сам автор следует последнему подходу и именно на нем основывает построение своего очерка. Такой выбор обусловливает преимущественное внимание к XVIII–XX вв., когда приобретение названных выше качеств становится движущим фактором в динамике языка русской письменности. Более ранний период при подобном подходе можно было бы рассматривать как предысторию русского литературного языка, как это и предлагал в свое время А.В. Исаченко [Issatschenko 1974]; Х. Кайперт обходится, впрочем, без подобных радикальных утверждений.

Обсуждая становление полифункциональности, автор особо останавливается на соотношении русского и церковнославянского, поскольку по крайней мере до середины XVIII в. идиомы, употребляемые в различных сферах функционирования языка, традиционно характеризуются как церковнославянский, или русский, или тот

или иной гибрид двух этих языков. Изложив различные взгляды на эту проблему, равно как и на связанный с нею вопрос о так называемом "происхождении" русского литературного языка (точки зрения А.А. Шахматова, С.П. Обнорского, В.В. Виноградова, теорию диглоссии и ее критические оценки), Х. Кайперт не занимает какой-либо из известных позиций, а указывает, что при целостном анализе оригинальных текстов понятия русского и церковнославянского остаются недостаточно "*angemessener und dennoch praktikabler*" (с. 743).

Далее автор переходит к описанию того, какое развитие получали языковые средства в различных функциональных сферах. Выделяется двенадцать таких сфер: религия и церковь; управление и право; военное дело; дипломатия; ремесло и техника; наука; беллетристика; театр и декламация; публицистика; публичная речь; частные записи; разговорное употребление. Автор обсуждает вопрос о том, когда получает развитие каждая из этих сфер и указывает основные вехи их истории. Понятно, что история разных сфер в разной степени богата событиями; весьма различна и степень изученности относящейся к разным функциональным сферам письменности. В силу этого обзора свойственна определенная неравномерность, которая, впрочем, не мешает автору создать достаточно убедительную общую картину динамики полифункциональности. Возникающая при таком подходе принципиальная проблема относится скорее к области культурологии, нежели собственно лингвистики. Имеем в виду вопрос о том, насколько четко выделялись те или иные сферы в культурном сознании носителей на разных этапах развития языка, как членилось ими пространство письменности (ср. об этой проблеме для древнейшего периода [Marti 1989]) и к какой реинтерпретации существующей письменности и реорганизации соответствующих риторических моделей приводило осознание автономности той или иной функциональной сферы (например, выделение беллетристики или переосмысление летописания как части светской историографии).

Следующий раздел очерка посвящен возникновению и развитию кодификации языковой нормы. Автор пишет о становлении языкового самосознания, в рамках которого нарождалась потребность в фиксации нормы русского языка, отмечая первые проявления этого самосознания уже в XV в. и прослеживая его динамику в XVI–XVIII вв. В XVIII в. появляются институции, деятельность которых связана с языковым норми-

рованием, начиная с Российского собрания при Академии наук и кончая Институтом русского языка РАН. В этом контексте Х. Кайперт рассматривает и историю языкового пуритана в России. Понятно, что в рамках краткого очерка отбор упоминаемых фактов всегда остается спорным, так что предъявлять претензии к автору здесь достаточно сложно; нам представляется, однако, что пуританство последнего сталинского десятилетия вряд ли может быть обойдено вниманием (в рецензируемой работе о нем ничего не сказано). Отдельно рассматривается история нормативных грамматик русского языка и нормативных словарей. И в этом случае отдельные опущения не кажутся вполне оправданными; например, автор сразу же переходит от грамматики М.В. Ломоносова к грамматике А.Х. Востокова; на наш взгляд, Академическая грамматика 1802 г. заслуживала бы хотя бы краткого упоминания.

К наиболее интересным разделам очерка относится часть, посвященная становлению общеобязательности языкового стандарта. Эта тема остается в русистике очень мало разработанной, в то время как ее важность представляется очевидной. Историю литературного языка нового времени невозможно написать, не представляя себе, каков был круг пользователей этого языка, как и когда он начал утрачивать свою элитарность, как воспринимался этот язык большинством населения, остававшимся к этому языку во многом непричастным. Х. Кайперт высказывает интересные соображения о территориальной экспансии единой нормы (как в средневековье, так и в новое время), равно как и о социальном распространении грамотности. Приводимые автором данные о процентах неграмотных в России XIX в. нуждаются, видимо, в переосмыслении, поскольку, например, традиционная церковнославянская грамотность могла как грамотность не рассматриваться и при обследовании населения не учитываться (см. об этом новую работу А.Г. Кравецкого [Кравецкий 1999]). Не кажется вполне обоснованным и взгляд Х. Кайперта на свидетельство новгородских берестяных грамот, которые, по его мнению, говорят лишь о грамотности в Новгороде, но не во всей Киевской Руси (с. 768); по новгородским берестяным грамотам можно судить, конечно, только о грамотности городского населения, для населения сельского они явно не репрезентативны; однако нет оснований думать, что ситуация в Новгороде принципиально отличалась от ситуации в других крупных центрах Киевской Руси

(автору стоило бы учесть соображения, высказанные в свое время С. Франклином [Franklin 1985]). Несколько абзацев Х. Кайперт посвящает истории обучения русскому языку, имеющему, понятно, основное значение для утверждения языкового стандарта; автор справедливо отмечает досадное отсутствие обобщающих исследований по этой теме; из частных штудий можно было бы, однако, учесть работы Г. Маркера [Marker 1990; 1994].

Очерк, несомненно, дает хорошее представление об основных моментах истории русского литературного языка. Перспектива, в которой излагаются факты этой истории, является для русистики достаточно новой, и это придает очерку дополнительный интерес. Вместе с тем предлагаемый автором подход обнаруживает существенные лакуны в наших знаниях по многим затрагиваемым вопросам (например, касающимся социолингвистических параметров истории языка). Здесь автор не суммирует существующие исследования — в силу их отсутствия, — а излагает собственные соображения, порой дискуссионные. Можно сказать, таким образом, что очерк Х. Кайперта, подводя итоги изучению истории русского литературного языка в последние десятилетия, содержит вместе с тем программу будущих исследований, в которых проблемы, вызывавшие многолетние споры, могли бы быть поставлены и решены принципиально новым образом.

Обратимся к некоторым разделам рецензируемой книги, касающимся **современного состояния русского языка** и дающим обзор соответствующих лингвистических исследований.

Раздел "Словообразование" написан Й. Рэке. Й. Рэке — автор известной монографии, посвященной русскому словообразованию [Räcke 1972]. Рецензируемый раздел является продолжением и дополнением написанного им же раздела "Словообразование", опубликованного в [HR 1984]. В начале раздела автор указывает, что исходит из теории словообразования, основанной на взглядах М. Докулила (1962) и Э. Косериу (1977). Термин "словообразование" используется традиционно — для называния определенной области русского языка и соответствующей лингвистической дисциплины.

Характеристике словообразовательной теории автор предполагает краткий очерк русского словообразования (с. 155–168), построенный как рассмотрение трех различных классов лексических единиц: Модификация, Транспозиция, Мутация (по Докулилу) или Модификация, Расширение

(*Erweiterung*). Композиция (по Косериу). Этот очерк дает достаточно полное представление о русском словообразовании. Автор приводит производные слова разных частей речи названных трех классов, помечая непродуктивные и единичные (например: *бирчук*, *птенец*). Отмечу, что в ряде случаев суффикс выделен неверно, например: *-ерия* в *пионерия* (с. 156). Это слово образовано от *пионер* (а не от *пион*) и, следовательно, содержит "обычный" суффикс *-ия*. Автор, к тому же, дает этот суффикс еще и в виде *-ья* (с примером *братья*). Единица *братья*, однако, – это форма множ. ч. от *брать*, а не существительное с собирательным значением (аналогично: *лист* – *листья*). Собирательным является производное *братья* (в современных словарях характеризуется как *церк.* или *иронич.*). Добавим, что представлять морфемы в чисто орфографическом обличии, используя мягкий знак (ѣ), т.е. изображать суффикс *-j-* как *-ье* (например, *-ье*: *сыреь*, с. 165), на наш взгляд, некорректно, так как это затемняет представление о структуре слова. Отмечу, что в России принято даже в средней школе строго разграничивать звуки и буквы и учить детей, что данный суффикс содержит звук *j* (йот).

В очерке теории словообразования, по нашему мнению, наиболее интересен пункт 3.3. Непонятно, однако, почему автор – вопреки тому, что им сказано в начале раздела, – озаглавливает его не *Mutation* (по Докулилу) или *Erweiterung* (по Косериу), как он сам обещал, а "*prolexematische Komposition*". Этот термин неудачен. Среди русистов он не принят совсем и даже неизвестен. Среди германистов он, насколько нам известно, тоже не употребляется. Внутренняя форма этого термина вводит читателя в заблуждение, ибо этим термином Й. Рэке называет не сложные слова (так обычно используют термин "композиты"), а аффиксальные производные разного рода (учитель, ученик, малыш, добряк, садовник, брюхан и т.д.), которые принято называть – вслед за М. Докулилом – термином "мутация" или "мутационное словообразование". Рэке, правда, приводит и термин *Mutation*, но лишь как дополнительный, вторичный, в скобках.

Классифицируя материал, автор использует такие обозначения, как "*prolexematisches*" субъект, объект и обозначение места, считая, что в русском языке этими тремя разновидностями исчерпываются словообразовательные средства. С послед-

ним нельзя согласиться, так как в русском языке значение инструмента имеет свой, закрепленный за ним показатель *-лк(а)*. *Точилка, открывалка* и многие другие слова обозначают 'то, чем точат, открывают...', а не ' тот, кто точит, открывает...'. Этот словообразовательный тип высокопродуктивен в разговорном языке [PPP-81; Земская 1992].

Разграничение существительных по признаку субъект – объект проводится непоследовательно. Так, автор, объединяя как имена субъекта наименования **активных** действующих лиц (*учитель, гуляка* и под.), действующих **предметов** (*мигалка, точило, резак, будильник* и др.) и лиц **пассивных**, подвергающихся воздействию (*ученик*), считает, видимо, признаки активность / пассивность и лицо / предмет несущественными для словообразовательной классификации. Вместе с тем некоторые наименования пассивных лиц он относит к категории **объектов** (*приемыш*, с. 165), тогда как другие – к категории **субъектов** (*баловень*, с. 165, ' тот, кого балуют').

Отметим некоторые неправильности и неточности. Слово *стрельбище* отнесено к производным от имен существительных (с. 166), хотя оно явно произведено от глагола *стрелять*; в качестве отсубстантивных слов этого типа можно назвать *пожарище*, *кострище*. Если же соотносить слово *стрельбище* с отглагольным существительным *стрельба*, то в нем следовало бы выделять суффикс *-ище*, а не *-бище*, как делает автор. Слова *трясилка, подгребье* (с. 165) – крайне редкие. По-видимому, среди примеров рациональнее не давать редко употребляемых, малораспространенных слов, кроме тех случаев, когда они демонстрируют какие-либо важные, но малочастотные языковые явления. Слова типа *забегиловка* (с. 165) обозначают место, а не субъект действия.

Пункт 5 "Zur Klassifikation "sekundärer Einheiten in Derivatsform" содержит детальное описание **комплексных**, как принято в русистике называть их, единиц словообразования. Автор избирает здесь (в отличие от пунктов 3 и 4) чисто формальный способ изображения словообразовательных структур и описывает эти способы почти совсем без примеров. На три страницы текста дано лишь несколько иллюстраций в виде реальных слов. Такой способ изложения, несомненно, экономит место, но очень затрудняет читателя.

Проблематика теории словообразования, разрабатываемая в русистике, отражена в

разделе достаточно полно. Тем не менее, считаем важным назвать некоторые проблемы, рассмотрение которых (или хотя бы краткое упоминание о которых) сделало бы представление о современной теории словообразования, разрабатываемой в русистике, более адекватным.

1. В русском языкоznании на протяжении десятилетий дискутировался так называемый "вопрос о буженине и стеклярусе", иными словами о том, считать ли производными слова с "дефектным" корнем и/или "дефектным" аффиксом (полемика Г.О. Винокура – А.И. Смирницкого). Ответ на этот вопрос был дан в 60-е годы учеными, предложившими устанавливать разные степени членности слова [Панов 1968: 214–217; Панов 1975]. Был сделан вывод о необходимости разграничивать понятия производности и членности слова [Земская 1966]. С этой точки зрения, все производные слова признаются членными, но не все членные – производными (например, *буженина*, *малина*, *радуга*, *стеклярус*). Интересные наблюдения над разной степенью членности слова даны в Rammelteuer 1988].

2. Изучение семантики производного слова позволило русистам глубоко и всесторонне исследовать явление, получившее название "фразеологичность (или: идиоматичность) семантики производного слова". Этим термином называют наличие в лексической семантике производного слова элементов, не находящих выражения в его морфемном составе. М.В. Панов блестяще показал это явление, анализируя сходные по морфемному составу, но резко различные по лексическому значению слова: *утренник* (утренний спектакль), *вечерник* (студент вечернего отделения), *дневник* (тетрадь для ежедневных записей), *ночник* (светильник), *зимник* (зимний путь) [Панов 1956]. Еще несколько примеров. Слово *электричка* называет электропоезд, но не бритву, чайник и т.д.; слово *громкоговоритель* – радио, а не громкоговорящего человека. Ср. также разницу в лексической семантике слов *писатель*, *писец*, *писака*; *бегун*, *беглец*, имеющих единное словообразовательное значение (производитель действия). В последующие годы проблема фразеологичности семантики активно разрабатывалась и углублялась (намечена типология семантических наречений, установлены классы слов, для которых характерна фразеологичность семантики, и т.д.) – см., например [Ермакова 1984].

3. Важное общетеоретическое значение имеет вопрос о том, какое место занимает словообразование в лингвистической модели языка. Вопрос этот сложен и до сих пор не получил ответа. Он рассматривается не только в славистике.

Американская лингвистика не отводит словообразованию особого места в модели языка, растворяя его в лексике. Знаменательно движение научной мысли в подходе к этой проблеме. Так, И.А. Мельчук в первоначальных вариантах своей теории "Смысл ↔ Текст" [Мельчук 1974] вообще не включал словообразовательный компонент в модель языка. Однако в статье [Мельчук 1990] он уже принимает другое решение, разделив словообразование на две области: 1) как делаются слова и 2) как сделаны готовые слова. Первую область (словообразование-1) он вводит в свою модель. Этот шаг разумен, но, на наш взгляд, недостаточен, так как в модель попадают лишь немногочисленные и, так сказать, самые тривиальные явления, а за бортом модели остается многое, что несомненно реализует деятельностный механизм языка, но при этом представляет большие сложности для изучения. Несколько шагов по пути разрешения этой проблемы сделано в работах [Кронгауз 1994; 1999].

4. Конец XX в. породил в русском языке невиданную активность словообразования. Активные словообразовательные процессы последних десятилетий XX в. выявляют точки роста в системе русского словообразования и способствуют более глубокой разработке вопросов теории (изменения в структуре слова, рост аналитизма и др.). Эта проблематика изучалась во многих работах, например: [Костомаров 1994; Дуличенко 1994; РЯ 1996: 90–141; Земская 1997].

Автор раздела "Лексикология" Э. Гюнтер вначале дает очерк развития лексикологии русского языка, упоминая работы исследователей XIX в. – А.Х. Востокова, И.И. Срезневского, А.А. Потебни, Я.К. Грота – и основополагающие для лексикологических штудий XX в. труды В.В. Виноградова, Л.В. Щербы, Д.Н. Шмелева и нек. др.

В следующем параграфе обсуждается предмет лексикологии, что, на наш взгляд, было бы более уместно в исследовании теоретического характера, а не обзоре развития русистики за последние десятилетия. При всей теоретико-лингвистической значимости обсуждения вечного вопроса "Что такое слово?" (см. в связи с этим ссылки на работы В.Г. Гака, Н.М. Шанского, М.И. Фоминой; сам подбор этих имен оставляет

впечатление случайности), не споры на эту достаточно скользящую тему в первую очередь характеризуют развитие русской лексикологии в конце XX в. Между тем, проблема слова продолжает обсуждаться и в следующем параграфе.

В параграфе "Способы расширения словарного состава" Э. Гюнтер обращается к исследованиям, в которых рассматриваются такие хорошо известные пути пополнения словаря, как словообразование, развитие у слов новых значений, конверсия; особо выделено образование номинаций, состоящих из более чем одного слова (типа *телефон-автомат*, *детский сад*, *научно-исследовательский институт*), а также фразеологизованных оборотов типа *оказать помощь*, *совершить путешествие*, что, как кажется, должно быть предметом рассмотрения в разделе "Фразеология" (или, может быть, "Синтаксис", если анализировать подобные единицы как словосочетания).

Среди способов пополнения словаря не упомянуто заимствование иноязычной лексики – вероятно, по недосмотру, так как в конце этого параграфа автор хотя и бегло, но все же рассматривает проблему заимствования и адаптации русским языком иноязычных слов, указывая на преобладание в современных заимствованиях англоамериканской лексики (приводятся примеры подобных заимствований: *митинг*, *комьютер*, *телевизор*).

Проблемы словообразования (как одного из путей пополнения словарного состава русского языка) обсуждаются в другом разделе книги (1.7), к которому и делает ссылку Э. Гюнтер, сосредоточивая свое внимание на исследованиях, посвященных развитию у слов вторичных значений. Эта проблема рассматривается на примерах типа *море ржи*, *море добродушного веселья* (в значении слова *море* в таком употреблении устраняется смысловой компонент 'вода' и делается акцент на компонентах 'большое количество' и 'большое пространство'), *угаснуть* 'перестать светить' и 'умереть', *фарфор* – материал и изделие из этого материала и нек. др.

Вызывает удивление отсутствие ссылок в этом параграфе на имена Ю.Д. Апресяна, Д.Н. Шмелева и других исследователей, чьи работы явились определенным шагом вперед в изучении проблемы многозначности слова (ср., например, понятие *регулярной многозначности*, введенное Ю.Д. Апресяном и проиллюстрированное им на русском лексическом материале [Апресян 1974]). В целом то, что написано здесь о проблемах

полисемии, возвращает читателя во времена, когда в лексической семантике господствовал компонентный анализ и не было даже намека на такое средство описания семантики слова (и, одновременно, инструмент, позволяющий разграничивать разные его значения), как полное, синтаксически упорядоченное толкование, имеющее определенную структуру, которая отражает структурную организацию лексического значения слова, где могут быть выделены асsertивная часть, пресуппозиция, модальная рамка.

Под конверсией Э. Гюнтер понимает переход слов из одной части речи в другую, главным образом – субстантивацию прилагательных (*учительская*, *ванная*). Заметим, что термин "конверсия" в таком его понимании (в отличие от конверсии в лексике: *вмещать* – *входить*, *проигрывать* – *выигрывать*, *за* – *перед* и т.п.) не характерен для русской лингвистической традиции; не случайно здесь нет ни одной ссылки на работы русских языковедов, в которых встречалось бы такое понимание этого термина.

От способов пополнения словаря автор переходит к проблеме системных отношений в лексике (§ 5). Эта проблема рассматривается на примере соотношения полисемии и омонимии, и из того, что говорится здесь об этом соотношении, неясно, каким образом проявляется в полисемии и омонимии именно такое свойство лексики, как ее системность. Несомненно, большее отношение к системной организации словаря имеют синонимические и антонимические отношения между словами; они рассматриваются в пунктах 5.2 и 5.3 с опорой на книгу Ю.Д. Апресяна "Лексическая семантика" и на анализ материала "Словаря синонимов" под ред. А.П. Евгеньевой, а также на работы Л.А. Новикова и Д.Н. Шмелева. Здесь же было бы уместно рассмотреть и конверсивы, которые также являются свидетельством системных отношений между лексическими значениями, однако конверсивы упомянуты автором лишь в связи с антонимами типа *въехать* – *выехать*, *дать* – *взять*.

В § 6 "Тематическое разнообразие словаря" Э. Гюнтер вначале указывает на множество терминов, используемых в теории лексического поля: *лексико-семантическая категория*, *семантическое, понятийное, ассоциативное поле*, *лексико-семантическая, тематическая группа*, *sprachliches Feld*, *Wortfeld* и др. (даны ссылки на работы, в которых фигурируют эти термины, –

Г.С. Щура, Э.В. Кузнецовой, П.Н. Денисова, Л.М. Васильева, Ю.Н. Карапуза и др.). Затем тематические группировки анализируются на нескольких примерах типа *двигаться, бежать, ехать, лететь; канал, река, ручей*, и сам этот анализ оставляет впечатление, во-первых, поверхностности, во-вторых, безотносительности к процессам, протекающим в лексике современного русского языка, и, в-третьих, несвязанности с работами русистов, выполненными в последние десятилетия (в тексте этого пункта имеется всего лишь одна ссылка на явно вторичную работу 1986 года).

Явления семантического и понятийного полей обсуждаются с привлечением уже упомянутых работ Л.М. Васильева и Э.В. Кузнецовой, а также О.С. Баранова, В.В. Морковкина, ассоциативные поля — с опорой на в значительной степени устаревшие работы А.А. Леонтьева, но, к сожалению, без ссылок на результаты изучения ассоциативных полей, воплощенные в словарях, — например, в "Русском ассоциативном словаре" Ю.Н. Карапуза и др., который, при его явной уязвимости для критики, представляет собой определенный срез языковой картины мира, характерной для современных носителей русского языка.

В целом раздел "Лексикология", как кажется, недостаточно отражает современный уровень исследований в области русистики. Он в значительной степени "повернут в прошлое" как по характеру обсуждения центральных для лексикологии проблем, так и по учету работ, в которых эти проблемы изучаются.

В тематически близком к этому разделу очерке современной русской лексикографии его автор О. Мюллер привлек к обзору весьма широкий круг источников — как словарей разного типа, так и работ по теории и практике составления словарей: список словарей насчитывает более 100 наименований, а список работ по проблемам лексикографии — около сотни.

Раздел состоит из шести параграфов и списка литературы. Сначала автор останавливается на определении основных понятий лексикографии и на типах словарей, выделяемых в русской лексикографической традиции: толковых, исторических, переводных, словарей академического типа и словарей-справочников, общих и специальных, учебных и др. (имеются ссылки на соответствующие работы русистов, в которых обосновываются и развиваются принципы составления каждого типа словарей).

Далее идет обзор толковых словарей —

академических, начиная со словаря Академии Российской 1789–1794 гг. и кончая семнадцатитомным и четырехтомным, Словаря В.И. Даля, однотомных словарей С.И. Ожегова и В.В. и Л.Е. Лопатиных. Здесь же даются образцы словарных статей в толковом словаре как жанре лексикографической продукции. О. Мюллер цитирует теоретические положения авторов словарей, касающиеся задач того или иного словаря, способов подачи лексикографической информации, структуры словарной статьи, систем грамматических и стилистических помет и т.п.

Помимо "общих" словарей, автор характеризует и словари специальные (*Spezialwörterbücher*), под которыми он имеет в виду лексикографические издания, содержащие какой-либо один вид лингвистической информации (в русистике такие словари иногда называют аспектными или профильными): словари орфографические, орфоэпические, грамматические, словари языковых трудностей, иностранных слов, неологизмов, фразеологические, словари сокращений.

Отдельный параграф посвящен словарям, представляющим парадигматические связи между словами: синонимическим (обзор начинается с упоминания словаря П. Калайдовича, 1818 г., и кончается "Новым объяснительным словарем синонимов" под рук. Ю.Д. Апресяна, 1997 г., первый выпуск), антонимическим [традиция составления таких словарей в русистике намного короче, чем традиция составления словарей синонимов; автор называет словари Л.А. Введенской (1971), Н.П. Колесникова (1971), М.Р. Львова (1978 и 1996)], словарям омонимов (здесь назван словарь О.С. Ахмановой, 1974 и 1996), паронимов, словарям словообразовательным (по-немецки они названы автором как словари [морфологической] структуры слова — *Wortstrukturwörterbücher*), обратным словарям (каждый из этих типов представлен наиболее известными изданиями).

Далее (§ 4) дается обзор словарей нелитературной лексики — разговорной речи и просторечия (наиболее известен словарь З. Кестер-Тома "Die Lexik der russischen Umgangssprache", изданный в 1996 г., который и указан здесь автором обзора), жаргонной лексики и мата (число изданий такого рода в 80–90-е гг. особенно велико), диалектных словарей. Заметим, что сведения о последних даны весьма скромно, в то время как в современной русской лексикографии имеется несколько десятков словарей диалектной лексики, различающихся

по задачам, по типу сообщаемой информации, структуре словарной статьи и т.п.: ср. так называемые дифференциальные и полные словари, однодиалектные и многодиалектные, синхронные и диахронные и др.

Завершается раздел "Лексикография" обзором исторических и этимологических словарей. Здесь указаны "Материалы для словаря древнерусского языка" И.И. Срезневского, "Словарь древнерусского языка XI–XIV вв.", "Словарь русского языка XI–XVII вв.", "Словарь русского языка XVIII в.", этимологические словари А. Преображенского, М. Фасмера, "Историко-этимологический словарь" П.Я. Черных. Однако этот обзор настолько лапидарен – всего чуть более двух десятков строк, – что в нем не нашли отражения принципы составления словарей рассматриваемого вида, различия между ними в характере и объеме лингвистической информации, содержащейся в их словарных статьях, подбор иллюстративного материала и т.п.

Подытоживая анализ раздела "Лексикография", надо сказать, что он в целом верно и достаточно полно представляет лексикографические издания различного типа, существующие в современной русистике, однако почти ничего не говорится здесь о теоретических разработках в области лексикографии (ср., например, концепцию "Нового объяснительного словаря синонимов русского языка" Ю.Д. Апресяна, роль в этой концепции так называемого интегрального – то есть единого для словаря и грамматики – подхода, понятие лексикографического портрета и конкретные образцы таких портретов и т.п. – см. [Апресян 1995]).

Раздел "Разговорная речь" (*Umgangssprache*; автор У. Хиррикс) начинается с части, озаглавленной «К понятию "разговорный язык"». Автор перечисляет четыре объекта, к которым может применяться этот термин. Предельно кратко эти объекты автор характеризует так:

- а) устная речь;
- б) языковое образование, которое используется в повседневном общении, в спонтанном разговоре (социолингвистический вариант). В русской традиции этот объект называют термином "повседневная речь";
- с) подсистема языка, имеющая специфическую структуру и лингвистически описываемая (системно-лингвистический вариант);
- д) специфический функциональный стиль (стилистический вариант).

Как пишет У. Хиррикс, русский разговорный язык (РЯ) в его интерпретации Москов-

ской школой Земской относится к типу с) с некоторыми добавлениями из типов а) и б) (с. 590).

Во второй части раздела автор затрагивает истоки учения о РЯ (Б.А. Ларин, Л.П. Якубинский, Н.Ю. Шведова, наиболее подробно останавливаясь на исследованиях Московской группы Института русского языка (Е.А. Земская, Л.А. Капанадзе, Г.А. Баринова, Е.В. Красильникова, М.В. Китайгородская, Н.Н. Розанова, Е.Н. Ширяев и позднее включившаяся в эту работу М.Я. Гловинская), упоминает Саратовскую школу (О.Б. Сиротинина и ее ученики), Горьковскую школу (Ю.М. Скребнев) и позднейшие исследования, например: [Kocster-Thoma, Zemskaja 1995].

К числу наиболее интересных и наименее разработанных вопросов относятся два. Первый – отношение литературного разговорного языка и просторечия. Этому вопросу посвящены наши публикации, не вошедшие в богатую библиографию раздела: [Земская 1990; 1991].

Второй вопрос, требующий тщательного изучения, базирующегося на большом фактическом материале, – это вопрос о генезисе разговорного языка (РЯ), о времени его возникновения. Этот вопрос особенно сложен, так как РЯ обнаруживается преимущественно в устной форме. Мы можем непосредственно наблюдать его лишь в современности (не позднее, чем появились магнитофонные и другие виды фиксации устной речи). Звучащая речь прошлых веков до нас не дошла. Устная форма речи предшествует письменной, и, следовательно, разговорные языки – явление глубокой древности. Встает вопрос: когда возникают РЯ как особые формации? Когда возникают те особенности РЯ, которые отличают их в настоящее время? Изучать пути и время формирования РЯ можно лишь ретроспективным методом, выявляя особенности тех жанров письменности прошлых веков, которые характеризуются экстралингвистическими признаками, присущими РЯ (неофициальность, неподготовленность, непосредственность). Это – частная переписка, записки, дневники, мемуары. Анализ таких материалов показывает значительное сходство между подобными текстами и современным РЯ, особенно в области синтаксиса, например, в порядке слов, см. [Лаптева 1963; Кручинина 1974; 1976; Глинкина 1979; 1986; Ярин 1986; Земская 1988].

Эта точка зрения, которую У. Хиррикс именует "Kontinuitäts-Theorie" (с. 592), противопоставлена "sowjetische Hypothese", представленной в работах М.В. Панова [Панов

1990: 19, 93]. Он рассматривает РЯ в качестве специфического феномена, развившегося в советское время как реакция на шаблонизацию языка, как противовес казенщине и стилистическому единобразию; см. также [Lehfeldt 1991].

Мы думаем, что эти два мнения не исключают, а дополняют друг друга. Чисто структурные особенности, наблюдаемые и в современном РЯ, и в прошлые века (например, частая постпозиция согласованных местоимений, непроективный порядок слов, препозиция глагольного объекта и мн. др.), не связаны с советским строем. Они объясняются устной формой существования РЯ, его неподготовленностью, спонтанностью, неофициальным характером. С другой стороны, многие особенности современного РЯ, относящиеся прежде всего к области лексики и фразеологии, могут действительно быть реакцией на трафаретность, шаблонность, "засущенность" языка советской эпохи, породившего то явление, которое называют термином "новояз" (англ. *newspeak*, польск. *nowatowa*).

В третьей части раздела автор сопоставляет различные мнения о РЯ. Согласно одному из них, РЯ трактуется как особая **языковая система**, существующая в пределах единого русского литературного языка наравне с кодифицированным литературным языком (КЛЯ), что порождает особый вид диглоссии у носителей литературного языка. Этот подход к изучению РЯ разрабатывает Московская школа. Не имея возможности в краткой рецензии аргументировать эту точку зрения, укажем лишь на то что термин "разговорный язык" не только отвечает системному статусу изучаемого объекта, но и коррелирует с терминами, применяемыми к другим языкам (ср., например, нем. *Umgangssprache* – русск. *разговорный язык*).

Согласно другой точке зрения, следует говорить не о разговорном языке (РЯ), а о разговорной **речи** (РР), которая не имеет черт, противопоставляющих ее КЛЯ в качестве особой языковой системы. Этой точки зрения придерживаются О.Б. Сиротинина, Т.Г. Винокур, О.А. Лаптева, У. Хирникс и некоторые другие исследователи.

Четвертая – самая объемная часть раздела (с. 596–609) – составляет конкретное описание русского РЯ, базирующееся в основном на материалах Московской школы исследователей. Оно включает такие части:

- 1) Фонетика и фонология, сегментные и суперсегментные единицы;

- 2) Морфология – существительное, прилагательное, глагол, прочие части речи (отмечается специфическое употребление предлогов, например: *Эта квартира хороша на без детей*);
- 3) Синтаксис – здесь особое внимание уделяется порядку слов, чертам аналитизма, обнаруживаемым в явлениях парадигматики (с. 604–606) и связанным с прагматикой (с. 604);
- 4) Словообразование существительных и прилагательных.

Разговорная лексика не рассматривается – автор отсылает читателя к работам З. Кёстер-Тома.

К сожалению, автор не затрагивает такую важную для характеристики сущности РЯ проблематику, как невербальные средства коммуникации (жест, мимика) и широкое распространение языковой игры.

Заканчивая раздел, автор называет задачи, стоящие перед исследователями РЯ:

- 1) Описание русского РЯ как самостоятельной системы, имеющей свои языковые единицы и развивающейся.
- 2) Сравнение русского РЯ с другими славянскими разговорными языками с целью создания сопоставительной грамматики разговорных языков, противопоставленной сопоставительной грамматике книжно-литературных славянских языков.
- 3) Объяснение отличий РЯ от КЛЯ в рамках когнитивных моделей изучения языка.

Отметим богатство библиографии, заключающей раздел. Лакуны немногочисленны. Они связаны прежде всего с проблематикой, касающейся генезиса РЯ, – см. названные выше работы О.А. Лаптевой, И.Н. Кручининой, Л.А. Глинкиной, А.Я. Ярина, Е.А. Земской.

Особое – и весьма значительное по объему – место в рецензируемой книге отведено анализу смежных с русистикой лингвистических дисциплин и состояния их разработки в современной России. В соответствии с объявлением в начале нашей рецензии принципом – рассмотреть лишь те части *Handbuch'a*, которые близки профессиональным интересам рецензентов, – обращаемся к разделу, посвященному **социолингвистике**.

Написанный одним из ведущих немецких специалистов в области социолингвистики Хельмутом Яхновом, этот раздел достаточно полно и всесторонне освещает картину развития и современного состояния социолингвистических исследований в СССР

и в России. Обзору этих исследований предшествует краткий очерк западноевропейской и американской социолингвистики, а также статуса, целей, методов и основных понятий этой науки (§ 1). Здесь (п. 1.1) Х. Яхнов отмечает характерный для лингвистики XX в. интерес к социальному аспекту изучения языка, внимание к этому аспекту таких представителей немецкой социальной диалектологии, как Ф. Маурер и Х. Науман, французской лингво-социологической школы (А. Мейе и его последователей), усиление тенденции к регулярным, систематическим контактам лингвистов и социологов, что способствует лучшему пониманию не только роли общества в развитии и функционировании языка, но и роли языка в социальных процессах и институтах.

Автор обзора констатирует, что особенно заметная активизация социолингвистических исследований начинается с 60-х гг. XX в., когда подвергается пересмотру ряд теоретических положений господствовавшей в то время генеративной лингвистики, которая, по мнению социолингвистов, представляет язык не в реальном его функционировании, а в "очищенном", идеальном виде, без учета социальных, ситуативных и pragmatischen faktorov. Х. Яхнов указывает на плодотворность социолингвистического подхода при решении проблем практического использования языка (в частности, он указывает на манипулятивную функцию языка в политических процессах), проблем языковой политики и школьного образования (в связи с последним подчеркивается популярность в 60–70-х гг. так называемой теории языкового дефицита английского психолога Б. Бернстаина) и др.

Пункты 1.3 – 1.6 посвящены статусу социолингвистики среди других лингвистических дисциплин, целям этой науки, используемым в ней методам и теоретическим установкам, а также ее "рабочим понятиям" (*Arbeitsbegriffe*) и категориям – таким, как *коммуникативная компетенция, речевой акт, регистр, языковой барьер, разработанный ограниченный (языковой) код, диглоссия, речевое сообщество (speech community)* и др.

При несомненной важности всех этих "материй" для понимания того, чем занимается социолингвистика, в отличие от "чистой" лингвистики (тем более, что Х. Яхнов в своем изложении опирается на новейшие, главным образом американские и немецкие, публикации в этой области), – было бы естественно полагать их на исходе 20 века уже хорошо известными читателю-

лингвисту, который ждет от данного обзора (в соответствии с названием всей рецензируемой книги) информации о русской социолингвистике.

В следующем параграфе Х. Яхнов и приступает к характеристике истории советской социолингвистики, в развитии которой, начиная с 20-х годов, преобладал, естественно, марксистский подход. Вместе с тем, результатом исследовательского внимания лингвистов к тем изменениям, которые происходили в русском языке после революции, явился ряд работ, содержащих конкретные, "неидеологизированные" наблюдения над этими изменениями (работы А.П. Баранникова, А.М. Селищева и др.). Х. Яхнов справедливо подчеркивает выдающуюся роль Е.Д. Поливанова в развитии "социологической лингвистики", а также значимость трудов М.М. Бахтина, В.В. Виноградова, Г.О. Винокура, В.М. Жирмунского, Б.А. Ларина, Л.П. Якубинского для укрепления позиций этого направления лингвистических исследований.

Рассматривая факторы, обусловившие интенсификацию социолингвистических исследований в русистике 60-х – начала 70-х гг., Х. Яхнов обращает внимание на то обстоятельство, что советская наука о языке, в 20–40-е годы противопоставлявшая себя западной лингвистике как буржуазной, в этот период устанавливает более или менее регулярные связи с различными направлениями лингвистических исследований в других странах. В значительной степени это относится и к социолингвистике. Кроме того, "реабилитация" властью конкретных социологических исследований, произошедшая в 80-е годы, отразилась и на социолингвистических штудиях, в которых наряду с макропроцессами (преимущественное внимание к ним было свойственно ортодоксальной советской социолингвистике – см., например, работы Ю.Д. Дешериева) начинают изучаться и социально обусловленные явления, характерные для малых социальных групп.

Для теоретического обоснования позиций социолингвистики среди других социолингвистических дисциплин, отмечает Х. Яхнов, в 70–80-х годах видную роль сыграли работы В.А. Звегинцева, А.Д. Швейцера, Л.Б. Никольского и других исследователей. Примечательной особенностью развития советской социолингвистики в последней трети XX века является ее отход от умозрительных концепций, достаточно характерных для 20–30-х гг., и ориентированность на эмпирические исследования. В связи с этим Х. Яхнов упоминает ряд

работ, основанных на массовом социолингвистическом материале, и прежде всего четырехтомную монографию "Русский язык и советское общество", выполненную под руководством М.В. Панова. Однако роль самого М.В. Панова как идеолога конкретных социолингвистических исследований в русистике оценена автором обзора, на наш взгляд, недостаточно. Не упомянута и его блестящая монография об истории русского литературного произношения (см. [Панов 1990]), демонстрирующая плодотворность социолингвистического анализа при изучении исторических изменений в языке, а также при создании так называемых "фонетических портретов" деятелей прошлого.

В 5-м параграфе Х. Яхнов кратко характеризует основные направления советской социолингвистики, а затем (§ 6) привлекает внимание читателя к тому, как воспринимались в СССР идеи и концепции западной социолингвистики. Хотя в 70-е годы становятся известными в переводе на русский язык многие работы У. Лабова, Д. Хаймса, Ч. Фергюсона, Дж. Гамперца, С. Эрвин-Трипп и других американских исследователей (см., в частности, 7-й выпуск "Нового в лингвистике", 1975), несколько позднее – книги Р. Белла "Социолингвистика" (1980), – многие представители советской науки о языке критируют западных и американских авторов за "внеклассовый" подход к изучению социальной обусловленности языковых явлений, за гипертрофированное внимание к исследованию речевого поведения человека в малых социальных группах (и, напротив, пренебрежение к макропроцессам, происходящим в больших языковых коллективах). В заключение этого параграфа Х. Яхнов высказывает мнение, что и в годы Перестройки и после нее западные социолингвистические идеи воспринимаются в России неохотно.

7-й параграф посвящен анализу понятийного аппарата, используемого советской социолингвистикой, 8-й – методам и теориям, которые в ней применяются. В частности, здесь подчеркнуто разделение методов на две группы – методы сбора социолингвистического материала и методы анализа социолингвистических данных. В теоретических же установках советских исследователей официально декларируется подход с марксистско-ленинских позиций (приводится весьма выразительная цитата из "установочной" статьи Ф.П. Филина – с. 1168, а также дается характеристика с этой точки зрения некоторых работ В.З. Панфилова, В.Д. Бондалетова, А.Д. Швейцера,

Б.М. Русановского), хотя в конкретных исследованиях, содержащих наблюдения над современным русским языком, этот подход может не отражаться – как, например, в монографиях "Русский язык и советское общество", 1968, "Русский язык по данным массового обследования", 1974, в сборнике "Социально-лингвистические исследования", 1976, под ред. Л.П. Крысина и Д.Н. Шмелева, для которого У. Лабов специально написал статью под названием "Единство социолингвистики".

9-й параграф называется "Русская социолингвистика после Перестройки". В нем проблемы, характерные для состояния социолингвистики в России конца XX века, рассматриваются в следующих рубриках: "Отражение Перестройки в социолингвистике", "Теория и метод", "До сих пор игнорировавшиеся субварианты русского языка", "Лексикографическая фиксация субстандартов и языковых инноваций", "Язык города", "Тоталитарный язык", "Язык перестройки", "Проблема многоязычия и многонациональности [Multiethnizität]", "Необходима хрестоматия русской социолингвистики".

Не имея возможности в данной рецензии подробно останавливаться на каждой из этих рубрик, укажем лишь на то, что в постперестроенное время, по мнению Х. Яхнова, происходит деидеологизация социолингвистической теории (во всяком случае, отход ее от марксистско-ленинских догм) и снятие табу с тем, при изучении которых наиболее плодотворен именно социолингвистический подход (как, например, при изучении разного рода некодифицированных, субстандартных языковых образований – просторечия, жаргонов, ненормативной лексики и т.п.). Вместе с тем, автор обзора отмечает рецидивы прошлых идеологических установок: например, авторы книги о зарубежной социолингвистике, вышедшей в 1991 г., считают возможным утверждать, что "ведущим германским социолингвистам присущ диалектико-материалистический взгляд на языковые проблемы".

Особое внимание обращает автор обзора на обилие словарей жargonной и ненормативной лексики, опубликованных в последнее десятилетие (одну из недавних своих, совместно с Н. Мечковской, статей Х. Яхнов так и назвал: "Время словарей (*Zeit der Wörterbücher*)" – кстати, эта работа не указана в списке литературы, завершающем обзор советской и русской социолингвистики, хотя ссылка в тексте на нее есть – см. с. 1175). Приводится весьма впечатляющий список словарей, вышедших не

только в московских и петербургских изда-
тельствах, но и в других городах России и
стран СНГ. Это гипертрофированное вни-
мание к разного рода некодифицированным
языковым образованиям и главным образом
к их лексике можно объяснить реакцией на
прежние запреты, касавшиеся изучения этой
лексики.

Социолингвистический по своей сути
подход отмечает Х. Яхнов в исследованиях
языка города, активизировавшихся с 80-х
годов. Внимание исследователей привлекает
не только городское просторечие, но и
другие разновидности городской речи, а
также особенности "городской" речевой
коммуникации.

Касаясь "языка Перестройки", Х. Яхнов
отмечает работы (А.Н. Баранова, А.Д.
Дуличенко, Е.А. Земской, Ю.Н. Карапова и
др.), в которых изучаются такие процессы,
как новшества в области политического
языка (заемствования и новообразования,
смена моделей, по которым образуются
расхожие метафоры, и т.п.), формирование
своебразного "новояза", характеризующего
определенные сферы общения, значитель-
ное расширение "языковой свободы", позво-
ляющей говорящему в повседневной рече-
вой практике отходить от официальных
канонов, регламентирующих использование
разнообразных, в том числе нелитератур-
ных, языковых средств, и т.п.

С заголовком последней рубрики весьма
информационного обзора Х. Яхнова – "Ein
Handbuch der russischen Soziolinguistik als
Desiderat" – можно только солидаризиро-
ваться: такая книга действительно необхо-
дима.

В обширном списке литературы, кото-
рым завершается обзор, указаны по сущес-
тву все основные работы по социолин-
гвистике.

* * *

В заключение хотелось бы поздравить
наших немецких коллег с выходом очень
ценной и полезной книги. Мы были не в
состоянии дать обзор всех ее разделов – не
только в силу того что не чувствовали себя
достаточно компетентными во всех областях
русистики, но и по более содержательной
причине: обсуждение всего многообра-
зия новых идей и интересных наблюдений,
разбросанных по отдельным главам рецен-
зируемой книги, превратило бы настоящие
заметки в нечто несообразное по объему.
Мы ограничились тем, что было нам ближе,
однако читатель может быть уверен, что

компетентное введение в интересующую его
проблематику он найдет и во многих других
частях книги. Каковы бы ни были частные
недостатки жанра этой публикации, ее
несомненные достоинства привлекут к ней
благодарного читателя.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

- Апресян Ю.Д. 1974 – Лексическая семантика.
Синонимические средства языка. М., 1974.
- Апресян Ю.Д. 1995 – Избранные труды. Т. II.
Интегральное описание языка и системная
лексикография. М., 1995.
- Глинкина Л.А. 1979 – К проблеме диахрониче-
ского изучения разговорной речи.
Доклад на конференции "Язык города",
Челябинск, 1979 (рукопись).
- Глинкина Л.А. 1986 – К проблеме соотно-
шения замещенных и незамещенных син-
таксических позиций в древнерусском
синтаксисе // Проблемы семантики пред-
ложения: выраженный и невыраженный
смысл. Красноярск, 1986.
- Дуличенко А.Д. 1994 – Русский язык конца
XX столетия. München, 1994.
- Ермакова О.П. 1984 – Лексические значения
производных слов в русском языке. М., 1984.
- Зализняк А.А. 1992 – Правило отпадения
конечных гласных в русском языке // Le
mot, les mots, les bon mots. Word, words,
witty words. Hommage à Igor Mel'čuck à
l'occasion de son soixantième anniversaire.
Montréal, 1992.
- Земская Е.А. 1966 – Понятия производности,
оформленности и членности основ //
Развитие словаобразования современного
русского языка. М., 1966.
- Земская Е.А. 1988 – Перспективы изучения
славянских разговорных языков // Сла-
вианское язызнание. X международный
съезд славистов. М., 1988.
- Земская Е.А. 1990 – Русский литературный
разговорный язык и городское просторечие:
сходства и различия // Problemi di
morphosintassi delle lingue slave, 2. Bologna,
1990.
- Земская Е.А. 1991 – Einige Bemerkungen aus
der Sicht einer Insiderin // Die Welt der Slaven.
Jg. XXXVI, Hf. 1–2. München, 1991.
- Земская Е.А. 1992 – Словообразование как
деятельность. М., 1992.
- Земская Е.А. 1997 – Активные тенденции
словообразования // Русский язык.
Najnowsze dzieje języków słowiańskich/Red.
E. Širjaev. Opole, 1997.

- Костомаров В.Г.* 1994 – Языковой вкус эпохи. М., 1994.
- Кравецкий А.Г.* 1999 – Литургический язык как предмет этнографии // Славянские этюды. Сборник к юбилею С.М. Толстой. М., 1999.
- Кронгауз М.А.* 1994 – Словообразование и лингвистика // *Russian linguistics*. 1994. 18.
- Кронгауз М.А.* 1999 – Семантические механизмы глагольной префиксации. Дис. ... докт. филол. наук. М., 1999.
- Кручинина И.Н.* 1974 – Об одном способе линейной организации сложного предложения // *Синтаксис и норма*. М., 1974.
- Кручинина И.Н.* 1976 – Элементы разговорного синтаксиса в произведениях эпистолярного жанра // *Синтаксис и стилистика*. М., 1976.
- Лаптева О.А.* 1963 – Расположение одиночного качественного прилагательного в составе атрибутивного словосочетания в русских текстах XI–XVII вв. Автореф. дис. ... канд. филол. наук. М., 1963.
- Мельчук И.А.* 1974 – Опыт теории лингвистических моделей "Смысл ↔ Текст". М., 1974.
- Мельчук И.А.* 1990 – Словообразование в лингвистических моделях типа "Смысл ↔ Текст" (предварительные замечания) // *Metody formalne w opisie języków słowiańskich* / Red. Z. Saloni. Białystok, 1990.
- Панов М.В.* 1956 – О слове как единице языка // Уч. зап. МГПИ им. Потемкина. Т. LI. М., 1956.
- Панов М.В.* 1968 – [Степень вычленимости морфемы из слова может быть различной] // *Русский язык и советское общество. Словообразование современного русского литературного языка*. М., 1968.
- Панов М.В.* 1975 – О переводах на русский язык баллады "Джаббервокки" Л. Кэрола // *Развитие современного русского языка. 1972: Словообразование. Членимость слова*. М., 1975.
- Панов М.В.* 1990 – История русского литературного произношения XVIII–XX вв. М., 1990.
- PPP-81 – *Земская Е.А., Китайгородская М.В., Ширяев Е.Н.* Русская разговорная речь. Общие вопросы. Словообразование. Синтаксис. М., 1981.
- РЯ... 1996 – *Русский язык конца XX столетия (1985–1995)* / Отв. ред. Е.А. Земская. М., 1996.
- Ярин А.Я.* 1986 – Некнижные синтаксические конструкции в бытовых документах второй половины XVIII в. Дипломная работа. МГУ, М., 1986.
- HR 1984 – *Handbuch des Russisten* / Hrsg. von H. Jachnow. Wiesbaden, 1984.
- Issatschenko A.* 1974 – Vorgeschichte und Entstehung der modernen russischen Literatursprache. – *Zeitschrift für slavische Philologie*, Bd. 37 (1974), Hf.2.
- Koester-Thoma S., Zemskaja E.A. (Hrsg.)* 1995 – *Russische Umgangssprache*. Berlin, 1995.
- Klenin E.* 1993 – The perfect tense in the Laurentian manuscript of 1377 // American contributions to the Eleventh International Congress of Slavists. Bratislava, August–September 1993. Literature. Linguistics. Poetics / Ed. by R.A. Maguire and A. Timberlake. Columbus, 1993.
- Lehfeldt W.* 1991 – Zum Stand der Erforschung der nichtstandardsprachlichen Existenzformen des Russischen // *Die Welt der Slaven*. Jg. XXXVI. Hf. 1–2. München, 1991.
- Marker G.* 1990 – Literacy and literacy texts in Muscovy: A reconsideration // *Slavic review*. 1990. 49. № 1.
- Marker G.* 1994 – Faith and secularity in eighteenth-century Russian literacy, 1700–1775 // Christianity and the Eastern Slavs. V. II. Russian culture in modern times / Ed. by R.P. Hughes and I. Paperno; Berkeley; Los Angeles; London, 1994.
- Marti R.* 1989 – *Handschrift – Text – Textgruppe – Literatur. Untersuchungen zur inneren Gliederung der frühen Literatur aus dem ostslavischen Sprachbereich in den Handschriften des 11. bis 14. Jahrhunderts*. Wiesbaden, 1989.
- Rammelmeyer M.* 1988 – Emotion und Wortbildung. Untersuchungen zur Motivationsstruktur der expressiven Wortbildung in der russischen Sprache // Harder H.-B., Rothe H. (Hrsg.). *Festschrift für Alfred Rammelmeyer*. Köln; Wien, 1988.
- Räcke J.* 1972 – Untersuchungen zur Entwicklung der russischen Nominalkomposition seit 1917. München, 1972.
- Franklin S.* 1985 – Literacy and Documentation in Early Medieval Russia // *Speculum* 1985. 40.

B.M. Живов, Е.А. Земская, Л.П. Крысин

Книга, изданная под редакцией известных типологов Р. Диксона и А.Ю. Айхенвальд (Мельбурн), входит в серию обзоров языков мира, издаваемую Кембриджским университетом. Ранее в этой серии выходили такие авторитетные и часто цитируемые издания, как "Языки Австралии" того же Р. Диксона (1980), "Папуасские языки Новой Гвинеи" У. Фоли (1986), "Языки Японии" М. Сибатани (1990), и др.

Настоящий сборник представляет собой первый компактный и в то же время достаточно детальный и полный обзор структуры языков бассейна Амазонки и Ориноко (т.е. обширной территории между Андами и Бразильским плоскогорьем). Данный ареал считается одним из самых сложных – и наименее изученных – в лингвистическом отношении участков языковой карты мира, и это несмотря на существование четырехтомного справочника [Derbyshire, Pullum 1986–1998]¹ и целого ряда других обзорных изданий последних лет (таких, например, как [Klein, Stark 1985] или [Payne 1990]), не говоря уже о более ранних описательных, обзорных и компартивных работах по отдельным языкам или группам. Такое положение объясняется отчасти тем, что языки бассейна Амазонки до сих пор являются одними из наиболее скучно документированных (многие из них распространены в труднодоступных районах и к тому же находятся на грани исчезновения), но также и заметным своеобразием структуры этих языков. В литературе неоднократно отмечалось, что именно в языках этого ареала обнаруживается наибольшее число исключений из различных лингвистических универсалий. Определенную роль играет и высокая генетическая дробность ареала: приблизительно триста засвидетель-

ствованных здесь языков принято в настоящее время относить по крайней мере к двум десяткам различных семей, и сверх того, многие языки признаются генетически изолированными. (Сравнимая по степени сложности ситуация имеет место, по-видимому, еще только в одном лингвистическом ареале мира – а именно, на Новой Гвинее.)

Книга состоит из 15 глав. Первая глава (написанная редакторами) является общим введением и содержит характеристику основных этнокультурных, типологических и историко-генетических особенностей ареала. В последующих 12 главах (с 2 по 13) дается описание крупных языковых семей или объединений менее значительных семей и языков-изолятов. Описаны следующие семьи и группы: карабская, аравакская, тупи, тупи-гуарани, макро-же, тукано, пано, маку, намбиквáра, аравá; языки-изоляты сгруппированы по географическому принципу: перуанские (которым посвящена отдельная глава), а также бразильские, боливийские, колумбийские и венесуэльские. Две последние главы посвящены проблемам выделения более мелких ареальных единиц внутри общего ареала: рассматриваются языковые контакты в бассейне рек Ибана и Ваупес (северо-западная Бразилия, штат Амазонас) и в верхнем течении реки Шингу (центральная Бразилия, штат Мату-Гросу).

Среди авторов отдельных очерков – известные специалисты, признанные эксперты по языкам данного ареала (такие, как Д. Дербишир, А. Родригес, Дж. Барнз, И. Лове и др., а также сами редакторы, которыми – порознь или в соавторстве – написаны четыре главы книги, не считая введения).

В теоретическом и методологическом плане наиболее существенна первая (вводная) глава книги, обсуждению которой мы и отведем основное место.

Авторы введения указывают на ряд особенностей, затрудняющих генетическое исследование амазонских языков. К ним в первую очередь относится ярко выраженное дисперсное распределение языков: ни одна семья не образует сплошного географического ареала, занимая от трех до десяти не смежных друг с другом участков. С другой стороны, широко распространено многоязычие и интенсивные языковые контакты между соседними племенами. Все это делает проведение границы между генетическими и ареальными сходствами в структуре языков нетривиальной задачей.

¹ См. также отклик на первый том этого издания [Иванов 1988] – практически единственную публикацию на русском языке, специально посвященную лингвистическим проблемам амазонского ареала. Справочник не претендовал на полноту: вышедшие к настоящему времени тома включают десять грамматических очерков отдельных языков и ряд статей обобщающего характера. В рецензируемом издании описания в [Derbyshire, Pullum 1986–1998] критикуются прежде всего за нетрадиционную схему подачи материала, затрудняющую работу с ними.

История данного ареала также указывает на весьма непростые отношения между языками. По данным археологов, территория бассейна Амазонки была заселена примерно 12 тыс. лет назад племенами охотников и собирателей; переход к оседлому земледелию произошел около 5 тыс. лет назад. В настоящее время племена, говорящие на аравакских, карibских и тупи языках, сосредоточены в районе тропических лесов. Они занимаются земледелием и изготавливают лодки и глиняную посуду. Племена, говорящие на языках семи под названием же, населяют главным образом саванны, почти не знают земледелия и гончарного дела, но обладают наиболее сложной социальной организацией. Наконец, разрозненные племена охотников и собирателей, обитающих в самых глухих уголках тропических лесов, говорят на языках небольших семей (таких, как маку, мура-пирахан, гуахибо); возможно, они являются остатками некогда более многочисленного населения, исчезнувшего под написком земледельческих культур. Отношения между различными племенами способствовали интенсивному культурному обмену и языковой конвергенции; эта тенденция усилилась после начала европейского завоевания (с XVI века), когда многие племена были вынуждены сменить места традиционного обитания, а разрозненные мелкие группы индейцев часто объединялись, принимая в качестве общего языка язык какой-то одной группы (подвергшийся сильному влиянию других языков). При этом численность индейского населения (и индейских языков) стремительно сокращалась: если, по разным оценкам, к началу XVI века в бассейне Амазонки жило от 2 до 5 млн. индейцев, то в настоящее время их насчитывается не более 400 тыс. В Бразилии из 170 индейских языков 115 имеют менее тысячи носителей, и только 4 языка имеют несколько более 10 тыс. носителей; аналогичная ситуация и в других государствах региона. В ближайшей перспективе (с приходом европейской цивилизации в прежде почти недоступные районы) исчезновение индейских языков должно пойти еще более быстрыми темпами.

Такая культурно-историческая ситуация привела к распространению целого ряда языковых явлений на большие расстояния и создала то, что можно назвать "языковым союзом". Указываются, в частности, следующие черты, характерные, по мнению авторов, для всех или подавляющего большинства языков амазонского ареала (с. 8-9):

- полисинтетизм и вершинное маркирование, а также заметное преобладание агглютинации над фузией;
- наличие только одной плавной фонемы (как правило, флэпа); количественное преобладание аффрикат над фрикативными; наличие центральной гласной верхнего подъема и назализованных гласных фонем;
- развитые системы классификаторов и/или родовых показателей (распределение по родам, как правило, семантически мотивировано, но родовая принадлежность маркируется только у согласуемых слов);
- сравнительно бедные падежные системы (из косвенных падежей чаще всего представлены локатив и комитатив/инструменталь);
- различие отчуждаемой и неотчуждаемой принадлежности; показатель принадлежности присоединяется к обладаемому, которое в предложении следует за обладателем;
- глагол включает показатели по крайней мере одного аргумента (в разных случаях разного); правила выбора такого аргумента могут быть достаточно сложными, обычно активного или не строго эргативного или смешанного типа (так называемая "расщепленная эргативность"); чисто аккузативные системы редки;
- такие глагольные категории, как время, вид и наклонение, грамматикализованы слабо, и их выражение часто не является обязательным;
- распространена префиксация (хотя суффиксация обычно более развита); исключением являются языки тукано, которые вовсе не имеют префиксов;
- распространена инкорпорация (главным образом, имен, способных принимать показатель неотчуждаемой принадлежности); инкорпорированное имя предшествует глагольному корню; возможна также инкорпорация наречий и других глагольных модификаторов (следующих за глагольным корнем);
- класс непроизводных числительных, как правило, очень невелик.

Разумеется, в некоторых языках наблюдаются отклонения от описанных тенденций. Так, авторы отмечают, что языки тупи-гуарани допускают инкорпорацию любых имен (хотя область действия инкорпорации и в этих языках сужается); в языке надеб (семья маку) инкорпорированные наречия предшествуют глагольному корню, а в языке паликур (аравакская семья)

инкорпорированные названия частей тела следуют за глагольным корнем. Существенно, однако, что ареальные характеристики других языков Южной Америки (например, языков горных районов Анд семей аймара и кечуа) отчетливо отличаются от приведенных выше практически по всем пунктам. Так, в "горных" языках имеются две или три плавных фонемы, число фрикативных больше числа аффрикат, отсутствует назализация гласных и гласные среднего подъема, отсутствуют классификаторы и показатели рода, системы падежей достаточно богаты, маркирование глагольных аргументов происходит по аккузативному типу; видовременные глагольные категории обязательны; полностью отсутствуют префикссы; не представлена инкорпорация; класс числительных хорошо развит. Впрочем, ряд "горных" черт прослеживается и в языках тукано, которые занимают географически пограничное положение между двумя ареалами.

Внутри амазонского ареала выделяется несколько более дробных географических ареалов, языки которых обладают особыми эндемичными признаками. Так, в языках Мату-Гросу с одной стороны и пограничного бразильско-перуанского региона с другой стороны, имеются фонологические тоны; ряд языков имеют особенности в маркировании глагольных аргументов, посессивности и рода (эти черты подробнее рассматриваются в двух заключительных главах книги).

Авторы введения занимают весьма скептическую позицию по поводу возможности установления внешних связей между перечисленными выше генетическими объединениями амазонских языков. Ряд таких попыток носит явно донаучный характер, но и более серьезные гипотезы (такие, как "макро-аравакская" гипотеза Мэттесона или "андо-экваториальная" и "америндская" гипотезы Гринберга), с точки зрения авторов, не выдерживают серьезной критики. Не отрицая в принципе традиционного сравнительно-исторического метода, авторы отмечают, что он исходит только из одной модели развития языков — модели родословного древа, универсальность которой не является очевидной. В недавней книге [Dixon 1997] была предложена другая модель развития языков — так называемая модель "прерывистого равновесия" ("punctuated equilibrium"), согласно которой в развитии языков преобладают длительные "стабильные" периоды конвергенции, когда различные (и в том числе генетически разнородные) языки некоторого ареала приобретают

тают все большее число общих черт, плавно изменяясь в едином направлении и формируя общий языковой тип. Периоды конвергенции могут сменяться сравнительно короткими периодами "взрыва", или нарушения равновесия, когда, напротив, происходит дивергенция и языки начинают распадаться; как правило, это имеет место под влиянием внешних факторов. Результатом длительной языковой конвергенции Диксон считает, в частности, языки Австралии; многие особенности языков бассейна Амазонки могут объясняться таким же образом. Принятие модели "прерывистого равновесия" означает существенно более осторожное отношение к традиционным сравнительно-историческим процедурам, поскольку они позволяют реконструировать исходное состояние перед началом дивергенции, но не исходное состояние перед началом конвергенции. Длительная ареальная диффузия общих черт (из одного или многих источников) не дает возможности восстановить облик языков до начала интенсивных контактов. Отсюда следует отрицательное отношение Диксона к различным теориям "дальнего языкового родства" (от америндской до ностратической) и тому, что он, вслед за Дж. Мэтисоном, полемически называет "мегалокомпаративизмом" (впрочем, эта проблема выходит за рамки настоящей рецензии; более подробное обсуждение взглядов Диксона по этому вопросу и полемику см. также в рецензии на его книгу [Haspelmath 1998] и в статье [Старостин 1999])².

Во введении отмечается также, что гораздо более трудной задачей генетической классификации является установление не самого факта языкового родства, а внутренней структуры языковой семьи, т.е. ее генетического древа. Для этого необходимо располагать сведениями об общих

² Термин "период равновесия", конечно, не следует понимать так, что в этот период в языке вообще не происходит никаких изменений. По Диксону, изменения происходят постоянно (ср.: "There would always be gradual change", с. 17), однако в периоды равновесия они имеют в целом другую направленность, чем в периоды взрывов, приводя к постепенной конвергенции контактирующих языков. Аппарат же традиционной компаративистики приспособлен только к моделированию дивергентных, но не конвергентных изменений. (Впрочем, следует добавить, что подобная критика в адрес теории "родословного древа" звучит по крайней мере с начала XX в.)

инновациях, и здесь опять со всей острой встает проблема разграничения генетических и ареальных изменений. Именно эта задача является для языков амазонского ареала наиболее далекой от решения.

В последующих главах дается описание отдельных языковых семей, представленных только (или преимущественно) в бассейне Амазонки и Ориноко; эти семьи были перечислены выше. Приводятся краткие сведения о внутренней генетической классификации, а также основные фонологические, морфологические и синтаксические характеристики языков (насколько это позволяет современное состояние научных знаний); средний объем главы сравнительно невелик — около 20 страниц. Изложение, как правило, иллюстрируется картами.

Данное издание будет наиболее полезно типологам, желающим составить хотя бы первоначальное представление об особенностях языков данного ареала; книга интересна также особой позицией авторов по вопросу языкового родства и существенным акцентом на ареальном сходстве языков и проблематике "языковых союзов". Вместе с тем, данный обзор скорее подтверждает репутацию бассейна Амазонки как одного из наименее изученных и наиболее загадочных языковых ареалов, нуждающегося

в самом пристальном внимании как можно большего числа квалифицированных лингвистов.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

- Иванов Вяч. Вс.* 1988 — Современные проблемы типологии (к новым работам по американским индейским языкам бассейна Амазонки) // ВЯ. 1988. № 1.
- Старостин С.А.* 1999 — О доказательстве языкового родства // Типология и теория языка: от описания к объяснению. К 60-летию А.Е. Кибрика. М., 1999.
- Derbyshire D.C., Pullum G.K. (Eds.)* 1986–1998 — Handbook of Amazonian languages. V. I–IV. Berlin, 1986–1998.
- Dixon R.M.W.* 1997 — The rise and fall of languages. Cambridge, 1997.
- Haspelmath M.* 1998 — Linguistics. 36. № 5. 1998: Rec.: R.M.W. Dixon. The rise and fall of languages.
- Klein H.E.M., Stark L.R. (Eds.)* 1985 — South American Indian languages: retrospect and prospect. Austin, 1985.
- Payne D.L. (Ed.)* 1990 — Amazonian linguistics: studies in Lowland South American languages. Austin, 1990.

В.А. Плунгян

В.Г. Гак. Языковые преобразования. М.: Школа "Языки русской культуры", 1998. 768 с.

Рецензируемая книга написана одним из самых известных представителей российской функциональной лингвистики, автором огромного количества работ по теории языка.

Главной задачей данного исследования, как указывается в предисловии, является создание общей типологии языковых преобразований, то есть типологии переходов от одного способа обозначения к другому (с. 9). Книга подводит итог многолетним изысканиям автора в данной области.

Основной текст состоит из четырех частей. Первая часть "Некоторые аспекты лингвистической науки в конце XX века" содержит в себе пять глав. Рассматривая вопрос о плюрализме в лингвистических теориях в первой главе, автор видит наиболее существенное отличие новых тенденций "не в системе конкретных понятий и подходов, используемых в той или иной теории, но в общих положениях, касающихся теории познания" (с. 13). Выделяются две группы

факторов, обуславливающих плюрализм научной интерпретации (с. 16):

— объективные, или внутренние по отношению к объекту: недискретность и многоаспектность многих языковых явлений, а также асимметрия многих языковых знаков;

— субъективные, касающиеся субъекта исследования и связанные с особенностями человеческого мышления: нежесткий характер понятий, которыми оперируют люди, и "пластичность человеческого мышления и восприятия, тесно связанного с pragmatizmом, с интересами и потребностями человека в момент речи" (с. 27).

Поскольку же "число разнообразных теоретических интерпретаций, касающихся определенного языкового явления, не бесконечно" и определяется самой спецификой данного явления, "иногда решения дублируют друг друга, хотя авторы и прибегают к различным терминологическим обозначениям" (с. 25). Однако "анархия" устраивается "благодаря исчислимости вариантов науч-

ных решений" (с. 31). Важнейшую роль играет и "нежесткость, пластичность мышления человека в момент речетворчества, его языкового мышления" (с. 32), которая проявлена, среди прочего, в образовании и обозначении в языке логических классов, а также в интерпретации предложений с "несимметричной анафорой". Например, в микротексте *Он взял Машину книгу. Она была недовольна* местоимение *она* относится к имени *Маша*, а не *книга*. Рассмотрев именования понятий "истина" и "судьба" в народных пословицах и афоризмах, автор приходит к выводу, что "различия в номинациях, изменение отношений номинации объясняются изменением взгляда именующего субъекта на именуемый объект" (с. 43).

Во второй главе демонстрируется то положение, что "подлинная точность в лингвистических исследованиях заключается не только в определении частотности явления, но в выявлении и учете **всех** форм существования данного явления, **всех** существующих способов выражения какого-либо значения в изучаемом языке" (с. 62). Именно для этого и используются логические исчисления в лингвистике: "выявив логически все теоретически возможные формы, исследователь стремится найти их в реальной изучаемой им области явлений" (с. 63). Этот прием применяется как для объяснения форм внутри одного языка, так и в сопоставлении языков (с. 99). Причем "исчислять можно не только факты языка, но и теоретические объяснения этих фактов" (с. 101). Поэтому неизбежен в лингвистике ограниченный плюрализм, поддающийся исчислению (с. 102).

В третьей главе показывается, как идея симметрии / асимметрии используется в языкоznании. Исторически в этой области можно выделить три типа симметрии (с. 109):

- статическая симметрия отдельного объекта;
- гомологическая симметрия – отношение двух объектов;
- динамическая симметрия при развитии объектов.

Используется это противопоставление в семантическом описании, в исследовании предикаций, фразеологии, даже в социолингвистике и лингвострановедении. Использование вида в некоторых конструкциях русского языка трактуется далее как один из компенсаторных механизмов.

Другая общефилософская аналогия – между языком, орудием и товаром – рас-

сматривается, в функциональном ключе, в четвертой главе. Наконец, в пятой главе демонстрируются принципы функционального подхода к истории языка. При анализе многозначных грамматических форм возможны три точки зрения (с. 190):

– плюралистическая: в каждом из своих отдельных значений языковая форма образует особую единицу (грамматическая омонимия);

– унитарная, или глобалистская: все значения и употребления данной формы сводятся к единому общему значению (моносемия);

– функциональная: есть разные значения, несводимые к одному общему значению, причем одни значения могут вытекать из других (полисемия).

Вторая часть "От ситуации к высказыванию (отобразительная функция языка)" состоит из девяти коротких глав. В функционалистском ключе характеризуются: задачи ономасиологии (первая глава), противопоставление полных знаков частичным (вторая глава), соотношение языка и действительности (третья глава), семантические отношения в языке с диалектической точки зрения (четвертая глава). Высказывание, в отличие от предложения, соотносится с тем аспектом, в котором осмысленно говорить о связи с ситуацией (глава пятая).

На основании ситуативных свойств устанавливаются глубинные семантические структуры, "изоморфно отображающие действительность" (с. 271); поэтому и можно принять, что чисто синтаксические свойства предложения могут быть и асемантическими, и полностью семантическими (см. главу шестую). Отражение элемента ситуации в плане содержания образует семантему (ей в плане выражения соответствует лексема), а отражение аспекта – семантическую категорию (ей соответствует сема, презентируемая морфемой, с. 274). Автор показывает в седьмой главе, что "изучение синтагматики на семантическом уровне сводится к выявлению итеративных сем (синтагмем) и определению их функций в организации высказывания" (с. 297). Чтобы быть полной, модель языкового синтеза на уровне речи должна включать:

– перечень всех способов выражения определенного значения (структурная модель);

– установление соотношения между этими синонимичными средствами выражения (семантическая модель);

– установление закономерности выбора конкретных языковых средств из числа

допустимых системой и нормой языка в условиях данного контекста и ситуации (ситуационная модель) (с. 299–300, глава восьмая).

В девятой главе оспаривается тезис о том, что "грамматические средства отличаются от лексических отсутствием номинативной функции" (с. 316). Ведь к номинативным средствам можно отнести и синтаксические средства, "если они выступают в своей значимой функции. Семантический линейный аспект имеет даже порядок слов" (там же). Зависимость употребления языковых форм от обозначаемой действительности автор усматривает в косвенной номинации, когда сочетаются "слова, обозначающие объекты, реально несовместимые", например: *время ползет, стоит тишина*.

Часть третья "Виды языковых преобразований" включает в себя шесть глав. На языковую вариативность здесь предлагается взглянуть как на частное проявление варьирования вообще, процесса, обладающего причиной, формой движения и результатом (первая глава). Проводится следующее разграничение языковых преобразований предложений, взятого вне ситуации (вторая глава): трансформация – "изменение грамматической модели при сохранении лексемного состава и смысла (значения), períфраза – изменение модели и лексического наполнения при неизменности содержательной стороны высказывания" и деривация – "изменение во всех аспектах предложения, включая его смысловое содержание" (с. 374). В третьей главе показывается, что четыре типа лексико-семантических транспозиций (конкретизация, анатомический перевод, смысловое развитие и компенсация), выделяемые в теории перевода, соответствуют четырем основным типам логических отношений между понятиями.

Глубинными структурами в главе четвертой предлагается называть те, в которых синтаксическая структура аналогична структуре ситуации, а поверхностные создаются путем трансформации глубинных, когда параллелизм синтаксических и семантических актантов нарушается. Причем номинации (например, номинации действия) образуют расплывчатое множество (с. 452). Специфика структуры языка, а особенно лексико-семантической структуры, как показывается в пятой главе, определяется особенностями в использовании языковых универсалий (что особенно хорошо видно из реализации антропоморфизма в разных языках) и наличием "неуниверсальных" явлений (с. 454). Здесь

же дается общая типология метафорических номинаций (с. 460) и показывается, что различные типы метафор в разной степени представительны в языках мира. Так, в русском языке частичные метафоры представлены больше, чем полные, ср. французское *manger* и русское *есть* и *разъедать*, *тепотte* – *ручка* и *наручник* и т.п. (с. 488). Интересна идея составления «общей "карты" метафорических связей между отдельными словами-понятиями» (с. 496). Особый случай представляют собой количественные преобразования (шестая глава), когда при переводе с одного языка на другой, в соответствии с грамматическим строем целевого языка, опускается или добавляется какой-либо элемент, решаются определенные конструктивные и/или коммуникативные задачи или избегается ненужный семантический сдвиг.

Как указывается в кратком предисловии к четвертой части "Факторы и сферы реализации языковых преобразований", языковым преобразованиям (в истории языка, в переводе и в сопоставлении языков) особенно способствуют: повторная номинация (вторичное наименование предмета), главным образом в стилистических целях, и эмоциональные и прагматические факторы. Повторная номинация, как показывается в первой главе этой части, может рассматриваться с парадигматической (отношение наименования к объекту), синтагматической (различаются дистантные и сопряженные повторные номинации) и функциональной точек зрения (различие нейтральной и экспрессивной повторной номинации). Прагматический подход, "понижая" уровень лингвистического анализа, делает его "более содержательным и углубленным" (вторая глава, с. 559), демонстрируя в высказываниях полифонию (с. 560).

В третьей главе варьирование номинации рассматривается в переводах с древнерусского на русский, со старофранцузского на современный французский и с французского на русский и наоборот. Показывается, что основные формы варьирования во всех этих случаях аналогичны друг другу (с. 587), а поэтому вряд ли оправданно говорить о прогрессе и совершенствовании строя языка в лексической области (с. 606). Варьирование же лежит в основе построения "эмотивных блоков" в рамках высказывания (являющихся, как показывается в четвертой главе, средством членения текстов и усиления психологического воздействия на адресата): сходные элементы сосредоточиваются в начале, в конце или в середине такого блока.

Рассматривая преобразования в лексико-семантических полях (пятая глава), автор дает интересную систематизацию слов поля ментальности, пространственности, времени и речи. Особое семантическое пространство образуют лексемы, соотносимые по этимону, например, все производные в русском языке от *конь/лошадь*, от латинского *caballus* и от греческого *hyppros*. Этот анализ, в аспекте семантических преобразований, проводится для групп *земля, рука, голова* (шестая глава), что дает автору возможность утверждать "общность закономерностей человеческого мышления, несмотря на различие языков" (с. 719).

Продолжая эту идею, автор показывает в седьмой главе, как одна и та же реалия может получать номинации различной внешней и внутренней формы в различных языках. Материалом послужили именования поля *сноха* и семантические сдвиги, связанные с ними в европейских языках, а также сопоставление библейских фразеологизмов в русском и французском узусах. Показывается, что в русском больше цитат-

ных фразеологизмов, они менее вариативны и дают меньше производных, но употребительны во всех стилях речи (с. 743). Наконец, "в большинстве случаев индивидуальное творчество авторов сводится к специфическому индивидуальному использованию общих типов языкового варьирования" (с. 745), что показывается на примере произведений Б. Пильняка и при сопоставлении басен Ляфонтена с текстами И.А. Крылова в восьмой главе.

Читатель постоянно испытывает радость от обилия новых фактов (особенно из французского и русского языков), которыми книга просто переполнена. Факты тщательно выверены и любовно отобраны. Наблюдения автора нетривиальны, достоверны и зачастую неожиданны, сенсационны в хорошем смысле слова.

Можно пожелать В.Г. Гаку дальнейших научных публикаций, а себе – приятных встреч с новыми замечательными произведениями этого талантливого исследователя.

В.З. Демьянков

Испанско-русский словарь. Латинская Америка / Под ред. Н.М. Фирсовской. М.: Наука, 1998. 606 с.

Настоящий Словарь является первым в мировой лексикографии опытом испанско-русского словаря латиноамериканизмов. Его создание было стимулировано расширением и углублением культурно-политических контактов и экономических связей с государствами Латинской Америки, а также появлением в лингвистике нового направления – "Межкультурной коммуникации".

На фоне возросшего интереса к Латинской Америке, а также благодаря интересу к социолингвистике, в российской романistique прочно утвердилась точка зрения, согласно которой "американские формы национальной речи как объекты исследования должны сополагаться на равных правах с пиренейской национальной речью" [Степанов 1979: 128]. Отсюда основная цель составителей – восполнить такой существенный пробел в лексикографии, как отсутствие специального испанско-русского словаря латиноамериканизмов.

Словарь объемом 52 п.л. содержит 50 тысяч слов и словосочетаний, охватывающих основной лексический состав современного испанского (функционирующего в латиноамериканских национальных вариантах) литературного языка, разговорно-оби-

ходную и просторечную лексику, наиболее распространенные термины.

Необходимо подчеркнуть сложность и трудоемкость той работы, которая предшествовала описанию лексического и фразеологического материала и его организации. При отборе данных использовались практически все имеющиеся к моменту написания Словаря специальные "панамериканские" словари латиноамериканизмов. (Например, *Americanismos. Diccionario ilustrado. Sopena. Barcelona, 1983; Neves Alfredo N. Diccionario de americanismos. Sopena, 1973; Santamaría F.J. Diccionario general de americanismos. México, 1942; Malaret A. Diccionario de americanismos. Buenos Aires, 1946*). Анализировались также "национальные" словари кубанизмов, колумбанизмов, боливианизмов, аргентинизмов и т.д., изданные в различных государствах Латинской Америки (См., например, *Henríquez Ureña P. Diccionario de voces indígenas de Puerto Rico. Madrid, 1977; Lara L.F. Diccionario básico del español de México, 1986; Subercaseaux M. Diccionario de chilenismos. Santiago de Chile, 1986; Tejera M.J. Diccionario de venezolanismos. T. 1, 2. Caracas, 1983–1985*.)

Поскольку информация о латиноамериканизмах, представленная в имеющихся

словарях, далеко не полно отражает картину употребления лексических и фразеологических единиц в реальной речевой практике, а сведения об их распространении не всегда точны, для определения адекватности отобранных латиноамериканизмов авторами Словаря дополнительно привлекалась современная латиноамериканская литература, а также специальные записи устной речи носителей языка (изданные в виде книг в ряде испаноязычных стран), газетно-публицистические материалы и др.

Авторский коллектив Словаря (16 человек) состоит из испанистов Российского Университета дружбы народов (главным образом) и специалистов по испанскому языку из других московских научных центров. Работа проводилась под руководством и при участии акад. МАН ВШ, д.ф.н., проф. Н.М. Фирсовской. В редакционную коллегию также входят к.ф.н., доц. А.В. Синявский (зам. главного редактора), к.ф.н., доц. А.П. Денисова (ответственный секретарь), к.ф.н. доц. А.И. Ермаков (автор компьютерной системы данного Словаря).

Нельзя не отметить методику написания Словаря, разработанную проф. Н.М. Фирсовской. В частности, были сопоставлены данные всех используемых словарей. Очень важно, что составители "Испанско-русского словаря" использовали в своей работе (также в соответствии с предложененной ими методикой) опрос носителей языка. Информантами стали студенты, аспиранты, стажеры Российского университета дружбы народов из разных стран Латинской Америки.

Особо следует подчеркнуть, что для данного Словаря была продумана система стилистических помет, в которой учтены как экспрессивный, так и функциональный планы в стилистическом маркировании лексики. Так, в Словаре впервые введена стилистическая помета "нн". – "ниже (литературной) нормы". Эта помета обобщает принадлежность лексических единиц к разговорным и просторечным словам. Как известно, граница между обиходно-разговорной речью и просторечием настолько тонка и трудноощутима для людей, не являющихся носителями языка, что использование вышеуказанной пометы представляется вполне оправданным. Если же слово квалифицируется как грубое, бранное, жаргонное или вульгарное, помета "нн." не ставится, так как все перечисленные характеристики подразумевают явное несоответствие литературной норме.

Заслуживает внимания принцип использования географических помет. В случае

употребления слова в различных странах вначале указываются его значения узуальные в большем количестве стран, затем – в меньшем. Если слово используется более, чем в пяти странах различных регионов Латинской Америки, оно имеет помету Ам. (американизм). Если функционирование слова зафиксировано менее, чем в пяти странах, каждая из этих стран указана отдельно в алфавитном порядке, например:

cuatro m I) Вен., Дом. Р., Кол., П. – Р. четырехстральная гитáра.

Положительной оценки заслуживает ряд особенностей построения словарной статьи.

Так, поиск оптимальной структуры статьи коснулся, например, принципа подачи лексических омонимов, которые представлены в разделах статьях:

guata I fАм. nn. вы́думки, вранье
guata II fВен. nn. рóзыгрыш, обман
guata III fВен., Кол. йнга, (дерево и плод)
guata IV fКол. бедá, бéдствие
guata V fКол. nn. большáя ладóнь (или ступней); лáпа, лáпища

Большое внимание авторы уделяют отражению фразеологических единиц самой различной природы. На страницах Словаря присутствуют не только идиомы (самреáselas Гват. смотреть юочки, смыться, смотреться), но и мотивированные лексико-аналитические конструкции, лишенные образности и представляющие собой языковые штампы, стоящие на границе свободных и несвободных словосочетаний (campo abierto Ю. Ам. открытая пустынная местность; чистое поле).

В особо сложных случаях, когда испанские и русские фразеологизмы обнаруживают расхождения в лице, числе, типе глагольной конструкции, авторы Словаря приводят пример употребления испанского фразеологизма в минимальном контексте и сопровождают переводом именно этот пример, а не исходную форму, что помогает пользователю создать верное представление о функционировании данного фразеологизма в речи.

Большим подспорьем в работе над Словарем были научные труды по данной теме составителей и их личные наблюдения и записи, сделанные во время поездок в страны Латинской Америки.

Поставленные составителями задачи (выяснить реальное употребление американских, регистрируемых словарями; уточнить семантику анализируемых американских и их функционально-стилистические характеристики; уточнить географию их распространения; расширить выбранный из

словарей корпус латиноамериканизмов, а также перевод лексических и фразеологических единиц на русский язык) в целом можно считать выполненными.

В то же время рецензируемый Словарь не лишен некоторых недостатков. Так, например, нельзя не заметить, что современная газетно-публицистическая лексика и фразеология могли бы быть расширены.

Имеются погрешности чисто технического характера. Например, пропущена фамилия составителя буквы Р, а также не указана фамилия автора раздела "О пользовании Словарем", имеются опечатки, например, стр. 1, 468, на обложке (вторая сторона разворота).

Сделанные замечания носят частный характер и не влияют на общую высокую оценку рецензируемого Словаря.

В итоге, кропотливая, поистине подвижническая работа коллектива испанистов, касающаяся всех сторон Словаря (составление корпуса лексики, толкование слов, перевод отобранных единиц на русский язык и др.) позволила создать двуязычный словарь, обладающий многими лексикографи-

ческими достоинствами, цennыми не только для двуязычных словарей.

Необходимость, важность и своевременность издания данного Словаря уже отмечены рядом откликов на данную работу. Так, Словарь стал одним из лауреатов ежемесячного конкурса "Книги – события", проводимого журналом "Витрина читающей России" – органом Государственного Комитета по печати Российской Федерации. Кроме того, Словарь стал одним из победителей конкурса "Пушкинская библиотека", который был организован Институтом "Открытое общество" (Фонд Сороса). В связи с тем, что рецензируемый Словарь, не успев выйти из печати, стал уже библиографической редкостью, было бы желательно его переиздать.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

Степанов Г.В. 1979 – К проблеме языкового варьирования. М., 1979.

Ю.Н. Каулов

НАУЧНАЯ ЖИЗНЬ

ХРОНИКАЛЬНЫЕ ЗАМЕТКИ

Международная конференция SPECOM 99 (Speech and Computer) состоялась в Москве 4–7 октября 1999 года. Материалы конференции опубликованы на английском языке.

Конференция была организована Московским Государственным лингвистическим университетом (МГЛУ) в сотрудничестве с Санкт-Петербургским Институтом информатики и автоматизации Российской Академии наук. Генеральный спонсор – INTAS (International Association for cooperation with scientists from the New Independent States). Председатель научного комитета конференции – И.И. Халеева. Председатель оргкомитета – Р.К. Потапова.

Работа конференции была организована по секциям. Наиболее важные и обзорные доклады были вынесены на пленарные заседания и составили цикл обзорных лекций. Секция А – "Разработка моделей устного диалога. Интеграция различных знаний в процесс понимания речи". Секция В – "Мультилингвальные и мультимодульные системы". Секция С – "Распознавание речи в диалоговых системах". Секция Д – "Концептуальные подходы к диалоговым обучающим системам; единицы речи". Секция Е – "Прикладные системы и новые технологии; методы передачи речи". Секция F – "Синтез речи на основе текста". Секция G – "Базы данных для речевых сигналов". Секция H – "Фонетические аспекты диалога с компьютером". Секция I – "Системы идентификации и верификации говорящего".

В обзорном докладе В. Галунова и В. Тубкина (С.-Петербург) "Речевые технологии и наука о речи" современные речевые технологии делятся на три части. Первая – наука о речи, все знания, которые мы имеем о речевых сигналах, порождении и понимании речи. Сюда включают также модели устной речи, методы обработки

речевых сигналов. Вторая часть – речевые технологии сами по себе, т.е. отдельные устройства и методы распознавания речи. Наконец, третья часть – действующие системы распознавания речи. Можно составить такую схему отношений: наука о речи – речевые технологии – прикладные системы практического применения. Последние, в свою очередь, могут быть разделены на три класса: 1) военные системы и системы специального применения. Их стоимость не имеет значения, и они весьма ограничены в применениях; 2) коммерческие системы. Для них важна стоимость и эффективность; 3) демонстрационные системы. Предназначены показать уровень работ данной фирмы. Доклад Дж. Коккинакиса (Греция, Патрас) "Системы речевого диалога для автоматизации справочного обслуживания" посвящен способам автоматизации различных справочных систем, таких, как железнодорожные справочные службы, телефонные справочники и пр. с целью восприятия устной речи пользователей в автоматическом режиме. В докладе Ю. Косарева (С.-Петербург, РАН) "Использование некоторых резервов языка и экстралингвистических данных для повышения эффективности диалоговых систем" говорится, что по мере того, как повышается результативность систем, растет потребность использовать разнообразные сведения, составляющие характеристику человеческого мышления и понимания. Описываются некоторые системы, созданные в Петербургском институте информатики и автоматизации, – роботы, выполняющие действия по устным командам, распознавающие речь устройства и т.п.

Доклад Ю.Н. Марчука (Москва) "Начальный этап машинного перевода в СССР: ретроспективный взгляд" посвящен оценке результатов работ в СССР в пятидесятые годы. Подчеркивается роль Ю.А. Моторина, Д.Ю. Панова и И.К. Бельской в формулировке преобладающего сей-

час в машинном переводе подхода к моделированию перевода на уровне переводных соответствий. В коллективном докладе Н.Ф. Попова, А.Н. Линькова, А.В. Фесенко, Н.Б. Кураченковой, Н.В. Байчарова, И.П. Карлина, И.Н. Тимофеева, Р.К. Потаповой (Москва) "Интерактивная экспертная система для судебной идентификации, используемая в России" описывается система ДИАЛЕКТ, широко используемая в правоохранительных органах России. Высокая эффективность ее обеспечивается применением как акустического анализа, так и участием экспертов. Лингвистический анализ производится опытными специалистами с использованием 200 лингвистических характеристик. Доклад Р.К. Потаповой "Основанная на знаниях система речевого ввода для русского языка" содержит описание системы, состоящей из двух компонент: 1) сегментации фонем, основанной на чтении спектрограммы экспертом и 2) идентификации фонем, с использованием нейронных сетей, применяемых к фонемным границам, определяемых при сегментации фонем. Весьма точная сегментация фонем осуществляется с использованием контекстуального чтения спектрограмм.

Статистический подход к проблеме подробно освещен в докладе Г. Риголла и С. Мюллера (Германия) "Методика статистического распознавания образов для мультимодульного человека-машинного взаимодействия и мультимедийной обработки информации". Наиболее мощным статистическим механизмом распознавания образов продолжают оставаться скрытые цепи Маркова. Причины: они идеально подходят для установления типов практически любых произвольных объектов, располагают мощным аппаратом самообучения, эффективны при декодировании и осуществляют распознавание и сегментацию образов за один шаг. В докладе показывается эффективность цепей Маркова в решении всех этих задач.

Секция А "Разработка моделей речевого диалога; интеграция различных знаний в процесс понимания речи" начинается с доклада "Статистическая концептуальная модель для понимания устной речи" (К. Бускет-Вернетт, Н. Вигору и Г. Перенну – Франция, Университет Поль Сабатье, Тулуза). Описывается система САСАО (comprehension automatique par segment conceptual assisté par ordinateur – распознавание по концептуальным сегментам с помощью компьютера), предназначенн

ая для автоматизированного распознавания массовых устных запросов к справочным системам. Стохастические парсеры считаются наиболее эффективными, поскольку они могут распознавать много разных семантических структур. Для концептов, начинающихся с многозначных слов, таких, например, как *pour... (pour... euh. je vais a Paris "мне... ээ.. надо в Париж")* используется контекст. В докладе "Сочетание статистики с семантическими сетями в диалоговой системе в реальном времени" (Ж. Фишер, Э. Нэт, Х. Ниман – Эрлангер, Германия) описывается новый подход к пониманию речи, который основан на точном представлении знаний, автоматически получаемых из семантической сети, в сочетании со стратегией итеративного контроля. Другие доклады секции: "Системы устного диалога: мера сложности вопросов к системе" (К.-А. Лавель, Г. Переинну – Тулуза, Франция); "Ускорение лексического доступа вследствие знания слов и ударения в японском языке" (Н. Минематцу, С. Накагава – Тойобаши, Япония).

Секция В "Многоязычные и мульти-модульные системы" содержит один доклад: "Основанное на устной речи мультимодульное взаимодействие человека и компьютера" (Л.Ж.М. Роткранц, М. Айдре, Б. Слэттерлинк – Дельфт, Нидерланды). Описывается проект, осуществляющийся в Технологическом университете г. Дельфта, целью которого является определить и оценить технологию воплощения синергетических комбинаций модулей человека-компьютерного взаимодействия в измерениях видимого изображения, звука и ощущения. Современные человеко-компьютерные системы в основном работают от клавиатуры и мыши, и это не очень приятный для человека ввод. Мульти-модульные системы предусматривают гораздо более удобный ввод – звук, свет, прикосновение и пр.

Секция С "Распознавание речи для диалоговых систем" включает семь докладов. Два первых подробных доклада французских ученых из Нанси, Франция, "Повышение эффективности многодиапазонного распознавания речи" (Ж.-П. Атон, Ц. Церизара, Д. Фор) и "Объединение методик анализа речи и лексикализованных грамматик деревьев с взвешенными синхронными автоматами" (Ж.-Л. Усон и П. Лопес) посвящены соответственно двум новым алгоритмам для распознавания речи, первый из которых повышает устой-

чивость системы против стационарных шумов, а второй осуществляет обучение системы с целью достижения оптимума распознавания, и описанию архитектуры, пред назначенной для эффективного и надежного объединения различных уровней распознавания речи. Статические знания моделируются автоматами с конечным числом состояний, что ведет к оптимальному разделению общих подструктур анализа. Такая архитектура позволяет, с одной стороны, разделять вероятностную и символическую обработку, а с другой — межуровневые интерфейсы и контрольные тесты. Второй доклад обильно снабжен иллюстрациями и диаграммами, наглядно показывающими работу устройств и всей системы в целом.

В данной секции были широко представлены работы японских и южнокорейских ученых. Для этих докладов характерна высокая степень детализации и наглядности, они содержат большое количество диаграмм, графиков и иллюстраций на уровне машинных выводов, что весьма полезно для понимания сути представленной идеи и степени ее практической разработки. В докладе "Адаптивный сокращающий поиск пороговый алгоритм для эффективного распознавания речи" (Чул - Юн Хванг, Се - Юн Ох, Хо - Юн Юнг, Хун - Юн Чунг - Куонсан, Корея) предлагается новый алгоритм для сокращения поиска, который значительно уменьшает время процесса распознавания. Поскольку максимальные вероятности у соседних фреймов сильно взаимосвязаны, эффективные пороги для сокращения ветвей поиска могут быть получены из максимальных вероятностей предыдущих фреймов. Главная идея заключается в том, чтобы установить порог для рассматриваемого фрейма на основе комбинации из предыдущей максимальной вероятности и вероятностей гипотезы. Алгоритм был применен в системе распознавания адресов в Корее, которая состоит из 48 фонемоподобных звуков и цепей Маркова для обучения распознаванию. Применение алгоритма сократило на 14,4 процента время поиска при сохранении высокой его эффективности.

Еще один доклад корейских ученых из этого же университета, "Разработка и оценка двоичной системы восстановления карты с использованием интерфейса распознавания речи" (Тэ - Су Ким, Чул - Юн Хванг, Хо - Юн Юнг, Хун - Юн Чунг) посвящен специальной идеи распознавания географической информации. В докладе японских ученых "Акустическое

распознавание речи двух- и трехслойными нейронными сетями с конкуренцией и кооперацией" (Тетзуто Китадзо, Сунг - Ил Ким, Томоюки Ичики, Макото Фунамори - Миузики, Япония) описывается новый алгоритм для распознавания речи, в котором применяются видеоуравнения распознавания образов с конкуренцией и кооперацией. Идейная стратегия — цепи Маркова. Используется база данных из 216 слов, акустические модели со стереоизображением дают результат примерно на 5,1% выше, чем обычные приемы. Другие два доклада этой секции — "Совершенствование взаимодействия между п-классной и п-граммой языковой моделью" (К. Смайли, И. Зитуни, Ж.П. Атон - Нанси, Франция) и "Пофонемное распознавание в связной речи" (Т. Винцюк - Киев, Украина).

В следующих секциях значительное место занимают доклады российских ученых. Секция D: "Концептуальные подходы к диалоговым обучающим системам; единицы речи". Она открывается докладом Г.Е. Кедровой, О.В. Дедовой и В.В. Потапова (МГУ им. Ломоносова, Москва) "Гипертекстовая мультимедийная база данных русской фонетики для дистанционного обучения". Курс дистанционного обучения фонетике русского языка включает циклы обучения русским гласным, русским согласным и ударению. Все модули системы связаны между собой и составляют единый информационный комплекс. Н. Петлюченко (Одесский Государственный университет, Одесса) представила доклад на тему "Акустические доказательства напряженности в немецких взрывных согласных". В секции Е "Прикладные системы и новые технологии; методы передачи речи" помещены доклады Г.В. Богачева и А.А. Рыболовлева (Орел, Россия) "Использование акустофонетического классификатора для оптимизации кодирования с линейным предсказанием", М. Брауде-Золотарева и Ю. Брауде-Золотарева (Москва) "Рекуррентная оценка мультидиапазонного тона", доклад японских ученых "Система речевого интерфейса для задач информационного поиска в WWW" (Ацушико Кай, Такахиро Накано, Сейчи и Накагава), доклад Ива Лапри "Автоматический тракинг формантов методом активного контура" (Нанси, Франция), подробные доклады российских специалистов В.Г. Михайлова "Изменения качества речи" и С. Толдовой "Порождение ответного образа как часть

модели диалога с телефонной справочной системой" (МГУ им. Ломоносова, Москва).

Специалисты МГУ представили также ряд докладов на следующую секцию – секцию F "Синтез текст-речь". В докладе А. Бабкина и Л. Захарова "Проверка системы "текст-речь" в МГУ" рассматривается проблема оценки качества синтеза речи. Тесты включают определение понятности и естественности речи. В докладе О. Кривовой описываются общие принципы и структура порождающей речь системы для русского языка. Другие доклады секции: С. Даргагина, М. Трынка, М. Рушко (Институт управления и робототехники Словацкой академии наук, Братислава) "Применение системы "текст-речь" для синтеза песни в словацком языке"; Дж. Лонгстер, Р. Саханди, Д.С.Дж. Уайн (школа дизайна, инжениринга и компьютеризации Университета Борнемут, Англия) "Временная генерация просодии и сегментации". Другой доклад этих же специалистов: "Запись конкатенативных единиц синтеза речи с использованием референциальной подсказки". В секции G "Базы данных речевых сигналов" два доклада: В. Кузнецова и др. (МГУ и Вычислительный центр Российской Академии наук) "Конструирование и реализация базы данных телефонной сети на русском языке" и М. Сугияма (Япония, Университет Фукушима) "Быстрые и эффективные алгоритмы поиска сегментов".

Секция H "Фонетические аспекты диалога с компьютером" включает два доклада: Т. Накаи, К. Сато, Я. Сузуки, К. Исида (Университет Шицукока, Япония) "Распределение звукового давления и пути распространения в вокальном тракте с пуриформ фосса и супраглоттис" и В. Мого-

розова (РАН, Институт психологии) и Ю. Кузнецова (Московская Государственная консерватория) "Эмоциональная окраска голоса и феномен квазигармонии обертонов". Доклады снабжены представительными распечатками машинного анализа данных и диаграммами.

Последняя секция, секция I "Системы идентификации и верификации говорящего" включает пять докладов. Е.И. Галашина (Бюро независимых судебных экспертов "Версия", Москва) в докладе "Фонетический анализ коротких высказываний: практический метод точной судебной идентификации говорящего" описывает подход текстозависимого фонетического анализа. Этот вид анализа является обязательным для эффективного распознавания личности говорящего. Доклад С.Н. Кринова (Российский федеральный центр судебных исследований, Москва) "Идентификация говорящего при маскировке голоса" содержит описание использования динамических спектральных параметров для установления факта маскировки голоса. В докладе Р.К. Потаповой (МГЛУ, Москва) "Некоторые аспекты обучения фонетике судебных экспертов (на основе русского языка)" рассматривается использование электронной энциклопедии для русского языка как средства такого обучения. Другие доклады секции: В.А. Орлов (Владивосток, Россия) "Исследование эмоционального состояния говорящего по спектральным характеристикам речи"; Б. Сабак и И. Гават (Политехнический университет Бухареста, Румыния) "Идентификация говорящего с использованием отличительных характеристик – a growing neural gas approach".

Ю.Н. Марчук (Москва)

8–10 октября 1999 года в университете г. Торунь (Польша) состоялась третья встреча рабочей группы европейских славистов POLYSLAV (POLYSLA V). Группа образована в октябре 1997 г. по инициативе Б. Вимера (Констанц, ФРГ) и М. Гигера (Цюрих, Швейцария). В нее вошли молодые лингвисты, интересы которых включают в себя широкий круг вопросов славянского языкознания.

По материалам первых двух встреч, проходивших в Германии (1997 г. – Констанц, 1998 г. – Берлин), участники проекта

POLYSLAV выпустили три сборника, получивших высокую оценку специалистов [Giger, Wiemer (Hrsg.) 1998; Giger, Menzel, Wiemer (Hrsg.) 1998; Böttger, Giger, Wiemer (Hrsg.) 1999].

На встрече в Торуни, которую организовала преподавательница филологического факультета местного университета Ева Валлусяк, с докладами выступили более сорока филологов из Болгарии, Германии, Польши, России, Чехии, Словакии, Швейцарии и Хорватии. Пленарное заседание открыло кратким вступительным словом профессор филологического факультета М. Гроховский, пожелавший участникам встре-

чи успешного и плодотворного научного общения. После этого работа велась по двум секциям.

Тематика выступлений была весьма разнообразной. В докладе Б. Вимера (Констанц) обсуждался вопрос о критериях, определяющих выбор глагольного вида в неассертивных контекстах (прежде всего в побудительных и вопросительных предложениях). На материале русского и польского языков было рассмотрено, в какой мере выбор вида определяется семантикой глагола, а в какой — бинарным характером видовой оппозиции и категориальных понятий, которые его разграничаются (волитивность, презумптивность и т.д.).

Интересную дискуссию вызвал доклад К. Вулленбер (Йена), в котором были очерчены границы относительно нового научного направления — эколингвистики (не путать с лингвоэкологией!), а также намечены пути направлений, пути взаимодействия и взаимопроникновения эколингвистики и славянского языкознания.

Р. Марцари (Тюбинген) провел статистическое исследование распределения размеров предложения в "Повестях Белкина" А.С. Пушкина: оказалось, что эти показатели в отдельных повестях значительно варьируются между собой, к тому же по этому параметру можно провести четкую границу между самими повестями и письмом "От издателя", включенным в предисловие.

Лексические, синтаксические и проподические особенности противительных конструкций в словацком языке были проанализированы в докладе М. Адамиковой (Берлин). Предметом интереса Х. Пюч (Гамбург) стали конструкции с двойными глаголами в русском языке (такие, как *сиди работай!*). По ее словам, их специфическая функция заключается в выражении концептуальной моноситуативности: разные базовые ситуации сливаются в единый когнитивный комплекс. Б. Беднаржикова (Оломоуц) сосредоточилась на проблеме выделения суффиксов и корней в академической грамматике чешского языка.

Доклад В. Ждановой (Москва) был посвящен русским пословицам и поговоркам. Отмечалось, что в них отражаются базовые концепты сознания, из которых складывается русская картина мира. М. Якубович (Краков), рассуждая о пространственных метафорах, в которых концептуализуются психические состояния человека, подробно остановилась на самом частотном метафорическом противопостав-

лении "низ" — "верх" в польском и немецком языках. За этим выступлением последовала оживленная дискуссия.

Значительная часть докладов была посвящена прагматике. М. Беч (Тюбинген), исследовав русские обращения *господин* и *товарищ*, пришел к выводу, что изменения в распределении этих форм пока еще незначительны, невзирая на влияние общественных перемен. Случаи пренебрежительного употребления польского слова *rap* в некоторых контекстах (особенно при высказываниях о духовных лицах, политиках, писателях) анализировались М. Лазинским (Варшава). У. Швендиманн (Цюрих) рассказал о стилистических и семантических особенностях польских антропонимов *osoba* и *człowiek/ludzie*. Особое внимание швейцарский ученый уделил проблематике родового распределения этих терминов, сравнивая их со словами *męzczyzna* ("мужчина") и *kobieta* ("женщина").

Предметом рассмотрения С. Денингхаус (Бохум) стали русские комические тексты. По мнению исследовательницы, отклонения от нормы на различных языковых уровнях — это один из важнейших (но не единственный) механизм, в результате действия которого при определенных условиях комическое становится фундаментальной языковой категорией.

А. Гаттар (Тюбинген) посвятила свое выступление невербальной коммуникации: на основе корпуса русских текстов XX века были проанализированы значения и функции движений головой (втягивание головы в плечи, кивание, вскидывание головы и др.), а также возможности вербализации и декодирования этих жестов в определенных контекстах. Как считает немецкая славистика, некоторые из рассмотренных жестов многозначны; они могут сопровождать, дополнять или даже заменять речевой акт.

В докладе Б. Бремера (Тюбинген) обсуждались лексические показатели вежливого смягчения императивных высказываний в русском языке, такие, как *пожалуйста*, *будьте любезны*, (очень)убедительно прошу, а также факторы, влияющие на выбор этих единиц. Стратегии вежливости в чешском языке анализировались Л. Хасовой (Прага) с точки зрения теории вежливости Брауна-Левинсона (на материале телевизионной дискуссии на темы межэтнического общения).

Несколько выступавших говорили о проблемах социолингвистики. Р. Бланкенхорн (Берлин) проанализировала

изменения, произошедшие в немецких говорах немцев Сибири после Второй мировой войны под влиянием русского языка. Особое внимание докладчица уделила таким индикаторам языкового смешения, как использование русских слов в качестве компонентов немецких сложных слов; построение словосочетаний по русским моделям (калькирование); наличие или отсутствие адаптации русских слов к нормам немецкой морфологии; исчезновение немецких дифференцирующих категорий; существование параллельных русско-немецких форм.

К. Беттгер (Гамбург) и Я. Фурхтманн (Бремен) в совместном докладе исследовали ошибки, которые допускают russkogоворящие при изучении немецкого языка. Вступив в полемику с бихевиористскими и нативистскими объяснениями процесса усвоения иностранного языка, авторы утверждали, что решающее значение в этом процессе имеет влияние родного языка. Анализировались некоторые типы типичных ошибок, проявляющихся не только в фонологии, но и в морфосинтаксисе.

Темой выступления К. Радунцель (Берлин) стали лингвистические особенности авторпрезентаций и указаний на политического противника во внешне-политических текстах ФРГ, ГДР и СССР (РФ). Материалом для анализа послужили тексты общих прений Генеральной Ассамблеи ООН с 1973 по 1998 гг. Сравнивая названия немецкого народа в речах представителей ФРГ и ГДР, Радунцель при-

шла к выводу, что они отражают специфику несимметричных отношений между этими странами. В докладе констатировалось, что в текстах всех трех государств преобладают неопределенные указания на политического противника, за исключением периода обострения отношений (1980–1986 гг.), когда участились случаи прямого называния вражеской державы.

На заключительном пленарном заседании участники обсудили перспективы расширения рабочей группы POLYSLAV, а также ряд других организационных вопросов. Доклады, прочитанные на конференции, было решено опубликовать двумя сборниками.

Следующая встреча молодых славистов пройдет в октябре 2000 года в г. Казимеже (Польша), а в 2001 году POLYSLAV соберется в Праге.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

- Böttger K., Giger M., Wiemer B. (Hrsg.) 1999 – Beiträge der Europäischen Slavistischen Linguistik. Bd. 2. München, 1999.
Giger M., Menzel T., Wiemer B. (Hrsg.) 1998 – Lexikologie und Sprachveränderung in der Slavia. Oldenburg, 1998.
Giger M., Wiemer B. (Hrsg.) 1998 – Beiträge der Europäischen Slavistischen Linguistik. Bd. 1. München, 1998.

H. Моисеева (Москва)

19 – 20 октября 1999 года
Научный совет "Русский язык" РАН провел в Институте русского языка им. В.В. Виноградова юбилейную научную конференцию "Пушкин и наш язык". За два дня работы конференции было заслушано 15 докладов. Конференцию открыла Н.Ю. Шведова (Москва), председатель Научного совета "Русский язык" академик РАН.

Сопоставлению ряда пушкинских произведений с их французскими переводами был посвящен доклад В.Г. Гака (Москва) "Язык пушкинской прозы и французский язык". Автор показал, что, несмотря на известное число галицизмов, строй пушкинской прозы коренным образом отличается от строя французской. Каждый язык обладает своим национальным стилем, своей внутренней формой на уровне высказывания, что проявляется в степени зави-

симости слова от окружения, в использовании средств сочинения и подчинения, коннекторов, в степени субъективации предложения, в использовании "синтаксического анимизма" и ряде других явлений. В заключение автор сделал вывод, что язык Пушкина в отношении основных глубинных параметров организации высказывания противоположен французскому языку и следует общим генотипическим признакам русского языка.

Анализ выборки упоминаний пушкинских контекстов из 6-ти книг "Ассоциативного тезауруса", отражающих усредненное состояние современного языкового сознания и фиксирующих элементы повседневного дискурса, дал Ю.Н. Карапулов (Москва) в докладе "Пушкин в повседневной памяти нашего современника". По мнению автора доклада, произведения Пушкина живы в повседневной памяти русских и по

количеству обращений к ним они существенно превосходят произведения других авторов. Помимо 50 пушкинских произведений, отсылки к которым обнаружены в тезаурусе, большое число глосс связано с личностью поэта, его окружением, событиями его жизни и местами национально-культурной памяти о нем.

Основным тенденциям развития стилистической структуры русского литературного языка "после Пушкина" до конца XX столетия посвятил свой доклад Ю.А. Бельчиков (Москва). Пушкин, по мысли автора, основоположник современного русского литературного языка (РЛЯ) не только потому, что в его языке нашла воплощение общенациональная норма литературного выражения, действующая до сих пор, но и потому, что в языке Пушкина заложены основные тенденции стилистического развития РЛЯ вплоть до нашего времени. Ю.А. Бельчиков предлагает различать тенденцию стилистического развития РЛЯ "после Пушкина", непосредственно импульсированную пушкинской языковой реформой, и тенденцию стилистического развития РЛЯ, обусловленную этой реформой.

На большом сравнительном материале в докладе "Язык Пушкина и русская ментальность" П.Н. Денисов (Москва) обосновал тезис, что Пушкин не только сумел совместить русский язык с церковнославянскими и западноевропейскими заимствованиями, но сделал это в образцовых поэтических и прозаических произведениях, в содержательном плане он не только дал картины современной ему жизни, но и воскресил нашу старину: устное народное творчество и исторические были.

Т.М. Николаева (Москва) обратила внимание на то, что в последние годы одновременно появилось несколько исследований о Пушкине (Н.А. Еськова, Н.В. Перцов, А. Коджак, О.Я. Повоцкая и др.), где демонстрируется возможность различного прочтения фрагмента текста и тем самым различие возможной интерпретации отраженной в нем реальной ситуации. В докладе "Неопределенность реальной ситуации и лингвистические средства ее оформления в пушкинских текстах" были приведены примеры неоднозначности прочтения пушкинских текстов в соответствии с их лингвистическим оформлением. В заключение докладчиком сделаны выводы о принципиальности существования неоднозначных структур в поэтических текстах.

Л.П. Крысин (Москва) в докладе "Иноязычные лексические вкрапления в

текстах А.С. Пушкина" рассмотрел различные случаи введения в поэтические, прозаические и эпистолярные тексты иноязычных лексических и фразеологических элементов в их исконном графическом виде (типа *dandy, comme il faut, a jour*), проанализировал их функции в русском тексте, семантические и формальные связи с контекстом и с потенциальными русскими синонимами, способы комментирования и оценки самим поэтом этих иноязычных выражений.

Исследованию вопроса, "что хотел сказать" автор в повести "Станционный смотритель", посвящен доклад Е.М. Верещагина и В.Г. Костомарова (Москва) "Рече-поведенческое исследование Притчи Пушкина о блудной дочери". На фоне нравственной парадигмы евангельской Притчи о блудном сыне обнаруживаются так называемые **воздержательные** (абстинативные) рече-поведенческие тактики дочери смотрителя, которые значимы, поскольку они социальны, т.е. приняты в культурно-языковой общности людей. Покаяние Дуны, по сравнению с покаянием блудного сына из Притчи, – не благоременно, т.е. совершилось в тот момент, когда уже ничего не поправишь. В своей повести Пушкин, по мнению докладчиков, выступил как пропONENT новозаветной этики: он отверг ветхозаветную идею о неизбежном прижизненном воздаянии непочтительному сыну. Доклад, наряду с решением конкретного вопроса, также имеет целью хотя бы отчасти объективировать такие неуловимые феномены, как **национальная культура и народная духовность**.

Герменевтический анализ текста, исходя из категории автора, предложен в докладе Л.А. Новикова «А.С. Пушкин и автор романа в стихах "Евгений Онегин"». Методом и объектом такого анализа является язык (Х.Г. Гадамер). Главное внимание автор доклада сосредоточил на раскрытии диалектически противоречивого отношения "писатель" – "автор" как композиционно-речевого выявления "авторского присутствия" в романе. Решающим в определении авторской позиции (resp. точки зрения писателя) являются эмоционально подчеркнутые оценки Онегина лирическим героем, "образом писателя в романе". Изменения в структуре категории автора свидетельствуют, по мнению Л.А. Новикова, о подвижности, развитии этой категории, которая по своей природе, говоря словами В. Гумбольдта, не *Ergon*, а *Energieia*, в чем и состоит трудность ее определения и описания.

После докладов на вечернем заседании 19

октября был просмотрен фильм "Противен мне род Пушкиных мятежный", снятый на ГТРК "Владимир" и показанный по областному телевидению в июле 1999 года, в дни празднования юбилея великого поэта. Авторы фильма – старший преподаватель кафедры русского языка Владимирского педагогического университета О.Д. Плышиевская и журналист областного телевидения Л.Д. Сакунов. В фильме рассказывается о связи рода Пушкиных и Ганибалов с Владимирским краем, о противоборстве двух знаменитых родов – велико-княжеского, царского и боярского рода Ратчи, от которого произошли Пушкины.

На утреннем заседании 20 октября вызвал оживленный отклик и бурную дискуссию доклад А.Б. Пеньковского (Владимир) «Об эпиграфе из Э. Берке к 1-й главе "Евгения Онегина", или как мы исполняем пушкинские заветы». Автор привлек внимание слушателей прежде всего к тому, что текст, о котором идет речь ("Ничто так не препятствует точности суждения, как недостаточное различение..."), было бы естественно встретить в сборнике мудрых мыслей, в научной дискуссии, в интеллектуальной беседе или переписке, но уж никак не в позиции эпиграфа к "роману в стихах". И это еще одна из множества загадок, загаданных Пушкиным в его романе, который, по характеристике докладчика, является самым загадочным произведением пушкинского гения, а может быть, и всей русской литературы. Оспорив предложенную В. Набоковым и поддержавшим его Ю. Лотманом крайне узкую и жесткую привязку этого эпиграфического текста к двум строчкам в тексте 1-й главы, докладчик показал, что объектом "различения" как необходимого условия "точности суждения" для Пушкина могло быть только Слово с его значениями, со-значениями и смыслами. В качестве примера была показана организованная Пушкиным игра на значениях слов *преданья, старина, сны, предсказанья, сказка*.

Обоснованию тезиса о том, что текст пушкинского цикла цветаевской прозы несет отпечаток мыслительной стратегии писателя-концептуалиста, интуитивного философа, теоретика искусства, лингвиста, был посвящен доклад М.В. Япон (Москва) "О пушкинianе М. Цветаевой". Пушкин Цветаевой, – по мысли докладчика, – многозначная и полифункциональная смысловая единица, которая подчинена прагматике авторского дискурса и выполняет ряд задач, в первую очередь – задачу самоистолкования. Цветаева погружает Пушкина в мир

своих абсолютов, используя понятия-посредники ("любовь", "душа", "чара" и др.) для обоснования своих эстетических кредо. Проза Цветаевой, изучаемая интегративным методом, подтверждает, по мнению докладчика, важную для лингвистической теории функцию текста: его информативность для реконструкции мировоззрения автора, доминантных признаков его стиля, системы его языковых предпочтений.

В.П. Григорьев (Москва) напомнил слушателям, что в 1913 г. Давид Бурлюк, эпатируя публику, дважды выступал с докладом "Пушкин и Хлебников". Сегодня наука знает много достоверных фактов о "пушкинском" у Будетлянина и все глубже осмысливает существование в нашей словесной культуре, условно говоря, "парадигм" Пушкина, Блока и Хлебникова. Доклад В.П. Григорьева подводил некоторые итоги исследования этой проблемы учеными разных стран. Автор провел параллель между "принципом единой левизны" Хлебникова и тем, что можно назвать "принципом единой полноты" у Пушкина, имея в виду его размышления о "двух родах бессмыслицы". В докладе предлагались соображения о вкладе Хлебникова в неявную систему "духовных завоеваний" (общечеловеческих "принципов") конца нашего тысячелетия и тех качеств, которых мы можем ожидать от подлинного "Будетлянина XXI века".

Доклад А.С. Белоусовой (Москва) "Чувства: их власть и трепет (Пушкин и поэты нового времени)" был посвящен анализу соотношения двух "смысловых сфер" – "сфера чувства" и "сфера разума" – как героеv поэтического повествования у Пушкина, с одной стороны, и у Ахматовой и позднего Заболоцкого – с другой. В докладе развивается тезис, что чувство в поэзии Пушкина, рисуется прежде всего как стихия, изменчивая в своем состоянии и неподвластная рассудку и воле человека. Языковые средства изображения мира чувств у Пушкина, в отличие от поэзии Ахматовой и Пастернака, таковы, что все эти чувства открыты для читателя, обращены к нему как к участнику, к тому, кто живет этими чувствами вместе с автором и его лирическим героем.

На основе определения "языковой ситуации" ("типа сообщения" как собственно языковой категории), выводимой в опоре на понятие языкового смысла, заложенного в ядре класса русских дейктических глаголов, Н.Ю. Шведова в докладе «"Сказка о попе и о работнике его Балде" как эталон представления языковых ситуаций» рас-

смотрела распределение типов сообщений применительно к героям "Сказки". Автор доклада обосновал тезис о характерологических функциях типа сообщения как необходимой составляющей художественного стиля и речи говорящего.

Во время дискуссии на конференции прозвучали еще два доклада. В докладе М.И. Чернышевой (Москва) "Христианские образы в лирике А.С. Пушкина" рассматривался вопрос о неочевидном лексико-семантическом пласте, незримо присутствующем в стихах А.С. Пушкина и позволяющем судить о картине мира, которая, изначально существуя в его сознании, так или иначе дает о себе знать в стихах поэта. По мнению докладчика, скрытая мысль представлена в таких словах-знаках и лексических сочетаниях, которые позволяют говорить о совпадении его картины мира с христианской. Реконструируемая на основании поэзии, она, главным образом, свидетельствует о настойчивых размышлениях Пушкина о земном мире и о роли в нем поэта. Анализ, проведенный под таким углом зрения, позволил обнаружить в лирике Пушкина "псевдохристианы" и "христианские неологизмы", что, по мнению автора доклада, побуждает к новому прочтению поэта.

Доклад Н.А. Еськовой (Москва) был построен как комментарий на поставленный автором вопрос "Был ли Пушкин вульгарным?". В переводе письма Пушкина к Е.М. Хитрово 1828 г. французское *vulgaire* переведено прилагательным *вульгарный*. Если учсть сказанное в VIII главе "Евгения Онегина" об оставленном без перевода английском слове *vulgar*, следует признать такой перевод недопустимым; для этого французского слова должен быть найден другой русский эквивалент. Далее Н.А. Еськова проанализировала строку Пушкина-переводчика. Первая строка пушкинского перевода баллады Мицкевича "Будрыс и его сыновья" звучит так: "Три у Будрыса сына, как и он, три литвины". Не странно ли, что специально подчеркивается одинаковая "этническая принадлежность" отца и сыновей? Это, по мнению докладчика, ошибка Пушкина-переводчика. Подстрочный перевод выглядит так: "Старый Будрыс трех сыновей своих, лихих, как он сам литовцев, вызвал из избы...".

Доклады и дискуссия выявили необходимость дальнейшего исследования семантической структуры слова и текста пушкинских произведений, неоднозначность научных объяснений и выводов.

Л.Л. Агафонова (Москва)

18 – 19 ноября 1999 г. в Санкт-Петербурге состоялись очередные тунгусо-маньчжурские чтения, организуемые и проводимые в 4-й раз, начиная с 1993 года, Отделом алтайских языков Института лингвистических исследований РАН (ИЛИ РАН). Чтения были посвящены памяти С.М. Широкогорова, крупнейшего специалиста в области тунгусо-маньчжуро-ведения, к сожалению, недостаточно широко известного российским североведам.

Было заслушано 13 докладов и сообщений на различные темы языкоznания, этнографии и фольклора, в них приняли участие ученые научных и педагогических учреждений Санкт-Петербурга, Якутска и Познани (Польша).

Чтения открылись вступительным словом А.М. Щербака (С.-Петербург), содержащим краткие биографические сведения и общую характеристику научного наследия С.М. Широкогорова.

С.М. Широкогоров родился в 1887 г. в имении своего отца, недалеко от Сузdalя. Получив классическое образование, в

1906 г. уехал во Францию, где слушал лекции сначала в Парижском университете, а затем в l'École d'anthropologie. После возвращения в Россию его научная карьера была связана с Санкт-Петербургским университетом и с Академией наук. В 1912 г. совершил первую полевую экспедицию в Забайкалье. Затем последовала поездка в районы Забайкалья, Амурской области, Якутии и Северо-Западной Маньчжурии, с целью сбора этнографических, археологических и лингвистических материалов, продолжавшаяся с 1913 по 1917 г. В 1917 г. С.М. Широкогоров покинул Санкт-Петербург и до 1922 г. находился во Владивостоке, преподавал в Дальневосточном университете. В 1922 г. эмигрировал в Китай (Шанхай, Амой, Кантон). Сотрудничая с университетскими и научными учреждениями, продолжал вести исследовательскую работу. С осени 1930 г. до кончины, 19 октября 1939 г., постоянно жил в Пекине.

Список работ С.М. Широкогорова в первоначальном варианте составил И.И. Серебренников на основе библиографического справочника, подготовленного его вдовой, и

поместил его в приложении к некрологу (*The China journal*, XXXII, N 5, Shanghai, 1940, p. 205–209). Расширенный вариант библиографии издан в 1991 г. в Японии (*Asian folklore studies*, L–I, Nagoya, 1991). Первую научную работу – "Отчет о командировках к тунгусам и ороченам" – С.М. Широкогоров опубликовал в 1914 г., последнюю – "Тунгусский словарь" – в 1944 г. К настоящему времени вышли или выходят из печати его некоторые неизданные труды. Есть основания предполагать, что имеющиеся в нашем распоряжении библиографические сведения – неполные. Возможно, часть работ находилась в процессе завершения. Неизвестно местонахождение архива С.М. Широкогорова, большую ценность в котором представляют записи текстов тунгусского и маньчжурского фольклора.

Научные интересы и научное наследие С.М. Широкогорова поражают многообразием. На первом месте – этнография, этнология (общие и частные вопросы). Далее, психоментальный комплекс тунгусов, шаманизм и его основы. Третью группу составляют лингвистические и лингво-этнологические работы. Четвертая группа – работы, посвященные социальной организации тунгусов и маньчжуров. Небольшое количество работ выходят за пределы тунгусо-маньчжуро-ведения: общетеоретические и общеметодические труды, а также труды, тематически связанные с Китаем, Японией, Монгoliей.

В докладе "Переписка С.М. Широкогорова с Л.Я. Штернбергом" А.М. Решетов (С.-Петербург) привел дополнительные сведения из его биографии, подробно рассказал о работе С.М. Широкогорова во Владивостоке и Китае, сообщил о неизвестных архивных материалах, уточнил дату рождения (1887 г., а не 1889 г.). Докладчик особо подчеркнул роль С.М. Широкогорова в становлении китайской этнографической школы.

А.М. Певнов (С.-Петербург) изложил с критическими замечаниями содержание статьи С.М. Широкогорова о терминах ориентации у тунгусов, написанной в Китае в 1927 г. Автор пришел к выводу, что неизвестованными и общими для всех тунгусов являются лишь два термина, один из которых означает "южный склон горы", а другой – "северный склон горы". Для обозначения востока и запада использовались разные термины, в том числе и описательные. По мнению С.М. Широкогорова, на смену этой древней системе ориентации приходит новая, заимствованная у маньчжуров и монголов. В некоторых случаях

докладчик предложил свой этимологический анализ тунгусских терминов ориентации и обратил особое внимание на чжурчжэнские названия стран света, которые по тем или иным причинам не попали в поле зрения С.М. Широкогорова.

В докладе М.М. Хасановой (С.-Петербург) "Взгляд С.М. Широкогорова на проблему эвенкийского литературного языка" дана характеристика написанной в 1939 г., но опубликованной в Японии лишь в 1991 г., статьи С.М. Широкогорова "Tungus literary language". В этой статье автор резко критикует попытки советских тунгусоманьчжуро-ведов создать так называемые литературные языки для бесписьменных народов Севера. Так, еще в самом начале создания литературных норм для эвенкийского языка он понял, что выбор в качестве опорного неписьменного диалекта (говора) был неправильным и что усилия энтузиастов не увенчиваются успехом. Прошедшие 60 лет подтвердили точность его прогноза. Вместе с тем докладчик отмечает, что опыт кратковременного функционирования "литературных" языков народов Севера ни в теоретическом, ни в практическом отношении не был полностью отрицательным.

А.А. Бурык (С.-Петербург) в докладе "О некоторых маньчжуро-тунгусских лексических соответствиях" обратился к лексике "чжурчжэнского" языка, не имеющей параллелей в других тунгусоманьчжурских языках. По мнению автора, язык образцов малого чжурчжэнского письма и классический письменный маньчжурский язык представляют собой одну и ту же языковую формацию, и "чжурчжэнский" язык не обнаруживает отличий от маньчжурского языка ни в фонетике, ни в морфологии, а отмечаемые различия в лексике являются мнимыми, поскольку основываются на недостатке документации и некоторых ошибках в определении значений слов в словаре "Хуа-и и-юй" – основном источнике лексики текстов чжурчжэнского письма. Рассмотрев 36 "чжурчжэнских" слов, для которых не были известны параллели в других языках, автор показал, что при таком прочтении этих слов и словосочетаний, которое основывается на идее тождества "чжурчжэнского" и маньчжурского языков, рассматриваемые слова имеют параллели в письменном маньчжурском, южнотунгусских языках (нанайском, орокском) и севернотунгусских языках, при этом допущения о возможности заимствования ряда слов из других языков или принадлежности их неизвестному субстрату являются избыточными.

Доклад А.Л. Мальчукова (С.-Петербург) содержал характеристику эвенких императивных форм из трех парадигм во временном, иллокутивно-модальном отношении, а также в отношении категории рода. В последнем случае особый интерес представляет форма I-го лица мн.ч. на -да-кун, которая помимо инклузивной интерпретации (функция приглашения) допускает и эксклюзивную (выражение намерения/согласия несколькими говорящими), спр.: хор-дэ-кун! 'пойдем(те)!' или 'ну, мы пошли'. Наличие эксклюзивной функции, плохо совместимой со значением императива, объясняется докладчиком, опирающимся на материалы эвенкийского языка, как исторически первичное.

И.Н. Новгородов (Якутск) подчеркнул необходимость разграничения основного словарного фонда тюркских и тунгусо-маньчжурских языков в целях окончательного решения алтайской гипотезы. Согласно его мнению, исследование целесообразно проводить с учетом членения тюркского языкового пространства по признаку *s-/j-*, и, в частности, путем выявления ранних якутских заимствований из тунгусо-маньчжурских языков.

В докладе "С.М. Широкогоров о билиабилизации и аспирации в тунгусо-маньчжурских языках (в связи с урало-алтайской гипотезой)" А.М. Щербак кратко изложил содержание двух тесно связанных между собой работ С.М. Широкогорова: "Notes on the bilabialization and aspiration of the vowels in the Tungus languages" и "Ethnological and linguistical aspects of the Ural-Altaic hypothesis". Автор придерживается той точки зрения, что причиной крайней нерегулярности соответствий в аспирации и билиабилизации начальных гласных является смешанность лексики тунгусо-маньчжурских языков. По степени смешанности выделяется нанайский язык, занимающий особое место в урало-алтайстике, так как в нем как будто бы сохранился гипотетический **r*, который для С.М. Широкогорова неизначален, а вторичен. Значительная часть другой работы – критический разбор, с позиций тунгусо-маньчжуролога, урало-алтайских параллелей, собранных в монографии А. Соважо "Recherches sur vocabulaire des langues ouralo-altaïques", вышедшей в 1930 г.

Доклад С.Л. Чарекова (С.-Петербург) опирается на анализ семантических изменений в синкретических формах эвенкийского языка, наблюдавшихся при переходе одной части речи в другую и проявляющихся в развитии от конкретных

значений к отвлеченным, а также в постепенном "отрыве" вторичного адъективного или глагольного значения от первичного именного.

Л.И. Сем (С.-Петербург) посвятила свой доклад лингво-этнографическому описанию тазов – небольшой этнической группе юга Дальнего Востока, сложившейся сравнительно недавно в результате смешения представителей ряда тунгусо-маньчжурских народностей и китайцев, говорящей в настоящее время на северном диалекте китайского языка, но сохранившей некоторые особенности тунгусо-маньчжурского типа как в языке, так и в системе традиционных верований.

В докладе С.Е. Яхонтова (С.-Петербург) речь идет о месте в классификации трех тунгусо-маньчжурских языков Северо-Восточного Китая – эвенькэ, элунчуны и хэчжэ (первые два этнонима представляют собой китайскую транскрипцию слов "эвенк" и "орочон"). Сравнение их со старыми записями А.О. Ивановского 1894 г. показывает, что язык элунчунь почти полностью совпадает с манегирским диалектом эвенкийского, а эвенькэ очень близок к солонскому. Все эти языки входят в состав сибирской ветви тунгусо-маньчжурских языков. Сложнее обстоит дело с языком хэчжэ (описан лишь один из его диалектов – килен; второй, хэчжэн, известен лишь по небольшому числу примеров). В лексике диалекта килен имеются многочисленные слова, общие для сибирских и приамурских языков, и некоторое количество маньчжурских элементов, но нет слов, специфических для приамурской ветви. Хэчжэн, кажется, стоит несколько ближе к нанайскому. Сходные неясности наблюдаются и в области фонетики. Например, маньчжурскому *f* и приамурскому *f* соответствует в килен *f*, в хэчжэн – *x* (*f* перед губными гласными); в словах, имеющих начальный *x* только в приамурских языках, в хэчжэ начальный согласный отсутствует. Автор предполагает, что язык хэчжэ составляет особую, четвертую ветвь тунгусо-маньчжурской группы языков (или третью подгруппу в их южной группе).

Очень интересным для участников стал доклад Т.А. Пан (С.-Петербург) "Маньчжурские столицы Китая". Исследовательница познакомила слушателей с историей городов, связанных с именами первых маньчжурских императоров, причем ее выступление сопровождалось демонстрацией слайдов, сделанных во время поездок в КНР. Особое внимание привлекло сообщение, что

этноним "маньчжуры" и наименование "маньчжурский язык" были введены в обиход императорским указом в 1636 году вместо ранее бытовавших наименований "чжурчжэни" и "чжурчжэньский язык".

А. М а е в и ч (Познань) в своем кратком выступлении назвал работы по тунгусо-маньчжуроведению, изданные в последние годы в Польше, среди которых важное место занимают издания материалов

Б.О. Пилсудского по языкам народов Приамурья и Сахалина.

Участники конференции единодушно одобрили опыт проведения подобных мероприятий и выразили пожелание расширить и углубить тематику лингвистических и лингво-этнографических обзоров.

*В.Д. Аткнин, А.А. Бурыкин
(С.-Петербург)*

C O N T E N T S

O.N. Т r u b a č e v (Moscow). From the history and linguistic geography of East Slavonic spread; B. C o m r i e (Leipzig). Language and prehistory: on the multidisciplinary approach; A.E. K i b r i k (Moscow). On the problem of nuclear actants and "non-canonical marking": the testimony of the Archi language; T.A. M a i s a k, S.G. T a t e v o s o v (Moscow). The "space" of the speaker as expressed in categories of grammar: what is impossible to say of one's own self; **From the history of science:** L.I. S k v o r c o v (Moscow). S.I. Ožegov. The man and dictionary (on the centenary of the scientist); S.I. O ž e g o v. On the popular speech (the urban speech variant); **Reviews:** A.V. B a r a n d e e v (Moscow). Russian lexicographers of the XVIII–XIX centuries. Materials for a reading-book, 1998; Russian lexicographers of the XX century, 1999; O.V. N i k i t i n (Moscow). Yu.S. Stepanov. Constants. Dictionary of Russian culture. K.V. G o r š k o v a (Moscow). M.L. Kalenčuk. A dictionary of the difficulties of Russian pronunciation; V.M. Ž i v o v, E.A. Z e m s k a j a, L.P. K r y s i n (Moscow). Handbuch der sprachwissenschaftlichen Russistik und ihrer Grenzdisziplinen / Hrsg. von H. Jachnow; V.A. P l u n g i a n (Moscow). R.M.W. Dixon, Al. J. Aikhenvald (Eds). The Amazonian languages; V.Z. D e m i a n k o v (Moscow). V.G. Gak. Language changes: Yu.N. K a r a u l o v (Moscow). Spanish-Russian dictionary. Latin America; **Chronicle features.**

Список опечаток в журнале "Вопросы языкоznания" 2000 г. № 3

Страница	Строка	Напечатано	Следует читать
5	20 сверху	Р.И. Шора	Р.О. Шор
5	21 сверху	А.И. Смирницкого	А.И. Смирницкого
115	23 сверху	И. Бажов	[П.] Бажов

Технический редактор О.Н. Никитина

Сдано в набор 29.06.2000 Подписано к печати 16.08.2000 Формат бумаги 70 × 100¹/₁₆
Офсетная печать. Усл.-печ. л. 13,0 Усл. кр.-отт. 18,9 тыс. Уч.-изд. л. 15,5 Бум. л. 5,0
Тираж 1428 экз. Зак. 3937.

Свидетельство о регистрации № 0110167 от 4 февраля 1993 г.
в Министерстве печати и информации Российской Федерации
Учредители: Российская академия наук, Отделение литературы и языка РАН

Адрес издателя: 117864, Москва, Профсоюзная, 90
А д р е с р е д а к ц и и: 121019 Москва, Г-19, ул. Волхонка, 18/2. Институт русского языка,
телефон 201-25-16
Отпечатано в ППП "Типография "Наука", 121099 Москва, Шубинский пер., 6
